

лениздат



библиотека
молодого
рабочего

С. Варшавский
Б. Ресм

Билет на всю вечность

ВОЗЗВАНИЕ

Союза Рабочих и Солдатских Депутатов.

Граждане, старые хозяева ушли, после них осталось огромное наследство. Теперь оно принадлежит всему народу.

Граждане, берегите это наследство, берегите картины, статуи, здания—это воплощение духовной силы вашей и предков ваших. Искусство это то прекрасное, что талантливые люди умели создать даже под гнетом деспотизма и что свидетельствует о красоте, о силе человеческой души.

Исполнительный

Комитет Центр. Раб.

Советского Движ.



библиотека
молодого
рабочего

**С. Варшавский
Б. Ресн**

Билет на всю вечность

**ПОВЕСТЬ ОБ ЭРМИТАЖЕ
в трех частях**

ЧАСТИ ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ

ЛЕНИЗДАТ · 1986

ББК 49.1
Б18

Издание третье

В $\frac{4902020000-093}{M171(03)-86}$ 157—86

© Лениздат, 1978
© Лениздат, 1981, оформление, иллюстрации
© Лениздат, 1986, оформление, предисловие

Зима 1918 года. Молодая Советская Республика, изнуренная хозяйственной разрухой, защищает завоевания Октября на фронтах гражданской войны. В это труднейшее для страны время В. И. Ленин в беседе с А. В. Луначарским поставил перед Народным комиссариатом по просвещению ответственной задачу сбережения музеев, хранящих огромные культурные ценности: «Совершенно необходимо приложить все усилия, чтобы не упали основные столпы нашей культуры, ибо этого нам пролетариат не простит».

Жизнь Эрмитажа тех лет воссоздана авторами в неразрывной связи с историческими событиями. Далеко не все представители научной и художественной интеллигенции старой формации правильно поняли и сразу же приняли совершившуюся социалистическую революцию. Им предстояло пройти сложный путь, прежде чем они осознали свой долг и нашли место в строительстве социалистической культуры. Авторы не приукрашивают историю. Они воспроизводят во всей остроте драматические коллизии и конфликты между реакционерами, консерваторами, саботажниками, с одной стороны, и теми эрмитажными учеными, которые, преодолевая кастовые предубеждения, под руководством и при деятельной помощи коммунистов, поставленных на охрану культурного наследия, становились активными строителями нового, советского Государственного Эрмитажа, научно-просветительного учреждения, способствующего эстетическому воспитанию широких масс трудящихся.

Книга «Билет на всю вечность» основана на тщательном изучении документов, добытых в результате многолетней скрупулезной работы в различных государственных архивах. И при всем том это произведение художественное. Документ в нем играет необычную роль: он служит авторам и для того, чтобы очертить образы реальных

исторических персонажей, и для того, чтобы раскрыть подоплеку их политических позиций, и для того, чтобы динамически развивать самый сюжет повествования...

Я убежден, что книга «Билет на всю вечность», посвященная сохранению и преумножению Советским государством бесчисленных культурных ценностей в тяжелейший для него период гражданской войны и интервенции, книга, повествующая о том, как социалистическая революция превращала бывший императорский музей в музей подлинно народный, — эта книга, выдержавшая уже два издания, будет с интересом прочитана рабочей молодежью.

Академик Б. Б. ПИОТРОВСКИЙ,
директор Государственного Эрмитажа

РевOLUTIONеры, пролетарии всегда охраняли музеи...»

Строка из давнишней статьи, написанной лет десять назад, всплыла в памяти Луначарского на следующий день после взятия Зимнего дворца, всплыла внезапно и непроизвольно, когда рано утром в забитом людьми коридоре Смольного сквозь гомонящую толпу к нему протолкался паренек в мятой солдатской шинели и доложил, что минувшей ночью в Эрмитаже никаких происшествий не произошло.

Добрая весть. Улеглась еще одна тревога.

Со вчерашнего дня, как только стало очевидным, что Зимний дворец придется брать штурмом, он испытывал мучительное беспокойство за судьбу чудесного дворцового здания, шедевра архитектуры, и за участь расположенного рядом с дворцом величайшего художественного музея. Ему ли не знать, какие ничем не восполнимые утраты культурных ценностей не раз претерпевало человечество на крутых поворотах истории... Эрмитаж — и рядом Зимний дворец, последний оплот Временного правительства. Опасное соседство...

Ленину понятна его тревога, — вчера, уже под вечер, они переговорили на хо-

ду, и сразу же из Смольного в Эрмитаж выехал отряд, наскоро сформированный из оказавшихся под рукой молодых красногвардейцев. Но разве скроешь от самого себя, что никакими караулами не обезопасить эрмитажные залы, если вокруг дворца развернется сражение, с пулеметной стрельбой, с рукопашными схватками, с метанием гранат, если в бой вынуждена будет вступить артиллерия. У него прямо сердце оборвалось, когда вчера за час до открытия съезда Советов в переполненный делегатами Актовый зал Смольного донесли далекие орудийные раскаты. А тут еще Богданов-Оленич, этот паникерствующий меньшевик, подскочил к нему с искаженным лицом, размахивая руками, брызжа слюной: «„Аврора“ бомбардирует Зимний дворец. Слышите, Луначарский, ваши пушки разбивают дворец Растрелли!» Знал Богданов, чем его пронять, как больнее ударить... Спасибо матросам — примчались с Дворцовой площади, сообщили съезду правду о штурме. Он аплодировал как сумасшедший, совершенно отбил себе ладони, когда узнал, что «Аврора» стреляла холостыми.

Успокоительная весть о Зимнем дворце пришла ночью, а теперь, рано утром, — гонец из Эрмитажа.

Принимая сбивчивый рапорт красногвардейца о полном благополучии в музее, он ощутил даже некоторую неловкость за свои вчерашние страхи. Яростные валы революционного восстания, затопившие дворец, обтекли эрмитажное здание — ничто не нарушило покоя музейных залов. Иначе, впрочем, и быть не могло. Кто, как не он, еще в давние времена, в самые тяжкие годы реакции, обрушивался на испуганных революцией литературных обывателей, предрекавших, что в час народного мятежа погибнет в дыму и пламени все прекрасное, что создано человеческим гением. С омерзением прочел он в пьесе Леонида Андреева «Царь-Голод»: революционный народ сжигает Национальную галерею, горят полотна Мурильо и Веласкеза. «Этого никогда не было и не будет! — резко выговаривал он в печати Леониду Андрееву. — Революционеры, пролетарии всегда охраняли музеи!» Кажется, в той статье он сослался на пример Парижской коммуны, — иными историческими примерами он тогда не располагал. Отпыне, с минувшей октябрьской ночи, марксисты могут ссылаться и на опыт вооруженного восстания в Петрограде.

Перед ним, опираясь на винтовку, стоит рабочий паренек в солдатской шинели. Он не ошибся, поставив

вчера во главе красногвардейского отряда этого расторопного парнишку, который сам ведь догадался прибежать спозаранку в Смольный. Совсем мальчик! Кумачовая повязка на рукаве, кумачовый бант под кокардой на фуражке, кумачовая ленточка на примкнутом штыке. Сюжет для живописца: мальчик с ружьем несет революционный караул у вековых памятников мировой культуры!

А паренек продолжал свой рассказ, и из его рассказа можно было понять, что в музее вместе с красногвардейцами всю ночь бодрствовали почтенные ученые, хранители Эрмитажа. Мужество незаурядное! Вчера, да нет — позавчера еще все городские учреждения прекратили с полудня работу, чиновники разбежались по домам, а эрмитажные хранители не покинули музея, расположенного в самом эпицентре ночных событий. Легко себе представить пережитое ими в эту ночь.

...Они еще раз взглянули друг на друга — молодой рабочий, выполнявший первое задание своей партии, и старый партийный боец, зрелый муж в зените революционного творчества. Несколько беглых прощальных слов, и они разошлись — один, проталкиваясь сквозь толпу, двинулся к выходу, а другой усталой походкой направился в конец коридора, где в папиросном чаду которые уж сутки напролет непрерывно заседал Военно-революционный комитет.

2

О том, что ночь с 25 на 26 октября всем придется провести в музее, хранители Эрмитажа были предупреждены заранее. Непременного присутствия всех и каждого на служебных местах требовала секретная бумага, доставленная из бывшего министерства императорского двора. Князь Гагарин, ведавший министерской канцелярией, заблаговременно уведомлял господ хранителей, что «вечером 25-го сего октября на Нововоинскую платформу Товарной станции Николаевской железной дороги будут поданы вагоны под погрузку музейных вещей, эвакуируемых совместно с прочим дворцовым имуществом» и что «перевозка означенного имущества на Товарную станцию будет осуществлена в течение ночи автомобильным транспортом Конюшенной части».

Наконец-то! Утомительные, нескончаемые эвакуационные работы длятся в закрытом для публики Эрмита-

же уже второй месяц. Еще в августе, после долгих дебатов — эвакуировать или не эвакуировать Эрмитаж, — восторжествовало мнение, совпадающее с точкой зрения правительственных кругов: эрмитажные сокровища необходимо экстренно вывезти из столицы — подальше от разъяренной толпы, способной в Петрограде на любые безумства¹.

Два поезда — в сентябре и в начале октября — увезли в Москву только часть музейных ценностей, только наивысшие шедевры; эвакуированные коллекции Эрмитажа хранятся теперь в Большом Кремлевском дворце, в Оружейной палате, в Историческом музее. С тех пор в Эрмитаже упакованы еще сотни ящиков, опломбированы, снесены в вестибюль Главного подъезда, но что проку? — высокопоставленным лицам, облеченным особыми полномочиями Временного правительства, никак не удавалось договориться с железнодорожной администрацией о третьем специальном поезде. И вот наконец депеша от князя Гагарина! В ночь с 25-го на 26-е начнется погрузка третьей партии эрмитажных вещей.

Со среды на четверг всем предстоит бессонная ночь.

Накануне, во вторник, вернулся в Петроград директор Эрмитажа граф Дмитрий Иванович Толстой. Девять

¹ Предпринятая Временным правительством осенью 1917 года эвакуация из Петрограда эрмитажных и других художественных ценностей официально объяснялась угрозой столице со стороны кайзеровских войск, захвативших Ригу. Однако наряду с военными обстоятельствами не меньшую, если не большую стимулирующую роль сыграли политические события в Петрограде, быстрый процесс большевизации Советов после провала контрреволюционного корниловского заговора. Наиболее проникательные деятели русского искусства уже тогда отдавали себе отчет в истинных причинах эвакуации. В письме к А. М. Горькому, в сентябре 1917 года находившемуся в Крыму, А. Н. Бенуа писал:

«Дорогой Алексей Максимович! Отчего Вас здесь нет? Подумайте только, уже приступлено к эвакуации Эрмитажа и дворцов! Ведь это самоубийство бесцельное и нелепое; это выражение той паники, которая охватила все наше запуганное общество перед призраком большевизма — и именно большевизма, а не немцев, ибо вошло опять в общую поговорку — мы-де немцев не боимся, а боимся своих».

Вспоминая эвакуацию эрмитажных ценностей в Москву, И. Э. Грабарь рассказывает:

«Дело это было затеяно напрасно по личной инициативе Керенского, которого Бенуа никак не мог убедить отказаться от эвакуации — ненужной, бесцельной и небезопасной. Возня была невероятная как в Петербурге, в Эрмитаже, так и в Москве, в Кремле».

дней, проведенные в Киеве, промелькнули как мгновение. Он всегда любил древний Киев, но в нынешнем октябре город показался ему еще прекраснее. С Киевом его связала удачная во всех отношениях женитьба на любимице государыни-императрицы фрейлине ее величества Елене Михайловне Чертковой, унаследовавшей от отца, киевского генерал-губернатора, обширные поместья — пять тысяч десятин, с лесными угодьями, фермами, фруктовыми садами, со свекловичными плантациями и сахарными заводами — тут же, под Киевом, в местечке Кагарлык. В своем кагарлыкском имении Елена Михайловна и дети обычно проводили летние месяцы, но в этом году Дмитрий Иванович настоял, чтобы жена и дочь не торопились с возвращением и пожили в Киеве подольше, пока в столице не разрядится политическая атмосфера. Елена Михайловна писала ему, что Центральная Рада, объявившая себя властью на Украине, поддерживает в городе относительный порядок, и сейчас он сам в этом убедился, побывав в кругу семьи, осмотревшись, получив короткую аудиенцию у профессора Грушевского: глава Рады его заверил, что события, подобные петроградским, в Киеве невозможны. И Грушевский, и Елена Михайловна, и дети уговаривали его не покидать Киева по крайней мере до весны. Он так бы и поступил, если бы кто-нибудь снял с него ответственность за Эрмитаж, но Эрмитаж был доверен его попечению самим государем, в марте он изъявил готовность лояльно служить обновленному строю, и пока не вывезены из Петрограда все эрмитажные вещи, он не волен распорядиться собой. Девять дней он наслаждался покоем, солнцем, на досуге просматривал отчеты, представленные управляющим кагарлыкским имением и заводами. Он предполагал пробыть с семьей до конца месяца, но когда из Эрмитажа пришла телеграмма, что погрузка третьего эшелона назначена на 25-е число, он прервал краткосрочный отпуск, предоставленный ему по семейным обстоятельствам, и немедленно выехал в Петербург.

Уже в день приезда, увидав, что творится на улицах, Толстой стал сомневаться в осуществимости эвакуации, назначенной на завтра. Но князь Гагарин, который всегда все знал, приободрил его: завтра чернь уgomонится, правительство действует, принимает решительные меры, отдан приказ переарестовать всех большевистских заправил. Так это или не так — покажет утро. А утром он понял, что все полетело в тартарары. Утром уже не

от болвана Гагарина, а от помощника начальника Дворцового управления князя Ратиева, человека дельного, не бросающего слова на ветер, он с ужасом узнал, что большевики захватили вокзалы, телефонную станцию, телеграф, что большевистский крейсер «Аврора» отдал якорь у Николаевского моста,—восстание, подготовленное, продуманное, еще немного и *coup d'état*, государственный переворот!

Ударила пушка,—в окнах, выходящих на Неву, задребезжали стекла. Вестовая пушка Петропавловской крепости, полдень,—целый час его ожидают в музее хранители, а он все еще дома, продолжает бесцельно слоняться из комнаты в комнату; постоит у одного окна, постоит у другого, поглядит на колоннаду Фондовой биржи, на серый силуэт крепостных бастионов, и никак не отрешиться ему от навязчивой мысли, что где-то рядом, совсем близко от дворца, а следовательно, и от его собственной квартиры в Ламотовом павильоне, стоит захваченная матросней «Аврора». Доигрались! Поздравляю вас, господин Бенуа! Не вы ли, дражайший Александр Николаевич, человек нашего круга, поборник чистого искусства, не вы ли еще в апреле, когда Ульянов-Ленин объявился в Петрограде, публично выразили благорасположение к ленинцам и стали с присущим вам красноречием призывать русскую интеллигенцию не сжигать кораблей своего идеализма только потому, что в тот же порт вошел дредноут Ленина. «Дредноут Ленина!» Иносказание? Метафора? Вот он стоит на Неве, дредноут Ленина, не метафорический, а реальный—трехтрубный большевистский крейсер с орудиями немислимого калибра! Проболтали Россию, бормочет Толстой, прогалдели, пролузгали...

Старый «Нортон» на камине напомнил башенным боем, что время идет. Не надевая пальто, Толстой по винтовой лестнице поднялся из своей квартиры во второй этаж Ламотова павильона, в Павильонный зал. Галереи по обеим сторонам Висячего сада ведут отсюда и в Зимний дворец и в здание Эрмитажа. Толстой свернул во дворец. Должен же кто-нибудь и помимо него нести ответственность за Эрмитаж...

В Зимнем несусветный бедлам. Никакой власти уже нет в России. Все отмахиваются от него, до Эрмитажа никому нет дела. Что же ему предпринять, что сказать служащим музея, заждавшимся его распоряжений? О том, что в Петроград вызваны войска, верные правительству, что Керенский выехал навстречу полкам гене-

рала Краснова, что через час-другой на улицах засвистят казачьи нагайки? Но можно ли полагаться на рассказы пьяного поручика, развалившегося в дворцовом кресле перед пустым кабинетом министра-председателя?

Сказать хранителям ему нечего, на что решиться, он не знает. Так и не зайдя в музей, Толстой вернулся в Павильонный зал, спустился к себе, в нижний этаж Ламотова павильона. Галерейный служитель, постоянно дежуривший в передней, был тут же послан за его превосходительством господином Ленцем, старшим хранителем Отделения Средних веков.

Действительный статский советник Эдуард Эдуардович Ленц — видная фигура в музее, правая рука директора Эрмитажа. Он знаток истории оружия, автор фундаментальных трудов, но выдвинула его вперед не общепризнанная ученость, а деятельная энергия музейного администратора. Толстой всегда прислушивался к его веским суждениям, излагаемым обычно в пространных «памятных записках», а когда поступал вопреки советам Ленца, всякий раз затем сожалел об этом.

Нешадно корил себя Толстой и сегодня. Напрасно оставлял он без должного внимания многократные представления Эдуарда Эдуардовича «о необходимости устройства в подвальных помещениях музея нескольких кладовых, имеющих назначение обезопасить от разгрома эрмитажные ценности в случае бесчинства черни»; последнюю «памятную записку» он получил из рук Ленца перед самым отъездом в Киев — все о тех же потайных кладовых: «Эрмитаж обязан озаботиться их подготовлением на случай неожиданных инцидентов, могущих возникнуть со дня на день». Вчера, оглядывая забитый ящиками вестибюль, он уловил в глазах Ленца выражение упрека и поспешил поделиться с Эдуардом Эдуардовичем ободряющими новостями, только что полученными от князя Гагарина. Мудрый Ленц лишь пожал плечами: *verba et voces*, слова, и больше ничего! Ленц прав, трижды прав: следует не мешкая навестить кого-либо из добрых знакомых во французском посольстве или в английском — дипломатические агенты стран-союзниц не могут не располагать достоверной информацией об истинном положении дел.

Досадно, что с господином Нулансом, новым французским послом, он еще не успел наладить близкие отношения, подобные тем, какие у него долгие годы сохранялись с Морисом Палеологом. Он посетит сэра Джорджа Бьюкенена. С британским послом, достойным

и любезным человеком, он встречался неоднократно и в залах музея — как директор Императорского Эрмитажа, и на официальных приемах в Зимнем дворце — как Второй обер-церемониймейстер двора его императорского величества.

Прав, прав Ленц: насколько легче станет на душе, если сэр Бьюкенен подтвердит, что к Петрограду действительно двинуты боеспособные части, что войска придут своевременно, предотвратят политическую катастрофу. И судьба Эрмитажа тоже в руках генерала Краснова: одного дня промедления, одной упущенной ночи достаточно, чтобы эрмитажные сокровища были захвачены большевиками. К Бьюкенену он пойдет тотчас же, и пойдет не один, а вместе с Эдуардом Эдуардовичем Ленцем, своим испытанным советчиком.

Не столь уж много музейных хранителей собралось в Эрмитаже утром 25 октября, значительно меньше, чем предполагалось неделю тому назад, когда была получена бумага от князя Гагарина об эвакуации в Москву третьей партии художественных коллекций. Винить отсутствующих, однако, не стал даже педантичный Ленц: эрмитажные хранители в большинстве люди преклонного возраста, многие заняли классные должности или были причислены к Императорскому Эрмитажу еще в девятнадцатом столетии, при Александре III, иные помнят и Александра II; трястись в битком набитом трамвае им неважно, казенных экипажей с недавних пор никому не подают, извозчики же за самый малый конец дерут втридорога. Добираться пешком на Миллионную — задача не из простых, тем более сегодня. Сегодня, откровенно признался Ленц коллегам, ему и самому потребовалось изрядное напряжение душевных сил, чтобы выйти на промозглую улицу из жарко натопленной квартиры в доме для чинов императорского двора и с Воскресенской набережной проделать весь путь к Эрмитажу *per pedes apostolorum*¹ под моросящим холодным дождем, по грязным панелям, мимо Литейного и Троицкого мостов, подле которых самовольничают патрули вооруженных солдат и матросов. Что говорить, прогулка малоприятная, особенно для людей в летах,

¹ Буквально — стопами апостолов, пешком, по образу пешего хождения (лат.).

обремененных, как и Ленц, разными недугами и притом, конечно, не хуже его понимающих, что события последних дней сделали эвакуационные планы князя Гагарина чистой химерой. Ленц никого не винил за абсентизм, но подчеркнуто выразил одобрение тем сослуживцам, которые, подобно ему, ровно в одиннадцать утра поднялись в лоджии Рафаэля, назначенные вчера графом Толстым для общего сбора. Общий сбор! В лоджиях не насчитаешь и десяти человек...

Сквозь застекленные проемы лоджий видна Зимняя канавка и — по ту ее сторону — казарма Преображенского полка. Окна казармы распахнуты, и преображенцы, полулежа на подоконниках, переговариваются с солдатами, толкущимися внизу, на тротуаре. Неужто и brave преображенцы тоже с большевиками?

Давно уже ударила полуденная пушка, а эрмитажные хранители, дожидаясь Толстого, по-прежнему празднично бродят по длинной сводчатой галерее.

В галерее свежо, но накинуть пальто значило бы нарушить эрмитажный этикет.

Неопределенность тяготит. Нет ничего отвратнее вынужденного бездействия.

Около двух пополудни к директору вызвали Ленца — теперь-то, быть может, что-нибудь и прояснится. Но вскоре в дверях опять появился служитель, представленный к директорской квартире:

— Его сиятельство граф Дмитрий Иванович и его превосходительство господин Ленц ненадолго отлучились по спешному делу и до их возвращения просили не расходиться.

Время — понятие относительное: прошел час, прошло полтора часа, — вот вам и ненадолго!

В ранних осенних сумерках поблекли и стушевались причудливые фрески на стенах и сводах Рафаэлевых лоджий. Как быстро вечерет! Кое-кто не вытерпел, принес пальто. Чем кончится этот холодный и ветреный октябрьский день — для Эрмитажа, для каждого из них, для всей России?

По роду своих специальных занятий, протекавших до недавнего времени под эгидой министерства императорского двора и в музее, считавшемся личной собственностью царствующего императора, хранители Эрмитажа были далеки от политической жизни, захватывавшей порой даже самые аполитичные круги научной и художественной интеллигенции. Над общественными проблемами эрмитажные ученые задумывались

редко и лишь тогда, когда, отдаваясь своему призванию, изучали памятники давно минувших эпох — Древнего или Нового царств, Ахеменидов, Сасанидов, греческих полисов, республиканского и императорского Рима, Византии, итальянских городских коммун времен гвельфов и гибеллинов. Они были на уровне современных знаний, когда склонялись над черепками тысячелетней давности; порывавшие холсты, изборозжденные кракелюрами¹, и безрукие мраморные торсы раскрывали хранителям бесценных эрмитажных шедевров увлекательные перипетии истории человечества, отвлекая от суетной злобы дня. Политика — не их сфера. Они пренебрежительно относились к социальным утопиям XIX и XX веков, и совсем уж бессмысленными казались им широковещательные планы коренного переустройства России на началах общественного коллективизма. Хотя ученые, собравшиеся сегодня в Рафаэлевых лоджиях, принадлежали, за малым исключением, не к лагерю эрмитажных ретроградов, возглавляемому старшим хранителем Ленцем, и считались в Эрмитаже «прогрессистами», их радикализм никогда не распространялся дальше требований известных реформ в постановке музейного дела. В стороне от политической жизни оставались они и после Февральской революции, но, в отличие от Ленца и его приверженцев, они не оплакивали крушение самодержавия, напротив, готовы были от души приветствовать приравнение образа правления в России к парламентским демократиям, существовавшим издавна в Англии, Франции или, скажем, в Северо-Американских Соединенных Штатах. Именно к этому, не сомневались они, и придет Россия, какие бы палки в колеса истории ни вставляли большевики. И все же, и все-таки... Не станет ли большевистский мятеж роковым для Эрмитажа, во что обойдутся России эти последние дни холодного и ветреного октября?

Неясный гул, то спадая, то нарастая, доносится теперь в лоджии и с Дворцовой набережной и с Миллионной. Что творится там, за стенами музея? Сергей Николаевич Тройницкий, хранитель Галереи драгоценностей, вызвался произвести рекогносцировку. Заодно он наведается домой — квартировал он тут же, на Миллионной, в доме князя Лобанова-Ростовского, что наискосок от Эрмитажа.

¹ Кракелюры — трещинки на поверхности произведения живописи (или керамического изделия).

Воротился Тройницкий в состоянии крайней ажитации.

— Господа! — возвестил он с порога. — Кажется, предстоит большая баталия!

Среди новостей, которые принес Тройницкий, о том, что противоправительственные войска почти полностью обложили Дворцовую площадь, что, по всей видимости, готовится захват дворца, что он лично слышал, как рослый матрос с «Дианы» орал во всю глотку: «Даешь Зимний!» — и толпа криками поддерживала его, — среди всех этих удручающих известий наиболее гнетущее впечатление произвела раздобытая где-то Сергеем Николаевичем большевистская прокламация — воззвание Военно-революционного комитета.

— «...Погромщики могут попытаться вызвать на улицах Петрограда смуту и резню, — громко читал Тройницкий. — Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов берет на себя охрану революционного порядка от контрреволюционных и погромных покушений. Гарнизон Петрограда не допустит никаких насилий и бесчинств. Население призывается задерживать хулиганов и черносотенных агитаторов и доставлять их комиссарам Совета в близлежащую войсковую часть. При первой попытке темных элементов вызвать на улицах Петрограда смуту, грабежи, поножовщину или стрельбу — преступники будут стерты с лица земли. Граждане! Мы призываем вас к полному спокойствию и самообладанию. Дело порядка и революции в твердых руках».

Листовка переходила из рук в руки. Под воззванием — длинный столбец: «Список полковых частей, где находятся комиссары Военно-революционного комитета Петроградского Совета рабочих и крестьянских депутатов». Еще ниже — оповещение: «О всех случаях контрреволюционных, погромных и т. п. выступлений надо уведомлять по указанным телефонам, помощь будет дана тотчас же». Первым в списке значился «Гвардии Преображенский резервный полк — Миллионная ул., 30, телеф. 19-66 и 8-21».

Окна казармы Преображенского полка по ту сторону Зимней канавки ярко освещены. В казарменных помещениях — это видно из лоджий — полным-полно солдат. Кого-то слушают, кому-то рукоплещут. Хлебом их не корми, а дай помитинговать.

— «Дело порядка в твердых руках», — с усмешкой

повторил. Тройницкий последние слова воззвания. — Свежо предание, а верится с трудом.

Из листовки, зачитанной Тройницким, эрмитажные хранители, предубежденные ко всему, что исходит от большевиков, поняли одно: не миновать сегодня варфоломеевской ночи, сами большевики считают неизбежными грабежи и погромы.

В лоджиях уже совсем темно.

На набережной застрочил пулемет.

От Толстого и Ленца никаких известий.

Перемолвившись несколькими словами с Тройницким, академик Яков Иванович Смирнов попросил общего внимания. Он вынужден считаться с фактами: по неизвестным ему, но, без сомнения, особо уважительным причинам директор музея и Эдуард Эдуардович задержались — упаси бог, возможен даже несчастный случай; среди присутствующих он — старший; по праву старшинства он берет на себя ответственность и освобождает всех, кто здесь находится, от обязательного присутствия сегодня ночью в здании Эрмитажа — да решает каждый этот вопрос по своему усмотрению.

— Сергей Николаевич уже изъявил готовность составить мне компанию. Будет ли нас двое, или десять, или тридцать — какое, в сущности, это имеет практическое значение?

С минуту молчали. Сославшись на плохое самочувствие, дозволения удалиться попросил барон Коскуль из Отделения картин, гравюр и оригинальных рисунков.

— Пожалуйста, пожалуйста, Гарольд Александрович, — как можно мягче ответил ему Смирнов.

Коскуль откланялся.

О своем решении не покидать музей, решении твердом и непреклонном, объявили в один голос и Джемс Альфредович Шмидт, хранитель Картинной галереи, и Оскар Фердинандович Вальдгауер, хранитель Отделения классических древностей, и все прочие их партнеры по многочасовому бдению в лоджиях Рафаэля.

Остаться долее в лоджиях было незачем, и Смирнов предложил перейти вниз, поближе к вестибюлю, к штабелям ящиков, так и не вывезенных из стен музея. Кратчайшим путем, через залы испанской и итальянской живописи, они дошли до Главной лестницы, спустились в вестибюль, и здесь внезапно столкнулись с бароном Коскулем — котелок на его голове сбился набок, с плеча свисало выпроставшееся из-под воротника кашне. Коскуль трясся, как в лихорадке. Перемежая

немецкие, русские, французские слова и пугливо озираясь по сторонам, барон рассказал, что не смог выбраться из Эрмитажа боковым запасным ходом на Зимнюю канавку, потому что как раз оттуда — прямо-таки при нем, он еле унес ноги, — в музей ворвалась банда громил.

— Вам это не померещилось, Гарольд Александрович? — сразу же посуровев, спросил Смирнов.

— Целая банда. Вооружены до зубов.

Вот оно, начало конца. Не позвонить ли, в самом деле, в Преображенский полк? Поздно! В ближних залах нижнего этажа уже грохочут тяжелые сапоги. Смирнов застегнул сюртук, перекрестился, шагнул вперед.

Он шагнул вперед и остановился как вкопанный. Первым, кого он увидел в широком дверном проеме, был князь Ратиев из Дворцового управления, его добрый знакомый, с которым он отвозил в Москву и устраивал в Кремле эрмитажные вещи. А за князем, грохоча сапогами, в вестибюль вваливалась ватага парней с винтовками в руках и гранатами за поясом, разношерстная гурьба — кто в шинели, кто в бушлате, кто в потертой кожаной куртке. У каждого — красная повязка поверх рукава, у каждого — красная ленточка на примкнутом штыке.

— *Qui sont, chere prince, ces gens-là?*¹ — оторопело спросил Смирнов.

— *Pas des cavalergardes, comme vous voyez, mais actuellement je ne peux pas vous offrir une autre garde*².

Пестрая команда, называвшая себя красногвардейским отрядом и прибывшая, по словам Ратиева, *directement de Smolny*, прямиком из Смольного, не внушала ни малейшего доверия, но, надо отдать справедливость, выполняла распоряжения князя беспрекословно и с охотой. Громоздкой мебелью, тяжелыми шкафами и диванами забаррикадировали эрмитажные подъезды и все внутренние ходы сообщения между Эрмитажем и Зимним. Установили посты — и не только у подъездов, но и в тех залах нижнего этажа, окна которых выходят на Миллионную и на Канавку. Красно-

¹ Что за люди с вами, князь? (Франц.)

² Не кавалергарды, как видите, но другой охраны пока предложить не в силах (Франц.).

гвардейцев было мало, на одного часового приходилось несколько залов¹.

Когда закладывали последний проход во дворец, Ратиев обнял на прощание Смирнова:

— Бог вам в помощь, Яков Иванович, а мое место во дворце.

Дверь за ним заперли, загородили. Всякая связь Эрмитажа с дворцом оборвалась.

В музейных залах темно, дежурный свет горит только в вестибюле. Окна вестибюля закрыты наспех сколоченными ставнями из толстых досок, и отсюда не видно ночной взбудораженной улицы, таинственных теней, перебегающих от ворот к воротам, осатанелых автомобилей, на всем ходу тормозящих у Зимней канавки и высвечивающих на короткие мгновения блестящие от дождя торцы мостовой и влажные тела эрмитажных атлантов. Но гул возбужденных людских толп слышен и здесь, в заставленном ящиками вестибюле,— монотонный, непрерывный гул.

Барон Коскуль отвел в сторону академика Смирнова и нашептывает ему, что шантрапа, приведенная Ратиевым, сама растворит грабителям двери. Его тягучие ламентации раздражают Якова Ивановича; как ни странно, два юнца у забаррикадированного входного тамбура — матрос и особенно тот, другой, в длинной солдатской шинели, командир отряда,— в какой-то мере ему даже симпатичны. — Бойтесь данайцев, дары приносящих,— не отстаёт Коскуль. — Ах, Гарольд Александрович,— устало отмахивается Смирнов,— будьте, как и я, фаталистом: чему быть, того не миновать. — Отвязавшись от Коскуля, Смирнов снова примостился на ящике — рядом с Тройницким, Вальдгауером, Шмидтом. Эти хоть не празднуют труса.

На Миллионной участилась ружейная стрельба; казалось, теперь стреляют у самого подъезда.

Один из юнцов, тот, что в солдатской шинели, подошел к академику Смирнову:

¹ В воспоминаниях участника Октябрьских событий, члена партии с 1917 года М. А. Дементьева указывается, что красногвардейский отряд, направленный 25 октября из Смольного для охраны Эрмитажа, состоял из десяти человек. Названы трое: Борис Дементьев, рабочий паренек с Ново-Адмиралтейского завода, и молодые матросы Борис Проскуратов и Кирилл Ершов. Самому М. А. Дементьеву, командиру отряда, было в ту пору девятнадцать лет.

— Чего вам маяться в сенях, господа хорошие? Помещения у вас хватает, нашли бы себе местечко потише.

...Расположились в глубине музея, в зале итальянской живописи. Сидели в темноте, сдвинув полукругом обитые бархатом кресла. Разговаривали почему-то шепотом.

Зал итальянской живописи не имеет окон, их заменяет стеклянный потолок; в десятом часу вечера черное небо над стеклянным потолком вдруг осветилось как бы зарницей, и сразу же — раскатистый орудийный выстрел. Одна и та же зловещая догадка возникла мгновенно у всех: «Аврора»! Ужели и на это решились большевики?!

Выстрелов больше не слышно. Черное небо над стеклянным потолком, и разговор сам собой возвращается на проторенную стезю. Не слова, слитые в округлые фразы, а раздумья, понятные каждому с полуслова. До чего хрупки и ненадежны шаткие мостки цивилизации над крошечной бездной социальных страстей! Подспудные вулканические силы с шутейной легкостью взрывают их и крушат, увлекая в пучину забвения плоды ума и рук человеческих. Что знало бы о древней Трое современное человечество, если бы Шлиман не поверил гексаметрам Гомера? Много ли пепла осталось от Александрийской библиотеки? Лава, извергнутая Везувием, в одну ночь погребла под собой и Геркуланум и Помпеи. Культура беспомощна перед лицом стихии — и перед слепыми силами ко всему равнодушной природы, и перед темными инстинктами разбушевавшейся толпы.

Через час снова загрохотали орудия, — не надо быть артиллеристом, чтобы понять, по какой цели ведется огонь: пушки Петропавловской крепости бьют по Зимнему дворцу.

— «Всему свое время, и время всякой вещи на земле, — слегка скандируя древний текст, негромко произнес Смирнов. — Время рождаться и время умирать, время любить и время ненавидеть, время строить и время разрушать...»

Канонада прекратилась. Давящая тишина. Ноги будто налились свинцом, не встать с кресла.

Никто не обернулся, когда в зал стремительно вошел командир красnogвардейского отряда. Лицо его сияло. Доверчиво объединяя себя с эрмитажными учеными, он весело крикнул:

— Наша взяла!

Всю ночь трезвонит телефон в квартире Александра Николаевича Бенуа — звонок за звонком. Хозяин квартиры принадлежит к числу самых авторитетных представителей петербургской художественной элиты, необычайно широк круг его знакомств, но в эту ночь, будто сговорившись, звонят ему наперебой все больше те, кто нынешним летом порвал с ним многолетнее знакомство, отвернулся от него, объявил вероотступником, ренегатом, перебежчиком во враждебный, большевистский лагерь. Злорадные голоса в телефонной трубке, колкие слова: услаждает ли канонада на Неве изысканный слух Александра Николаевича, не занят ли сейчас Александр Николаевич сочинением оды во здравие большевиков, есть чем гордиться сегодня Александру Николаевичу — бомбардировкой Зимнего, сопричастностью к славе современных геростратов! Звонок за звонком, всю ночь трезвонит телефон...

«Академик Александр Бенуа — тончайший эстет, замечательный художник и очаровательнейший человек. <...> Я познакомился с ним у Горького, и мы очень сошлись. <...> В сущности говоря, европеец типа Ромен Роллана, Анатоля Франса и других».

Слова эти принадлежат Анатолию Васильевичу Луначарскому. Они взяты не из мемуаров, не из дневниковой записи, не из личного письма, а из официального документа, адресованного Владимиру Ильичу Ленину. Весной 1921 года управляющий делами Совета Народных Комиссаров Н. П. Горбунов, выполняя поручение Ленина, обратился к наркому просвещения с просьбой дать характеристики наиболее выдающимся деятелям науки, литературы и искусства. Одна из четырнадцати характеристик, представленных тогда Луначарским, воздавала должное личности и общественной позиции А. Н. Бенуа. В чрезвычайно лестном для Бенуа общем контексте содержалась и такая фраза:

«Приветствовал Октябрьский переворот еще до Октября».

Реальное содержание этой парадоксально выраженной аттестации раскрывается в не менее парадоксальных фактах общественной биографии Бенуа.

Рафинированный эстет, основатель и идеолог художественного объединения «Мир искусства», певец Вер-

сая французских королей и Царского Села времен Елизаветы Петровны, Александр Бенуа с марта семнадцатого года стал неузнаваем. Красный бант, вдетый в петлицу, еще ни о чем не говорил — в те дни кто только не декорировал себя на такой общепринятый манер, но для Бенуа то не было банальной данью послефевральской моде, как не были пустой бравадой и его апрельские статьи, в которых он — сразу по возвращении Ленина из эмиграции — стал неожиданно для всех выражать симпатии к большевикам.

«У меня нет никаких политических убеждений, и мне кажется, что историку и художнику их трудно иметь», — издавна, в разных вариациях декларировал Бенуа. Свыше восьми лет сотрудничал он в кадетской «Речи», теша себя иллюзией, что занимает положение «независимого обозревателя» художественной жизни, что его перо свободно от общей линии газеты. Но человек высокой духовной культуры, гуманист «типа Ромен Роллана и Анатоля Франса», он всем своим существом ненавидел войну. Когда ему стало ясно, что и после свержения самодержавия «Речь» будет по-прежнему звать к продолжению кровавой бойни, к «войне до победного конца», он пошел на бескомпромиссный разрыв с ее редакторами и сотрудниками. Он — единственный в редакции — категорически отмежевался от воинственно-шовинистической позиции кадетского органа и своим демонстративным отказом от дальнейшего сотрудничества больно фразировал газетных принципалов. Даже двадцать лет спустя бывший редактор «Речи» И. В. Гессен вспоминал об «измене Бенуа» со все еще не остывшим раздражением:

«Один лишь Бенуа, с крикливо большим красным бантом в петлице, не соответствовавшим его изящному вкусу, заявил, что, будучи непримиримым противником войны... он не считает возможным дальше принимать участие в газете, стоящей за продолжение войны... Открытыми противниками войны были большевики и льнувшие к ним интернационалисты, которые в лице перекочевавшего в горьковскую «Новую жизнь» Бенуа получили первую авторитетную поддержку совершенно, казалось бы, чуждых им слоев, хранивших лучшие традиции императорской России».

Вчерашний *arbiter elegantiarum*¹ артистического Петербурга становится политическим публицистом. Выска-

¹ Арбитр, высший судья в области изящного (лат.).

звания Бенуа, конечно, не всегда последовательны, в них больше благородных эмоций, чем глубокого осознания законов социальной динамики, но он не считает себя вправе стоять «над схваткой», он изобличает милитаризм кадетов, клеймит империалистическую буржуазию, пытающуюся оттянуть момент возвращения солдат к своим очагам. Отъявленным шовинистом, закоренелым буржуа, буржуа «по душе и психологии» был теперь в глазах Бенуа любой собрат-интеллигент, поддерживающий милитаристскую политику Временного правительства. В разгар ожесточенной антибольшевистской кампании, развернувшейся в апреле, он гневно бичует этих «испугавшихся Ленина буржуа».

«За царьградские апельсины они готовы пожертвовать еще реками чужой крови и ни за что они не поверят, что можно жить без всякой той пошлой роскоши, которой даже самый невзыскательный среди них считает нужным окружать свою персону», — пишет Бенуа и, обращаясь к тем представителям буржуазной интеллигенции, «в коих живет хоть какая-то искра совести», продолжает: «Этим, подающим надежду, хочется сказать: „Да успокойтесь же, друзья, не сжигайте всех кораблей своего идеализма только потому, что в тот же порт вошел дредноут Ленина и эскадра вообще левых. Ей-ей, ужиться можно будет и с ними. Ну, кое-что придется уступить, ну, кое-что придется устроить иначе, ну, кое в чем вам станет менее удобно и, во всяком случае, менее привычно. Но, во-первых, жизнь в целом от этого не только не станет хуже, а станет лучше. А затем разве уж так трудно кое с чем расстаться, раз вам вместе с этим обещают такое предельное счастье, такой абсолютизм счастья, как возобновление чисто человеческих отношений между людьми вообще, раз кончится это царство пошлости, крови и лжи, каким является война, раз можно будет снова думать о дальнейших этапах на пути к общему благу вселенной?“».

Те, к кому обращался Бенуа, остались безучастны к его призывам: ахинея, вздор, пустопорожние рацеи. Но вот чего не прощают ему ни Мережковский, ни Зинаида Гиппиус, ни Философов, ни Гессен, редактор «Речи», — того, что на их политическом аргументе именуется «заигрыванием с большевиками»: в какую дьявольскую бездну, должно быть, катится Россия, если даже Александр Бенуа принялся петь акафисты Ульянову-Ленину! В буржуазных гостиницах и художественных салонах только и разговору, что о «казусе Бенуа», возмущенные

возгласы, удивленные восклицания, совсем как в «Горе от ума»: — «Ты слышал? — Что? — Об Чацком? — Что такое? — С ума сошел!» От Бенуа и впрямь шарахаются, как от помешанного. Пусть пеняет на себя: он сам расплевался со старыми друзьями, — ничего, еще наплачется...

Звонок за звонком — всю ночь трезвонит телефон в квартире Александра Николаевича Бенуа: Зимний дворец в руинах, снарядами разбита Колесница Славы на арке Главного штаба, эрмитажные сокровища захвачены пьяной толпой... Бенуа больше не откликается на телефонные звонки — страшно! Если все это правда, то не ошибся ли он в самом главном? Если это правда, то не пора ли и ему самому раз навсегда сжечь корабли своего несостоятельного идеализма?

Развалины на месте Зимнего дворца... Полгода тому назад, вскоре после Февральской революции, он писал: «Из всех чудес того фантастического момента, который мы с вами прожили (и который далеко еще не завершился), одним из самых изумительных является почти полное отсутствие эксцессов вандализма. Если бы какому-нибудь утописту пришла до революции в голову мысль пророчески изобразить падение российской монархии, этого „неизмеримого колосса“, то, несомненно, утопист не пожалел бы красок для того, чтобы представить разбушевавшуюся стихию народной ярости. В пожарах Петербурга и Москвы погибли бы у него все дворцы тиранов... Вообразите себя в роли такого утописта — Виктора Гюго или нашего Леонида Андреева. На самом же деле все ограничилось тем, что пожгли Окружной суд и Литовскую тюрьму и в аутодафе погибли аптекарские и гоф-лиферантские¹ орлы...»

Не чудо ли? — думалось ему тогда. — Не чудо ли мудрости народной? Революционная толпа равнодушно прошла мимо обиталищ постылых властелинов. Зрелая мудрость народа, благоразумие рачительного хозяина сказались в этом воздержании от эксцессов. «Как бы не сглазить, — писал он тогда, в апреле. — Ведь далеко еще не все кончилось. Ведь впереди, вероятно, предстоят еще самые тяжелые испытания». Но, размышляя в ту пору об испытаниях, еще ожидающих Россию, он лучшие свои надежды возлагал на «левых»: его нико-

¹ Гоф-лиферант — придворный поставщик.

гда не оставляла твердая уверенность, что именно «левые» надежно сэберегут для потомков все великое и прекрасное, что накопило человечество. Над ним глумилась правая пресса, его предостерегали, пытались урезонить все — и граф Толстой, директор Эрмитажа, и Сергей Маковский из «Аполлона», и супруги Мережковские — сколько у него теперь друзей-врагов! «Патентованные хранители культуры»! Он отвечал им: «Буюсь, что роли могут перемениться... даже охрану „вечных ценностей“, созданных когда-то теми, кто сейчас на правом фланге, возьмут на себя люди нынешнего левого фланга». В голове не уместается — пьяная толпа в эрмитажных залах! Он ошибся в самом главном.

...До утра не смыкает глаз Александр Бенуа.

В доме все еще спали, когда рано утром он отворил входную дверь двум незнакомым людям.

— Из Петроградского Военно-революционного комитета, — представились они. — Комиссары по охране дворцов и музеев.

Среди документов, относящихся к истории Октябрьского восстания, сохранился и список учреждений, воинских частей, губернских и уездных городов, куда в октябре 1917 года назначались комиссары Петроградского Военно-революционного комитета. Впервые этот сводный список был опубликован через два месяца после основания Советского государства, как документ, уже принадлежащий истории, и в предпосланном ему кратком введении уже тогда, в январе 1918 года, говорилось:

«Военно-революционный комитет выполнил свою громадную задачу революционного центра, он ликвидирован, и все его дела перешли в соответствующие комиссариаты... Но, несмотря на это, список учреждений, куда революционный центр направлял своих комиссаров в первые дни революции, представляет большой интерес для характеристики и будущей истории Октябрьского восстания».

Длинный перечень — двести девяносто два порядковых номера: Петропавловская крепость и крейсер «Аврора», Главный телеграф и телефонная станция, вокзалы, Государственный банк, Путиловский завод, завод Нобеля, городская осветительная станция... А рядом, в том же «Списке учреждений», воссоздающем топографию широко разветвленной деятельности комиссаров

ВРК,— и Эрмитаж, и Зимний дворец, и Публичная библиотека...

Комиссаров, на которых в дни вооруженного восстания Петроградский ВРК возложил охрану музеев и художественных коллекций, было двое. К исполнению своих обязанностей они приступили 25 октября.

Зимний дворец еще в руках Временного правительства.

С чего начать? Куда идти?

Само собой — в Эрмитаж.

Но, поразмыслив, комиссары изменили первоначальное намерение: подле Эрмитажа — казармы Преображенского полка, и преображенцы, в случае нужды, сумеют оградить знаменитый музей от грабительских поползновений темных элементов; к тому же караул в эрмитажных залах сегодня будет нести вооруженный отряд, снаряженный Красной гвардией. Поэтому, выйдя из Смольного, комиссары направились не на Миллионную, к Эрмитажу, а на Михайловскую площадь, — Русский музей, знали они, никак не защищен.

В донесении, датированном 4 ноября и носящем характер отчета о работе, сделанной в первые дни Октябрьской революции, комиссары ВРК Г. С. Ятманов и Б. Д. Мандельбаум докладывают Луначарскому:

«25-го прошлого месяца, получив назначение, мы направились в музей Александра III (Русский музей), как более всего угрожаемый и требующий охраны со стороны прилегающей к музею территории... Ввиду этого мы снеслись с комиссаром Павловского полка, который предоставил нам наряд солдат для несения караульной службы при музее. Караул сохранен до настоящего времени, и в музее все благополучно».

Эрмитажем и Зимним дворцом, как явствует из этого же донесения, комиссары занялись на следующий день, 26 октября, но до того, рано утром, по совету Анатолия Васильевича Луначарского, они прямо из Смольного поехали на дом к Александру Бенуа.

Двери отворил сам хозяин квартиры. Едва представились, как тут же, в передней, Бенуа буквально за-

сыпал их вопросами — один дичее другого, — от кого только наслышался он таких небылиц? «Обаятельный человек», — сказал о нем Луначарский. Какое там: настороженный взгляд, дальше порога не пускает. Ладно! Не снимая шинелей, они изложили цель своего прихода.

— Да что же мы в коридоре? — засуетился вдруг Бенуа. — Прошу, прошу в кабинет...

В донесении комиссаров ВРК, помеченном 4 ноября, говорится:

«26-го прошлого месяца мы обратились к А. Н. Бенуа, вместе с которым выработали план действий по ограждению художественных сокровищ. Первым делом мы отправились в Эрмитаж и в Зимний дворец. При обследовании выяснилось, что Эрмитаж не пострадал...»

4

Толпа на Дворцовой площади не уменьшалась. Еще до рассвета, до первых трамваев, сюда стали стекаться жители столицы — и стар и млад. Чуть ли не полгорода, несмотря на дождь и пронизывающий ветер, побывало в это утро подле взятого с бою Зимнего дворца.

В первом часу на Дворцовой площади показался пожилой подтянутый человек в добротном пальто, в котелке, с высоко поднятым над головой черным зонтом. — *I beg your pardon!*¹ — повторял он, проталкиваясь сквозь толпу. — *I beg your pardon!* — Лицо чопорного господина было знакомо многим в Петербурге: фотографии английского посла не раз появлялись на страницах иллюстрированных журналов — «Нивы», «Огонька», «Солнца России».

Совершать утренние прогулки по городу сэр Джордж Бьюкенен вменил себе в обязанность: он считал, что сведения, получаемые через обычные каналы, весьма полезно дополнять личными наблюдениями. Вчера он тоже прошелся по Дворцовой набережной и только потом, со второй половины дня, засел за подробный доклад о петербургских событиях, который надлежало почью передать в Лондон. Работа требовала сосредоточенности, и он поочередно отказывал в приеме раз-

¹ Прошу извинить! (Англ.)

ным случайным визитерам, вроде директора Эрмитажа графа Толстого, неожиданно пожаловавшего в посольство и домогавшегося конфиденциальной беседы, неизвестно зачем и так не в пору.

Никто не входил к послу, кроме первого секретаря со свежими агентурными материалами и старшего шифровальщика, уносившего листок за листком готовые части текста. Посол уже дописывал резюме, когда громовой орудийный выстрел прокатился над Невой.

Английское посольство помещалось в старинном здании у Летнего сада, в самом начале Дворцовой набережной, и из окна своего кабинета сэр Бьюкенен наблюдал за огнем, открытым по Зимнему дворцу пушками Петропавловской крепости. Артиллеристам известно, что при холостых выстрелах сноп пламени ярче, звук оглушительнее, — Бьюкенен этого не знал, и ему казалось, что крепостная артиллерия ведет нескончаемый огонь чудовищной силы и что завтра он увидит Зимний дворец, изуродованный снарядами, весь в копоти и дыму. Проработав остаток ночи и все утро над новыми донесениями в Лондон и пока только вкратце упомянув об артиллерийском обстреле Зимнего дворца, он решил выйти на набережную, чтобы лично ознакомиться с ужасающими последствиями вчерашней бомбардировки.

«Сегодня после полудня, — записал 26 октября в своем дневнике английский посол Джордж Бьюкенен, — я вышел, чтобы посмотреть, какие повреждения нанесены дворцу продолжительной бомбардировкой в течение вчерашнего вечера, и, к своему удивлению, нашел, что, несмотря на близкое расстояние, на дворцовом здании было со стороны реки только три знака попадания шрапнели. На стороне, обращенной к городу, стены были изборождены ударами тысяч пулеметных пуль, но ни один снаряд из орудий, помещенных в дворцовом сквере, не попал в здание»¹.

¹ Дневниковая запись Дж. Бьюкенена нуждается в некоторых разъяснениях и уточнениях.

Помимо пяти холостых выстрелов (включая сигнальный) из шестидюймовых крепостных орудий, с Нарышкинского бастиона было произведено и два выстрела шрапнелью, не обладающей, как известно, сколько-нибудь эффективной разрушительной силой. Один снаряд, неразорвавшийся, упал недалеко от Сенной площади; другой, влетев в угловое окно приемной комнаты Александра III на третьем этаже Зимнего дворца, разорвался около стены. Одновременно огонь вели и трехдюймовые пушки, выкаченные из-за крепостных стен на приплеск Невы; ими было сделано 30—35 выстрелов, частично холо-

...Со всех концов города стекается народ на Дворцовую площадь, спешит к Зимнему дворцу. После полудня, узнав, что на улицах спокойно, пришли поглядеть на несчастный дворец и Зинаида Гиппиус с Мережковским, и Гессен, редактор «Речи», и Сергей Маковский из «Аполлона». С огорчением, умеряемым злорадством, осмотрели они изрешеченные пулями стены, отметили следы шрапнели над главными воротами, пересчитали окна, оставшиеся без стекол. Но дворец стоит, как стоял, и Александрийский столп высится посреди площади, и Колесница Славы венчает арку Главного штаба, и атланты привычно поддерживают эрмитажный портик, — даже странно!

«...Печать пишет, что „Аврора“ открыла огонь по Зимнему дворцу, но знают ли господа репортеры, что открытый бы нами огонь из пушек не оставил бы камня на камне не только от Зимнего дворца, но и от прилегающих к нему улиц. А разве это есть?..»

Письмо команды крейсера «Аврора», принесенное под вечер 26 октября председателем судебного комитета Бельшевым в редакцию «Правды», было тотчас же послано в набор и опубликовано 27 октября. Обращенное «ко всем честным гражданам города Петрограда», оно заканчивалось словами: «Просим все редакции перепечатать». До полутораста газет издавалось в Петрограде буржуазными и соглашательскими партиями, и ни одна из этих газет не поместила письма матросов «Авроры». Черная и желтая пресса изошрялась в клевете на большевиков, на Красную гвардию, на балтийских матросов и революционных солдат. Высокооплачивае-

стыми снарядами, частично шрапнелью; большинство этих шрапнельных снарядов рвалось еще над Невой, и лишь один повредил карниз дворца. Сказанное объясняет столь удивившую Бьюкенена крайнюю незначительность повреждений, нанесенных артиллерией Петропавловской крепости дворцовому зданию.

Но, говоря далее об орудиях, будто бы находившихся в дворцовом садике («дворцовом сквере») и якобы оттуда обстреливавших Зимний дворец, Бьюкенен допускает фактическую неточность. В действительности, кроме крепостной артиллерии, ведшей огонь со стороны реки, два шрапнельных выстрела произвело по Зимнему дворцу — со стороны Дворцовой площади — только трехдюймовое орудие, стоявшее под аркой Главного штаба, в центре расположения революционных войск. Одним снарядом, попавшим в левый подъезд дворца, была отбита в ряде мест штукатурка и сделаны вмятины на решетке пандуса; второй снаряд попал в помещение над главными дворцовыми воротами.

мые публицисты и репортеры-строчкогоны, соперничая друг с другом, расписывали «акты большевистского варварства». Любой вздорный вымысел враля-репортера — «при штурме Зимнего дворца погибли сокровища Эрмитажа», «во время бомбардировки пошатнулся Александрийский столп и дал трещину от вершины до основания», — любую побасенку бульварного листка немедленно подхватывали десятки «солидных» газет. Изодня в день обывателю преподносились всевозможные инсинуации об Октябрьском штурме, об «оргии разрушения» в Зимнем дворце.

«Один из самых замечательных памятников — Зимний дворец — совершенно разгромлен, разгромлен до такой степени, что не представляется никакой возможности его реставрации и восстановления хотя бы части разбитых и испорченных ценностей, — задавая тон, кликушествовала эсеровская «Воля народа». — ...Сумма разграбленных и уничтоженных исторических сокровищ Зимнего дворца оценивается приблизительно в 500 миллионов рублей».

Большевистская «Правда» решительно опровергла злобный навет эсеров. Она сослалась при этом на нотариально заверенные показания группы американских журналистов, вошедших в Зимний дворец вместе со штурмующими колоннами и находившихся там в течение нескольких часов. «Американцы, — писала «Правда», — выражают свое восхищение революционным матросам и солдатам».

Показания, данные американскими журналистами, беспристрастными свидетелями легендарных событий, очевидцами исторического штурма Зимнего дворца, к сожалению, до нас не дошли — листок гербовой бумаги, скрепленный подписью нотариуса, затерялся в сутолоке повседневных дел революции. Но те же американские журналисты, на которых ссылалась «Правда» 29 октября 1917 года, оставили печатные свидетельства, сбереженные нам историей: «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида, «Шесть красных месяцев в России» Луизы Брайант, «Красное сердце России» Бесси Битти, книги Альберта Риса Вильямса...

— *Вся власть Советам!..*

Осмысливая ход революционных событий в Петрограде, вспоминая штурм Зимнего дворца, Альберт Рис Вильямс пишет:

«Ничто так не чуждо самой природе рабочего класса, как инстинкт разрушения. Не будь это так, сохранились бы совсем иные воспоминания об утре 8 ноября¹. Возможно, существовали бы рассказы о том, что месть многострадального народа оставила от восхитительного царского дворца кучу разбитых кирпичей и дымящегося пепла...»

— *Мир хижинам — война дворцам! Ненавистен нам царский чертог!*

«...Целое столетие стоял этот дворец на берегах Невы, неприветливый и равнодушный. Народ возлагал на него свои самые светлые надежды, но от него исходил лишь мрак. Люди зывали к нему о сострадании, а получали в ответ лишь плеть и кнут, сожженные деревни и ссылки в Сибирь. Зимним утром 1905 года мирное шествие тысяч людей направилось сюда, чтобы просить царя-батюшку выслушать их и устранить несправедливости. Дворец ответил им пулями и шрапнелью, обagrив их кровью снег. Для народных масс это здание олицетворяло собой жестокость и притеснение...»

— *Был царским чертогом Зимний дворец, стал хромами Керенского... Даешь Зимний!*

«...Если бы они сравнивали его с землей, это было бы всего лишь еще одним проявлением гнева, охватившего поруганный народ, который навсегда уничтожил проклятый символ своих мучений...»

— *Бабахнула «Аврора» — вперед, на штурм! Мир хижинам — война дворцам!*

«...Из холода и тьмы эти пролетарии внезапно оказываются в теплом и ярко освещенном дворце, из лагуч и казарм они попадают в сверкающие залы и позолоченные комнаты...»

— *Вон каков он изнутри, этот царский дворец, — ну и жили же паразиты!*

«...Украшенные статуями из золота и бронзы, устланные восточными коврами, увешанные гобеленами и картинами, его комнаты залиты светом множества ламп в хрустальных люстрах, его подвалы ломятся от редкостных выдержанных вин и ликеров. Вот они, сказочные богатства, рукой подать! Почему же не взять их?.. Все здесь создано их потом и потом их отцов, все по праву принадлежит им, все это принадлежит им по праву победителя. Они завоевали всё своими винтовками, из которых еще струится дымок, и отвагой своих

¹ 26 октября (по старому стилю).

сердец. Но надолго ли? Сто лет всем этим владели цари, вчера Керенский. Сегодня это богатство принадлежит им. А завтра? Кто знает. В этот день революция раздает. Завтра все может быть отобрано контрреволюцией. Теперь же, когда трофеи в их руках, разве не должны они ими воспользоваться?..»

— *Куда ни глянь — прорва добра. Валяй, бери. Было ваше, стало наше.*

«...Под сводами гремят тысячи голосов... Но вот иной голос врывается в это столпотворение — ясный и всеподчиняющий голос революции. Она говорит устами своих пылких приверженцев, петроградских рабочих. Их всего лишь горстка, невысоких и невзрачных на вид, но они бросаются в самую гущу дюжих солдат-крестьян и кричат:

— Ничего не брать! Революция запрещает! Никаких грабежей! Это принадлежит народу!»

...В разных концах дворца побывали той ночью американские журналисты — в парадных залах и в жилых комнатах. Везде возбужденные люди, везде сказочные богатства. Люди из жалких лачуг и унылых казарм уже все заметили, оценили, прикинули: кожа с кресла сгодится на сапоги, оконная занавесь пойдет на портянки, важнецкие часы с печной полки — вместо ходиков в избу. «Самой ценной добычей, — говорит Джон Рид, — считалось платье, в котором так нуждался рабочий народ». Все это видели Джон Рид и его друзья, и еще видели они, как всякий раз, когда страсти разгорались, их тут же гасила непреклонная воля петроградских рабочих, революционных матросов, комиссаров ВРК: «Ничего не трогать! Ничего не брать!»

Свидетельствует Джон Рид:

«Увлеченные бурной человеческой волной, мы вбежали во дворец через правый подъезд, выходящий в огромную и пустую сводчатую комнату — подвал восточного крыла, откуда расходился лабиринт коридоров и лестниц. Здесь стояло множество ящиков. Красногвардейцы и солдаты набросились на них с яростью, разбивая их прикладами и вытаскивая наружу ковры, гардины, белье, фарфоровую и стеклянную посуду. Кто-то взвалил на плечо бронзовые часы. Кто-то другой нашел страусовое перо и воткнул его в свою шапку. Но, как только начался грабеж, кто-то закричал: „Товарищи! Ничего не трогайте! Не берите ничего! Это народное достояние!“ Его сразу поддержало не меньше двадцати голосов: „Стоять! Клади все назад! Ничего не

брать! Народное достояние!“ Десятки рук протянулись к расхитителям. У них отняли парчу и гобелены. Двое людей отобрали бронзовые часы. Вещи поспешно, кое-как сваливались обратно в ящики, у которых самочинно встали часовые. Все это делалось совершенно стихийно. По коридорам и лестницам все глуше и глуше были слышны замирающие в отдалении крики: „Революционная дисциплина! Народное достояние!“»

Свидетельствует Джон Рид:

«Мы пошли к левому входу, т. е. к западному крылу дворца. Здесь тоже уже был восстановлен порядок. „Очистить дворец! — кричали красногвардейцы, высываясь из внутренних дверей. — Идемте, товарищи, пусть все знают, что мы не воры и не бандиты! Все вон из дворца, кроме комиссаров! Поставить часовых!..“»

Свидетельствует Джон Рид:

«Мы поднялись вверх по лестнице и стали обходить комнату за комнатой. Эта часть дворца была занята другим отрядом, наступавшим со стороны Невы. Картины, статуи, занавеси и ковры огромных парадных апартаментов были не тронуты. В деловых помещениях, наоборот, все письменные столы и бюро были перерыты, по полу валялись разбросанные бумаги»¹.

В какую бы часть огромного дворца ни заглядывали американские журналисты, всюду уже брали верх силы революционного порядка: комиссары, рабочие-красногвардейцы и действовавшие по собственному почину группы революционных солдат — «самочинные комитеты», как называет их Джон Рид. «Самочинный комитет останавливал каждого выходящего... Все, что явно не могло быть собственностью обыскиваемого, отбиралось, причем солдат, сидевший за столом, записывал отображенные вещи, а другие сносили их в соседнюю комнату... Виновные либо мрачно молчали, либо оправдывались, как дети. Члены комитета в один голос объясняли, что воровство недостойно народных бойцов. Многие из обличенных сами помогали обыскивать остальных товарищей»².

¹ Джон Рид имеет в виду дворцовые помещения, запятые Керенским под всевозможные кабинеты и канцелярии Временного правительства.

² В число «Приложений», дополняющих основной текст «Десяти дней», Джон Рид включил составленную им специальную справку о «грабежах в Зимнем дворце». Он указывает, в частности, что много

— Зимний дворец дочи́ста разграблен,— трубила черная и желтая пресса.— В Зимнем дворце,— писала эсеровская «Воля народа»,— происходила «планомерная, будто заранее обдуманная оргия разрушения».

На эти измышления антибольшевистской печати редакция «Правды» ответила короткой заметкой «Океан лжи»:

«Океан лжи! Но в нем утоплена, конечно, не рабочая и крестьянская революция, а сами бесчестные и мерзкие лгуны, клеветующие на революционный народ!»

5

Разбрызгивая грязь, тащится по улицам извозчи́чья пролетка. Извозчик, обыкновенный петербургский вапъ-ка, лениво, больше для виду, нахлестывает тощую лошаде́нку: — Но-о, резвая, наддай!

Седоков в обшарпанной пролетке трое, один из них — граф Дмитрий Иванович Толстой. Без малого сутки не был он дома. Вчера, когда он покидал на час-другой Ламотов павильон, мог ли он предусмотреть подобное стечение фатальных обстоятельств: визит в британское посольство оказался напрасным, обернулся для него сплошным срамом — Бьюкенен даже не вышел, чтобы извиниться приличия ради, а из-за этого злополучного визита ни ему, ни Ленцу не удалось вернуться в Эрмитаж — дворец был уже окружен, и все попытки пробиться сквозь оцепления кончились неудачей. Ленц приглашал ночевать к себе, но он распрощался с Эдуардом Эдуардовичем у Марсова поля и, перейдя Троицкий мост, побрел на Песочную, к племянникам. У племянников он всегда дорогой гость, ему обрадова-

ценных вещей было похищено из Зимнего дворца еще до штурма. Это утверждение Джона Рида документально подтверждается протоколами Комиссии по описи и учету дворцового имущества (Художественно-исторической комиссии), относящимися к периоду, когда во дворце хозяйничали правительство Керенского и юнкерские караулы. В той же справке, приложенной к «Десяти дням», Джон Рид останавливается и на хищениях, которые совершали уже после взятия Зимнего дворца «некоторые люди из числа всех вообще граждан», т. е. люди, не имевшие никакого отношения к штурмовавшим дворец революционным силам. Среди толпы, хлынувшей в дворцовые подъезды вслед за штурмующими колоннами, было немало деклассированного сброда; до тех пор, пока Петроградский ВРК не сумел установить надежную внешнюю охрану дворца, завзятым грабителям и ворам-профессионалам удавалось уносить с собой разнородные предметы дворцового имущества. Джон Рид называет примерную стоимость похищенного — «около 50 тысяч рублей».

лись, прободрствовали с ним до утра у телефона. Он телефонировал разным людям, получил много важных известий, и только на Миллионной, в Эрмитаже, никто не отвечал на его беспрестанные звонки, хотя каждый раз, когда его соединяли с музеем, он подолгу не клал трубку на рычаг. Эрмитажный телефон безмолвствовал, и на ум приходило всякое, особенно после ночной оружейной пальбы. Легли на рассвете, проснулись поздно. Недавно, минут сорок назад, он снова позвонил в эрмитажную канцелярию, без всякой надежды, а так, на всякий случай, и вдруг отозвался гоф-фурьер, невзначай оказавшийся у аппарата: в музее все слава богу, а насчет квартиры их сиятельства разное говорят, может, позвать кого-нибудь из господ хранителей, они в залах... Ушло бы много времени, пока разыщут, он велел только передать хранителям, что едет домой. Племянники не захотели отпускать его одного — с ним поехали племянница и племянник.

Извозчик попался ужасный, коняга еле передвигает поги. Едешь-едешь и никак не доедешь. На Дворцовой набережной такая же грязь, что и на торговых улицах. Знакомые с детства прекрасные здания — Мраморный дворец великого князя Константина Константиновича, Ново-Михайловский дворец великого князя Николая Михайловича, дворец великого князя Владимира Александровича. А визави — Петропавловская крепость. Каково было обитателям великокняжеских дворцов, когда ночью забили крепостные пушки? И Бьюкенен, должно быть, дрожал как осиновый лист...

...«Но-о, резвая, наддай!» Лошаденка, поднатужившись, перетащила пролетку через горбатый мостик Зимней канавки. У Ламотова павильона, перед воротами во внутренний дворцовый проезд, Толстой отпустил извозчика — по ту сторону ворот, в двух шагах, входные двери в его квартиру. Фасад Ламотова павильона — это Толстой заметил еще с пролетки — совершенно невредим, но неподалеку, возле стен Зимнего дворца, тротуар в нескольких местах усыпан обвалившейся штукатуркой.

Войти в ворота не дал часовой: посторонним вход возбранен. С набережной не увидишь, что творится дома, — окна занавешены. На счастье, в глубине проезда показался князь Ратиев — он шел в сопровождении прапорщика с красной повязкой на рукаве.

Узнав, в чем дело, Ратиев представил Толстого своему спутнику, и прапорщик черкнул на листке бумаги:

«Разрешаю вход в квартиру Толстому и обратно 26 окт. с. г. директ. Эрмитажа. За комиссариата прапорщик Рудник».

Толстой обратил внимание князя, что он не один. Караульный начальник написал на обороте бумажки:

«Племянница с племянником».

Толстой усмехнулся: не большой грамотей этот прапорщик военного времени, этот большевистский комиссар. Пропуск курам на смех! Надо будет сохранить его как курьезный документ однодневного владычества большевиков: ночным известиям можно верить — Керенский действительно выехал навстречу войскам генерала Краснова.

В квартиру вошли вчетвером — вместе с князем Ратиевым. Ключа не понадобилось — замок был взломан. В передней и всюду горит электричество. Из прислуги — никого.

Боже, в каком виде комнаты! Все перевернуто, все повалено, все двери настежь.

Князь Ратиев, словно это могло утешить Толстого, принялся изъяснять возможные причины прискорбного происшествия: когда инсургенты пытались проникнуть во дворец с флангов, чтобы зайти в тыл юнкерам, они, по-видимому, и ворвались сюда, в Ламотов павильон, ураганом пронеслись по нижнему этажу, но на второй этаж попасть все же не сумели — выход в Павильонный зал был надежно забаррикадирован. Ратиев добавил, что другой отряд инсургентов, ворвавшийся во дворец через Комендантский подъезд, побывал и в его квартире — прошлись тоже не на цыпочках.

— Сегодня, Дмитрий Иванович, каждый из нас должен быть немного философом. *Fait accompli!*¹ Мы все поставлены перед свершившимся фактом в неизмеримо более широком смысле.

Толстой слушал индифферентно. Он уже обдумывал письмо, которое завтра же пошлет в Киев: он привык в трудные минуты жизни делиться горестями с женой и сейчас прикидывал в уме, как написать Елене Михайловне о случившейся дома беде.

(Семейная переписка Толстых, Дмитрия Ивановича и Елены Михайловны, в конце октября 1917 года была особенно интенсив-

¹ Свершившийся факт! (Франц.)

ной. Из Киева графиня Толстая слала письма ежедневно, а иногда и дважды в день. «С ужасом прочла сегодня газеты, дорогой мой, родименький, — писала Е. М. Толстая 25 октября. — В какую ты снова попал большевистскую кашу. Лишь бы с тобой чего-нибудь не случилось... Волнуюсь за тебя в этом большевистском гнезде». В письме от 26 октября Толстая пишет: «Дорогой мой, родименький, излишне говорить, в какой я тревоге за тебя. Я просто места себе не нахожу и не знаю, что и думать. Остался ли ты во дворце или переехал к Маше или племянникам? Успел ли ты это сделать или тебя обстреливают и ты не можешь уже выйти? Чужало мое сердце беду, что и неудивительно, когда я просила тебя не уезжать... Здесь совсем спокойно. Рада объявила, что она считает себя ответственной за порядок». Столь же частыми в эти дни были и письма Д. И. Толстого. В письме, помеченном «25/26 октября. Ночь», он осведомляет жену о своем посещении британского посольства, возмущается поведением посла, рассказывает о тревожных ночах, проведенной у племянников. Следующее письмо помечено: «26 октября, поздний вечер». В нем содержится краткое упоминание об Эрмитаже («Эрмитаж невредим») и подробно описывается состояние каждой комнаты в квартире на Дворцовой набережной («Я приехал домой на ужасном извозчике и застал нашу милую квартиру в несчастном виде...»). Перечислены все поврежденные вещи и все уцелевшие. Письмо кончается успокоительно: «Как ни горестно все случившееся, я сохраняю бодрость духа, убежден в благоприятном повороте событий и твердо надеюсь в ближайшие недели увидеть тебя и детей в Петербурге».)

И об этом он тоже напишет в Киев, Елене Михайловне:

«Твои любимые саксонские безделушки за исключением пастушка, подаренного тебе Кочубеями, представь, уцелели».

Фарфоровые фигурки, валявшиеся на ковре, Толстой аккуратно расставил по их привычным местам. Мейсенского пастушка и его отбитые ножки он отложил в сторону — эрмитажные реставраторы еще и не то склеивали.

О чем, бишь, он хотел спросить Ратиева? Да, о дворце... Оказывается, князь всю ночь не покидал дворец, по своей воле оставался в самом пекле; с помощью дворцовых служителей ему удалось обезопасить немало бесценных вещей, — храбрость, достойная восхищения, bravo, князь! Но весь дальнейший рассказ Ратиева — сущий вздор, от которого уши вянут. Поразительно: потомок старинного грузинского рода, офицер, полковник, интеллигентный, широко образованный чело-

век — не часто дворцовые чины оканчивают Парижскую академию изящных искусств, — а до чего договорился: в эксцессах менее всего повинны большевики, — комиссары, изволите ли видеть, не дали разгуляться низменным страстям!

— Любопытствую, — перебивая князя, сказал Толстой, — что вы запоете завтра, когда правительство будет освобождено из заточения и министры вернутся в Малахитовый зал? Так что, князь, повремените записываться в большевики.

По тому, как Ратиев взглянул на него, Толстой понял, что перегнул палку.

— Позволю себе заметить, политикой не занимаюсь, тем паче — политиканством, — сухо, еще сдерживая себя, начал Ратиев, а затем, повысив голос, заговорил с характерным грузинским акцентом, который отчетливо проступал в его речи, когда он переставал владеть собой. Заборными словами он обозвал и Керенского, и Коновалова, и Кишкина, бессовестных политиканов, поставивших под удар и Зимний и Эрмитаж. — Подлецы! Ракалии!

Князь распалился до такой степени, что Толстой опешил. Выручил рябой солдат, ввалившийся во все еще не запертую квартиру, как был — в нечищенных сапогах, в расстегнутой шинели, с вонючей сигаркой в зубах.

— Товарищ князь, — обратился он к Ратиеву, — вас кличут во дворец.

— Иду, братец, — отозвался Ратиев и откозырнул Толстому: — Имею честь...

Ратиев ушел, и Толстой почувствовал облегчение. «Товарищ князь!» — титул из самоновейших. Обозвали бы его «товарищ граф» — он бы не смолчал.

Внутренние проходы в музей еще не были разбарикадированы, и в здание Эрмитажа Толстой направился не верхними галереями Ламотова павильона, а дворцовым проездом. Он предъявил свой диковинный пропуск сперва часовому, который стоял у ворот на Дворцовую площадь, потом другому — у эрмитажного portика.

В Эрмитаже Толстой пробыл недолго. Он узнал от академика Смирнова, что утром в музей явились два комиссара из Смольного, установили вокруг эрмитажного здания внешнюю охрану и что караул, находив-

шийся ночью во внутренних помещениях, выведен час тому назад. Мера правильная, сказал Смирнов, хотя никаких претензий к ночному караулу у него нет. Огорчила записка от Ленца — старик занемог. Хранители рассказали Толстому, как они беспокоились о нем и об Эдуарде Эдуардовиче, пропавших вчера без вести, и Толстой, в свою очередь, поведал хранителям, в какой тревоге находился и он, когда никто в эрмитажной канцелярии не отзывался на его звонки. Его ознакомили с расписанием круглосуточных дежурств, заново составленным делопроизводителем Воиновым, и Толстой скрепил бумагу своими инициалами. Попутно он попросил Воинова снестись с хозяйственной частью Дворцового управления, дабы оттуда прислали слесаря вставить новый замок в двери его квартиры — пока что квартиру стерегут племянники, и заодно у него просьба к реставраторам. Он продемонстрировал фигурку пастушка, которую прихватил из дому. — Посмотрите, какой вандализм, — повернулся он к Тройницкому, знатоку фарфора. Тройницкий развел руками: — Увы, граф, еще санкюлоты доказали, что революция и фарфор несовместимы.

Уходя, Толстой распорядился никаких комиссаров в Эрмитаж не допускать — завтра все переменится.

6

В Актовом зале Смольного пели «Интернационал». Только что закрылся Всероссийский съезд Советов — принят Декрет о мире, Декрет о земле, образован Совет Народных Комиссаров.

О том, что его прочт в рабоче-крестьянские министерства, Луначарскому стало известно накануне. В перерыве между заседаниями съезда ему передали, что ЦК партии, подбирая состав правительства, решил возложить на него руководство делом народного просвещения.

«Новость была волнующая, — вспоминает Луначарский, — даже пугающая той громадной ответственностью, которая возлагалась, таким образом, на мои плечи». Незадолго до того, как съезд утвердил предложенный фракцией большевиков список народных комиссаров, он сам участвовал в обсуждении кандидатур, выставляемых на посты наркомов. «Это совершалось в какой-то комнатухе Смольного, где стулья были за-

брошены пальто и шапками и где все теснились вокруг плохо освещенного стола». Выбирали руководителей новой, социалистической России, кружилась голова перед грандиозными перспективами и трудностями. Съезд закрылся, — Ленин во главе рабоче-крестьянского правительства, надо приступать к строительству социализма.

Был шестой час утра, когда Луначарский вышел из Актового зала. Народный комиссариат по просвещению... Надо бы посоветоваться с Лениным, но Ильич так занят. Коридоры, лестницы, комнаты Смольного гудят людскими голосами, где бы присесть, чтобы собраться с мыслями, — не то что служебного кабинета, даже своего стола, обыкновенного стола со стулом еще нет у рабоче-крестьянского министра.

Ленин сам заговорил с Луначарским о начальных шагах революции в области просвещения, и хотя много лет спустя Анатолию Васильевичу не по силам было восстановить точную дату той памятной беседы с Ильичем, само ее содержание свидетельствует, что происходила она в октябрьские «дни творения».

В шумном, пропахшем махоркой смольнинском коридоре Ленин окликнул Луначарского, поманил его к себе:

— Надо мне вам сказать два слова, Анатолий Васильевич. Ну, давать вам всякого рода инструкции по части ваших новых обязанностей я сейчас не имею времени, да и не могу сказать, чтобы у меня была какая-нибудь совершенно продуманная система мыслей относительно первых шагов революции в просвещенском деле. Ясно, что очень многое придется совсем перевернуть, перекроить, пустить по новым путям...

Ленина ждали, он торопился. Он поделился с Луначарским лишь наименее необходимейшими соображениями, очертил самые безотлагательные задачи. На прощание он сказал:

— Я надеюсь, что в скором времени найду момент, чтобы с вами еще об этом поговорить и чтобы вас спросить о том, какие перед вами определяются планы работы и каких вы можете привлечь людей. Сейчас вы сами знаете, какое время: даже для самого важного дела можно найти, да и то с трудом, какой-нибудь десяток минут. Желаю вам успеха. Первая победа одержана, но если мы не одержим еще вслед за этим цело-

го ряда побед, то худо будет. Борьба, конечно, не окончилась, а только еще находится в самом, самом начале.

«Я уверен, что когда-нибудь Смольный будет считаться храмом нашего духа, и с благоговением войдут в него толпы наших потомков, для которых каждая кроха воспоминаний о днях, годовщину которых мы празднуем, будет казаться драгоценностью», — писал А. В. Луначарский 7 ноября 1918 года. Луначарский-мемуарист посвятит первым октябрьским дням немало страниц. Он расскажет и о беседе с Лениным в смольнинском коридоре, отпечатавшейся в его памяти, воссоздаст «взрывчатую атмосферу» Смольного — штаба Октября, вспомнит смольнинские комнаты, «где роились и строились новые мысли и новая воля только что родившегося пролетарского государства».

Комната, в которой Луначарский нашел свободный стол, полна народу, — входят, выходят, разговаривают. Впрочем, работать на людях, в шуме и гаме, он привык. В редакциях; плохо, что стол стоит далеко от окна, лампочка под потолком светит тускло, а настольной лампы ему раздобыть не удалось. Протерев стекла пенсне, он склонился над раскрытой тетрадью в черной клеенчатой обложке: заметки ближайших дел, структура комиссариата, имена товарищей, на которых он может рассчитывать.

До поры до времени текущие дела придется вести через чиновничий аппарат старого министерства. Сегодня пятница — 27 октября. На будущей неделе он поедет в министерское здание на Чернышевой площади, в богомерзкое присутственное место, которое Ильич хлестко называл «министерством народного затемнения». До чего неохота обосновываться в этом мертвом и холодном доме, среди департаментов и канцелярий, занимавшихся испокон веков порчей народного образования! Невежества губительный позор, — три четверти России не умеют ни читать, ни писать...

«Борьба только в самом, самом начале...»

Сделать все возможное, чтобы как можно скорее обогатить и осветить духовную жизнь страны. Коренная реформа школьного дела. Право населения получать образование на родном языке. Отделение школы от церкви. Бесплатное и обязательное обучение... Школы, библиотеки. Ильич сказал, что Надежда Констан-

тиновна поможет, она много думала над этими вопросами. Университеты и институты, демократизация высшего образования. Всесторонне образованные люди, воспитанные этически и эстетически. Театр, музыка, художественные выставки, музеи... Социалистическая Россия станет во главе образованного человечества.

...Луначарский рассеянно поднял глаза на солдата, подошедшего к столу. Портфель под мышкой никак не гармонировал с солдатской шинелью. Знакомое лицо; так оно и есть — один из двух комиссаров ВРК, которым он давеча посоветовал обсудить с Александром Николаевичем Бенуа меры по охране дворцов и музеев.

Оба комиссара впервые встретились с Луначарским день назад, под утро 26 октября. Не имея тогда сколько-нибудь ясной программы действий, они обратились за советом к Анатолию Васильевичу — еще не к наркому, а просто товарищу Луначарскому, авторитетному деятелю партии, близко знающему художественный мир, более близко, чем кто-либо другой в Смольном. Сегодня комиссар ВРК Ятманов снова явился в Смольный и опять разыскал Луначарского, теперь уже члена правительства, народного комиссара по просвещению, в чье ведение перешли музеи и многочисленные царские дворцы, которым предстоит стать тоже музеями.

У Ятманова неотложные вопросы, касающиеся Эрмитажа и Зимнего дворца. По Эрмитажу, собственно говоря, ничего экстренного — охрана обеспечена, учены установили между собой дежурства, служители все на местах. А о Зимнем рассказ долгий...

Рассказ долгий и неприятный. Рассудком Луначарский вполне понимал, что при штурме Зимнего могли произойти любые эксцессы, — если бы не питерские рабочие, если бы не пролетарская Красная гвардия, ущерб, нанесенный дворцу, был бы, конечно, ощутимее в тысячу раз. И тем не менее факт остается фактом — во время ночной суматохи немало вещей повреждено и расхищено. Что же намерены предпринять комиссары ВРК?

Ятманов признался Луначарскому, что голова у него идет кругом. Пока сделали так, как надоумил Бенуа: созвали комиссию, ту самую, которая с лета занимается описью дворцового имущества. Она соберется сегодня, в два пополудни; люди там компетентные, осмотрят все помещения, сверят все по описям; работа не на день, не на два, но иначе не установить, что на

месте и чего нет. Всех, кто входит в комиссию, Бенуа знает лично. Обещал к двум приехать во дворец.

Созыв Художественно-исторической комиссии Луначарский одобрил: разумно! Но действовать, на его взгляд, надо и с другого конца. Художественные и исторические памятники Зимнего — общенародное достояние. Комиссары должны завтра же составить летучки для расклейки по городу, обратиться к солдатам, матросам, всему населению Петрограда с призывом помочь в розыске пропавших из дворца предметов; было бы очень полезно опубликовать пошире, что лица, которые добровольно возвратят такие предметы, могут не опасаться ответственности; и пусть заодно комиссары предупредят антиквариетов и всевозможных скупщиков, что за укрывательство похищенных вещей их ждет неотвратимое наказание по всей строгости закона.

В тетради, лежащей перед ним, на страничке, уже испещренной пометками, Луначарский крупно написал: «Декрет о Зимнем». Трижды подчеркнул. Зимний дворец он объявит музеем не позже чем в понедельник, государственным музеем, приравненным к Эрмитажу. Для памяти он записал и фамилию Ратиева: этот князь, помогавший красногвардейцам сберечь национальные сокровища, безусловно заслуживает публичной благодарности¹.

По поводу Зимнего обговорено, кажется, все. О загородных дворцах он поговорит с Ятмановым при следующей встрече. Он ожидает, что комиссары Военно-революционного комитета будут и впредь информировать Комиссариат просвещения о принимаемых ими мерах по охране музейных коллекций; может быть, когда у них выдастся время, они представят и письменные донесения, — не для проформы, не для того, чтобы положить в папку, нет, нет! — донесения комиссаров ВРК пригодятся историкам нашей революции.

— Ни пуха, ни пера, дорогой товарищ Ятманов!

¹ В одном из своих первых распоряжений по Зимнему дворцу (от 4 ноября) А. В. Луначарский выразил «искреннюю благодарность помощнику начальника дворцового управления князю И. Д. Ратневу за самоотверженную защиту и охранение народных сокровищ Зимнего дворца в ночь с 25 на 26 октября 1917 г.». Другой пункт этого же распоряжения гласил: «Выражаю благодарность тем из дворцовых служителей, кои в ночь с 25 на 26 октября 1917 г. были и оставались на своих постах, охраняя общенародное достояние дворца». Благодарность И. Д. Ратневу и дворцовым служителям была повторена в приказе по бывшему министерству двора, опубликованном в печати 7 ноября за подписями наркома просвещения А. В. Луначарского и членов ВРК И. С. Ушляхта и М. Я. Лациса.

— Ни пуха, ни пера, товарищ Ятманов!

...В Государственном архиве Октябрьской революции и социалистического строительства сохранилась автобиография Григория Степановича Ятманова, написанная им два года спустя, в 1919 году, когда он уже занимал в Наркомпросе высокий пост правительственного комиссара, заведующего Музейным отделом, председателя Всероссийской коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины. Как все автобиографии, она начинается с года и места рождения: 1878 год, Саратов.

«...Отец мой служил городским садовником. Для того чтобы существовать, приходилось работать как отцу, так и матери. Детство свое я провел в родном городе Саратове, очевидно, как и все дети бедноты, предоставленный самому себе. С четырнадцати лет я уже должен был заботиться о заработке, так как к этому времени умер мой отец. Мое первое знакомство с партийной литературой относится к тому времени, когда мне было 17—18 лет. Первое, что я прочел, было „Что делать?“ Чернышевского...»

Подростком, окончив пять классов городского училища, он не сумел продолжить образование — не на что было жить. Поиски заработков, полуголодная маета. Ему было уже под тридцать, когда он неожиданно увлекся живописью, настолько увлекся, что его, великовозрастного, приняли в Боголюбовское художественное училище, там же, в Саратове. Прервал учение — не было денег. Потом учился в Петербурге, в школе при Обществе поощрения художеств, тоже не кончил, снова заела нужда. Пришлось работать в качестве мастера-живописца на росписях у подрядчиков.

«...В 1916 году я был призван, как ратник ополчения 2-го разряда, на военную службу. В Февральскую революцию я был от воинской части избран в Петроградский Совет Р. и С. депутатов. В Смольном я работал в военно-агитационном отделе, выступал в полках. Был комиссаром 3-го стрелкового полка и участвовал на Петроградском фронте против Корнилова... В первый же день Октябрьской революции я был назначен Военно-революционным комитетом комиссаром по защите музеев и дворцов. Первой моей работой по охране памятников искусства и старины был Зимний дворец...»

Экая все-таки наглость! Никому не ведомый корнет позволяет себе телефонировать на дом человеку высшего общественного ранга, еще недавно гофмейстеру императорского двора, поднимает его чуть свет с постели и, назвавшись военным комендантом Зимнего дворца, требует, чтобы он, «гражданин Верещагин», прибыл к двум часам в Зимний для осмотра дворцового имущества в присутствии какого-то комиссара Ятманова. Беспрецедентно!

— Быть не смогу, — отрезал Верещагин. — Объяснения самозванцам давать не намерен. С господином Ятмановым в знакомстве не состою и подобной чести не добиваюсь.

Потом, ближе к полудню, приехал Бенуа. Его неожиданный визит показался Верещагину не меньшей бестактностью, чем утренний звонок самозванца-корнета: надо воистину пренебречь элементарными приличиями, чтобы как ни в чем не бывало явиться в дом, где пробольшевистские писания Александра Бенуа заведомо не забыты.

— Чем обязан? — холодно произнес Верещагин. — С весны, кажется, не виделись...

Бенуа сказал, что ему стало известно, будто всеми уважаемый Василий Андреевич отказался от приглашения комиссаров из Смольного посетить сегодня Зимний дворец; он не знает, верить или не верить: ведь речь идет не об отношении к политическому перевороту, а о внепартийной задаче — охране памятников былого, и вправе ли Василий Андреевич, с его знаниями и опытом, устраниваться от этого святого дела?

Сохранению памятников исторического прошлого Василий Андреевич Верещагин уделял много времени и внимания с давних пор. Утвердившееся за ним репутации тонкого ценителя элегантно-старинной мебели он поддерживал и как автор изящных эссе художественно-ретроспективного характера, которые он издавал небольшими тиражами для узкого круга любителей. О гофмейстерском звании Верещагина петербургские деятели искусства вспоминали при редчайших обстоятельствах, да и сам Василий Андреевич всегда отмахивался от величаний по придворному чину, приговаривая, что он прежде всего «аполлонов слуга». Верещагин досконально знал каждую деталь пышного декора Зимнего дворца, и вполне естественно, что после падения самодер-

жавия новые власти возложили на этого сановного ревнителя «чистых муз» щепетильные обязанности председателя Комиссии по описи и приемке дворцового имущества. Начал Верещагин с того, что, заручившись согласием министра-председателя, распорядился выделить и занести в особые списки решительно все, что «на правах частной собственности следует считать принадлежащим б. государю и членам б. царской семьи». Впоследствии, когда комиссия расширила свои функции, она была переименована в Художественно-историческую комиссию при Зимнем дворце, и Верещагин продолжал оставаться ее деятельным руководителем. Как к председателю комиссии по Зимнему дворцу и заехал сегодня к Верещагину Александр Николаевич Бенуа.

— Святое дело, Василий Андреевич, а вы хотите устранишься, умыть руки. Не поверю.

Верещагин слушал Бенуа с нарастающим раздражением: рацен! Затем, не выдержав, дал волю собственному красноречию: с большевистскими комиссарами, да простит уж его Александр Николаевич, якшаться он не будет, увольте! Ему с лихвой хватит унижения, перенесенного вчера; не о себе он думал, а о «святом деле», когда вчера поспешил на Дворцовую площадь, пробился сквозь толпу к Салтыковскому подъезду, и что же? — мужланы-часовые не пустили его во дворец, отогнали и еще бросили вдогонку: «Катись, папаша, буржуям во дворец делать теперь нечего!» Нет уж, спасибо! О своих обязанностях по дворцу он помнит, он вернется к ним без задержки, как только господ комиссаров упекут за решетку в Кресты!

С чем пришел Бенуа, с тем и ушел. Но после его ухода, чуть погода, Верещагин телефонирует нескольким членам Художественно-исторической комиссии, которые, как он знал, тоже были вызваны во дворец. Надо идти в Зимний, говорил он каждому, но не на поклон к комиссарам, а чтобы по свежему следу детально запротоколировать последствия вопиющей акции; за Зимний мы в ответе перед потомками, и потомки нам не простят, если мы не подготовим обвинительный материал для суда истории; он просит по прибытии во дворец позвонить ему домой: возможно, что и он приедет,— все зависит от того, как сложится там ситуация.

Двое деятелей Художественно-исторической комиссии, прибывшие к назначенному часу в Зимний дворец, были многоопытными сотрудниками Верещагина. Памятуя вчерашний инцидент с их председателем Василием Андреевичем, они с некоторой опаской подошли к Салтыковскому подъезду, но часовой, заранее предупрежденный, сам открыл перед ними дверь. В вестибюле они встретили Александра Бенуа, рядом стоял немолодой солдат в заношенной шинели с туго набитым портфелем под мышкой, — Бенуа шепнул, что это и есть комиссар Ятманов.

Здороваться за руку с комиссаром они не стали, ограничились снисходительным вопросом, известно ли господину Ятманову, что собой представляет Зимний дворец — в разных аспектах, как уникальный архитектурный памятник, как средоточие замечательных произведений искусства, и Ятманов ответил, что к искусству он причастен, его профессия — художник, живописец. Был озадачен даже Бенуа: художник? — работ господина Ятманова на петербургских выставках он что-то не припоминает. — До выставок не дорос, — улыбнулся Ятманов, — я все больше по подрядчикам, храмы расписывал, по примеру Феофана Грека, зарабатывал на хлеб и квас. — Почтенные члены Художественно-исторической комиссии переглянулись: вон оно что — богомаз!

Подоспел второй комиссар и с ним корнет — военный комендант.

— Время — два часа, — объявил Ятманов. — Ждать больше не будем. Досадно, что не приехал гражданин Верещагин.

— У господина Верещагина легкая инфлюэнца, — сказал Бенуа, покривив против правды, и прикусил язык: совершенно неожиданно в вестибюль Салтыковского подъезда, сопровождаемый дворцовым библиотекарем, вошел сам Василий Андреевич, холеный, надутый, — бобровая шапка, бобровый воротник.

В «Журнале Художественно-исторической комиссии» записано:

«27 октября, в 11 часов утра, члены Художественной комиссии Б. А. Надеждин и Н. Г. Пиотровский были вызваны по телефону военным комендантом дворца корнетом Покровским для участия в осмотре учиненного разгрома, в присутствии Комиссара Со-

вета Рабочих и Солдатских Депутатов Г. С. Ятманова. Прибыв во дворец, Б. А. Надеждин и Н. Г. Пиотровский уведомили, в свою очередь, Председателя Комиссии В. А. Верещагина и библиотекаря В. В. Гельмерсена и приступили, при участии Коменданта Покровского, Комиссаров Г. С. Ятманова и Б. Д. Мандельбаума, а также особо приглашенного А. Н. Бенуа, к совместному осмотру следующих помещений дворца...»¹.

Дворцовых помещений свыше тысячи, но осматривать решили только те, которые были ареной событий в часы ночного штурма. В этих залах и комнатах оба комиссара ВРК побывали еще вчера, впервые в своей жизни очутившись в Зимнем дворце. Они пришли тогда во дворец прямо из Эрмитажа, удостоверясь, что музей не пострадал, и после безупречного порядка и безмятежного покоя эрмитажных галерей их ошеломила разительным контрастом анфилада дворцовых залов с опрокинутой повсюду мебелью и горами сваленных вещей на грязных, затоптанных паркетах. Полковник, отрекомендовавшийся князем Ратиевым, показал им бывшие царские покои, где с лета расположились учреждения Временного правительства, Малую столовую, где были арестованы министры, Малахитовую гостиную, где обычно заседало правительство Керенского; отсюда обоих комиссаров провели длинным темным коридором в ту часть дворца, которая именовалась «Первой запасной половиной» и до взятия Зимнего служила казармой юнкерам. Сегодня комиссары опять проходят по тем же залам вместе с членами Художественно-исторической комиссии: Верещагин — во главе процессии, Ятманов — где-то позади.

И Верещагину, и ближайшим его сотрудникам Зимний дворец знаком исстари, они помнят Белый зал и Золотую гостиную во всем былом великолепии — еще не вонючим юнкерским постоем, а блистательными парадными апартаментами, где резала глаз даже случайная соринка на гладком зеркале паркета. Стоя сейчас в дверях Белого зала, Верещагин с отчаянием взирал

¹ Протоколу осмотра предшествует следующая запись:

«26 октября 1917 г., в 11 часов утра, Председатель Художественной комиссии при Зимнем дворце В. А. Верещагин и член комиссии Н. Г. Пиотровский сделали попытку проникнуть в Зимний дворец, но не могли осуществить своего намерения, встретив препятствие со стороны воинских караулов, охранявших Дворец».

на открывшуюся ему картину: господи, как при Мамае!
В протокол было занесено:

«В высшей степени характерны следы беспощадной борьбы во всех парадных комнатах 1-й Западной половины, в которых помещались караулы, охранявшие Временное правительство. Окна изрешечены пулями, на полах разбросаны десятки тюфяков, на которых спал караул, часть их разорвана, солома рассеяна, мебель беспорядочно свалена в кучи, служившие, по-видимому, баррикадами».

Со скорбным выражением на лицах, удрученные видом дворцовых интерьеров, шествовали деятели верещагинской комиссии из зала в зал, из комнаты в комнату. Держались они обособленно: как условились между собой — никакого контакта с комиссарами.

«Осмотр, — помечено в протоколе, — носил беглый характер». Верещагин диктовал, библиотекарь Гельмерсен на ходу записывал — вчерне, для памяти:

«В приемной Императора Александра II, занятой под личную канцелярию А. Ф. Керенского, выдвинуты ящики из письменных столов, разбиты канцелярские шкафы, разбросаны канцелярские бумаги... В занятых Временным правительством Собственных покоях Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны взломаны столы и шкафы, полы покрыты разорванными и смятыми делами Временного правительства; в приемной изодрана картина, изображающая коронацию Александра III, исколоты штыками портреты родителей Императрицы... В флигель-адъютантской комнате, в кабинете Императора Николая I все опрокинуто, кощунственно осквернено и в общей свалке валяется на полу... В помещениях Фрейлинского коридора разбросаны по полу придворные и бальные платья... Кабинет Императора Александра III, превращенный министром-председателем Керенским в спальню, усеян бумагами важного государственного значения; во множестве валяются книги, обломки мебели, осколки стекла, фотографические снимки Керенского за приемным столом Императора...»

Верещагин носком ботинка откинул в сторону фотографию министра-председателя — фразер, пустомеля! Упивался рукоплесканиями экзальтированных курсисток, а Россия катилась к большевистскому перевороту. Сомнений нет, самонадеянная авантюра большевиков кончится пшиком, но история не вправе забыть, что их скоротечное царствование началось с надругательства над бывшим державным величием России — с осквернения императорского дворца, отданного толпе на поток¹, на разграбление. Независимо от того, кому Художественно-историческая комиссия представит свой протокол — военно-полевому суду генерала Краснова или грядущему суду потомков, она будет исходить из постулата, что безумие толпы не возникает самопроизвольно, что распоясавшийся плебс разорял Зимний дворец по наущению большевистских агитаторов, под воздействием политической демагогии.

Все примечает Василий Андреевич, у него действительно острый глаз. Он заметил и пачку брошюр, лежащую под сорванной гардиной на одном из подоконников. — Ага, вещественное доказательство! — Он пересчитал брошюры, и Гельмерсен занес в протокол:

«Особого внимания заслуживает обнаружение Комиссией 17 социалистических брошюрочек сочинения Либкнехта „Пауки и мухи“, книгоиздательство „Друг“, издание 2-е».

За два дня было осмотрено более ста помещений, а для протокола, чтобы его соответственно оформить, Верещагину мало и двух недель! Ятманов напоминал, торопил, выходил из себя, доказывал, что документ нужен до зарезу — и полковым комитетам, и гражданской милиции, и прокурорскому надзору, что без подробного перечня пропавших вещей трудно производить розыск, но тем не менее Художественно-историческая комиссия свой отредактированный и перебеленный «журнал» направила комиссару ВРК только в середине ноября. Засев за представленный ему протокол, Ятманов еще отчетливее почувствовал, с какой неприязнью относятся к пролетарской революции эти степенные знатоки искусства и старины. Листая страницу за страницей, он не переставал поражаться: бывшее горе людское им нипочем, и клочок ветхого сукна от мундира Николая Палкина им дороже всей крови народной.

¹ Расхищение (уст.) — Ред.

Не то чтобы протокол что-либо искажал, приводимые факты достоверны, включая и этот: «На спинке одного из стульев повешен кусок разорванного мундира Императора Николая I, хранившегося в особой витрине». Верно, императорский мундир был основательно изодран: Ятманов увидел его уже не на спинке стула, а в руках членов Художественно-исторической комиссии — они удрученно глядели на болтавшийся эпolet, сокрушаясь о гибели бесценной исторической реликвии. Ятманову стало тошно от их причитаний, и он не очень вежливо заметил, что порванные царские ма-патки кажутся ему наименьшей из бед; не в пример большому несчастью он бы почел, если бы погибли невзначай полотна великих мастеров в только что осмотренной уборной Александра II — картины Греза, Мурильо, Франческо Франча!.. Ну и злыдень же этот Верещагин — повернулся спиной, вроде бы не расслышал, стал снова диктовать протоколисту: «Головной убор императора Николая I, по-видимому, похищен...»

В протоколе ничего не упущено, ничего не обойдено молчанием, все словно бы верно: наибольшее ожесточение было проявлено в тех дворцовых покоях, которые Керенский занял под свой кабинет и личную канцелярию; *ожесточение — точное слово*; ожесточение, как и говорится в протоколе, «проявилось с особенной наглядностью в беспощадном истреблении всех изображений Царской семьи: картин, портретов, фотографий». Ятманову вспомнились сброшенные со стен и вспоротые штыками портреты Романовых; среди попорченных полотен были и такие, что выдавали руку больших мастеров, но что знали о живописи, о мастерах, о школах участники штурма, ожесточенные горькою жизнью люди? Верно, погиб портрет работы Серова, но что знал о Серове бездольный солдат, штурмовавший Зимний? — со стены царского дворца на него глядел ненавистный лик Николая Кровавого, царя-кровопийцы, царя-вурдалака. «Оказался разорванным в клочья портрет б. Государя работы Серова, — значит, в протоколе, — такая же участь постигла все фотографии Александра III и т. д.». Сотни фотографий были разбросаны на паркетах: «Государь на охоте в Беловежской пуше», «Государыня-Императрица на террасе Ливадийского дворца», «Государь и Наследник-Цесаревич на яхте „Штандарт“»... Прорва фотографических карточек, недостойных упоминания рядом с серовским портретом, а для членов верещагинской комиссии плевые фотографии

эти — невознаградимая потеря, заноза в сердце! Кудачили над каждой, как квочки в курятнике.

Пусть квохчут, ляд с ними, лишь бы дело делали. А дело — вот оно: «Список похищенных предметов, отличительные признаки которых могут облегчить случайную возможность их нахождения». Откровенно говоря, заполучить такую путную бумагу и вообще какую-либо помощь от этих злыдней Ятманов никак не ожидал — особенно по обстоятельствам своего первого знакомства с гражданином Верещагиным, когда в пятницу 27 октября, держась поближе к Александру Николаевичу Бенуа, он обходил вместе с членами Художественно-исторической комиссии покой Зимнего дворца.

8

В пятницу 27 октября, как и накануне, Толстой задерживаться в Эрмитаже не стал. Он прошелся по Картинной галерее — пустые стены, неприятно; заглянул к себе в Ламотов павильон — хаос в разоренной квартире; посидел часок в канцелярии — выпил стакан крепкого чаю, поговорил с дежурившими хранителями, призывая их к бодрости, снесся кое с кем по телефону, написал письмо в Киев. Он уже собрался уходить, когда позвонил князь Гагарин и сообщил самые свежие новости. Распечатав конверт, Толстой сделал короткую приписку к своему письму Елене Михайловне: «Сейчас услышал от Гагарина, что Краснов взял Гатчину. Считаю дни и часы». Письмо он опустит по пути, возвращаясь к племянникам, у которых теперь обосновался.

Громяхая связкой ключей, швейцар отомкнул дверь на Миллионную, и Толстого обдало едким запахом дыма. Хамье! Разложили костер возле самого портика, и попробуй-ка внуши хамью, что здесь не место разводить огонь, — ответят, как давеча, дерзостью: «Вас, благородных, шубка греет, а у нас одежда на рыбьем меху». Когда засвистят казачьи нагайки, голоштанной гвардии станет жарко и без костров! Толстой непроизвольно перевел взгляд на противоположную сторону улицы, на здание Морского архива: если протянуть взгляд по прямой, перенести его дальше на юг — за дома, за проспекты, за Обводный канал, то оттуда, с юга, от Гатчины, спешат на выручку столице чубатые казаки, ржут кони, катятся пушки; он даже прислушался, не доносится ли издалека пальба казачьей артиллерии.

Пушек еще не слышно, даст бог — загремят ночью. Спустившись с площадки эрмитажного подъезда, Толстой обошел стороной полыхающий костер и зашагал к Марсову полю. Он поспеет на Песочную до наступления темноты.

Красногвардейцев, сгрудившихся у костра перед зданием музея, багровые отблески на мокром граните эрмитажных атлантов видели из автомобиля, промчавшегося по Миллионной около двух часов ночи. Миновав Эрмитаж, автомобиль замедлил ход, свернул налево и на Дворцовой площади остановился у подъезда штаба Петроградского военного округа. Быстрой походкой, очень торопясь, Ленин вошел в подъезд.

«Из этого дома,— гласит ныне текст мемориальной доски,— Владимир Ильич Ленин руководил с 27 по 31 октября (с 9 по 13 ноября) 1917 г. разгромом контрреволюционных казачьих войск Керенского — Краснова, наступавших на Петроград. Отсюда же в ночь с 27 на 28 октября (с 9 на 10 ноября) Ленин вел переговоры по прямому проводу с Гельсингфорсом о необходимости срочной присылки в Петроград кораблей Балтийского флота и отрядов революционных войск финляндского гарнизона».

Социалистическая революция в опасности! Ленин возглавил оборону революционной столицы, и уже утром 28 октября к Красному Селу и в сторону Пулковы походным порядком шли маршевые колонны матросов и красногвардейцев — защищать Питер! Тысячи и тысячи питерских пролетариев, мужчины и женщины, подростки и старики, рыли окопы, воздвигали баррикады, ставили проволочные заграждения. Революция в опасности, все на защиту Красного Петрограда!

В Смольном, в комнате № 17, днем и ночью заседал Военно-революционный комитет — день напролет, ночь напролет.

«Повестки дня не было, ее диктовала непрерывно врывающаяся жизнь. Предложения тут же переплавлялись в решения, решения — в приказы. Написанные ученической ручкой чернилами из школьной чернильницы-непроливайки или же отстуканные на старенькой машинке, эти приказы порой уже несколько минут спустя звучали на улицах...

Здесь не было ораторов и докладчиков. Рабочего, просившего для своего отряда „хоть одну пушчонку“,

сменял солдат, прибывший из-под Красного Села для информации о продвижении противника. И тут же всплывал вопрос о походных кухнях, о фураже, санитарных машинах, охране Эрмитажа и огнестрельных припасах...»¹.

Войска Керенского — Краснова готовились с часу на час совершить молниеносный бросок на Петроград, и, как свидетельствует мемуарист, среди важнейших вопросов, которыми в те памятные дни занимался Военно-революционный комитет, был и этот:

«Охрана Эрмитажа».

...Сторожевые посты революции стоят у стен художественного музея; все тот же красногвардейский костер, не затухая, горит у эрмитажного подъезда, и его веселое пламя каждый раз видит Ленин, когда приезжает из Смольного в штаб Петроградского военного округа и на обратном пути — с Дворцовой площади в Смольный.

■
«Казачи... Краснов... Казачи...» Каждой версте, пройденной казачьими частями Краснова, велся лихорадочный счет в штаб-квартирах контрреволюционных партий, в редакциях противобольшевистских газет, во дворцах родовитой знати, в особняках промышленных тузов, в казармах юнкерских училищ и в тиши посольских кабинетов: Краснов в двух верстах от Царского Села, Царское Село занято Красновым, казаками Краснова взята железнодорожная станция Александровская — двадцать две версты от Петербурга...

Ни в Эрмитаже, ни у племянников Толстой не отходит от телефона: он звонит, ему звонят. Сейчас, в конце октября, он ожидает казачьи части Краснова с тем же жгучим нетерпением, с каким два месяца назад, в конце августа, ожидал корниловские дивизии. В пятницу, после телефонного звонка Гагарина, он возлагал самые радужные надежды на субботу и в надеждах своих как будто не обманулся: казаки уже в Царском Селе, что-то затевается и в Петербурге. Воскре-

¹ Строки этих воспоминаний принадлежат человеку завидной судьбы — Елизавете Яковлевне Драбкиной, члену Коммунистической партии с 1917 года, еще 16-летней девушкой неоднократно присутствовавшей на заседаниях Петроградского ВРК («впрочем, можно ли словом „заседание“ назвать то, что там происходило?»).

сенье несколько омрачило его настроение — большевикам удалось подавить вооруженное восстание юнкеров, а казаки почему-то медлят. Наступил понедельник, и Толстой снова сиял: казаки идут на Петербург сразу с трех направлений.

Не один Толстой — все в Эрмитаже сегодня стратеги. Раскрыв 56-й том энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, Эдуард Эдуардович Ленц, внезапно оправившийся от болезни, и барон Коскуль, каждый со своей лупой, сосредоточенно разглядывают карту Санкт-Петербургской губернии, водят пальцем по всей ближней округе: Новые Сузи — Красное Село, Славянка — Колпино, деревня Редкое Кузьмино... Все сегодня в Эрмитаже стратеги и все политики: может ли существовать государство без механизма управления, а слаженная государственная машина отказалась служить большевикам; их бойкотируют чиновники шестнадцати министерств, банковские служащие бастуют, во всех присутственных местах работа замерла, — приход Краснова только ускорит и без того неминуемую гибель большевистской власти.

9

Стол в смольнинской комнате, за которым работает Анатолий Васильевич Луначарский, по-прежнему — весь его комиссариат, все его «красное министерство». Чернильница-непроливайка с торчащей из нее школьной вставочкой, толстая тетрадь в клеенчатой обложке, испещренная записями и пометками NB; груды просмотренных и еще не просмотренных газет; черновики написанного вчера программного обращения Наркомпроса к гражданам России. Обращение уже набрано, — Луначарский пробежал глазами присланные из типографии гранки.

«...Восстанием 25 октября трудящиеся массы впервые достигли подлинной власти... Всякая истинно демократическая власть в области просвещения в стране, где царит безграмотность и невежество, должна поставить своей первой целью борьбу против этого мрака... Мы верим, что дружные усилия трудового народа и честной просвещенной интеллигенции выведут страну из мучительного кризиса...»

Исправив опечатки, Луначарский положил гранки поверх вороха газет и придвинул к себе чистый лист бумаги. Сейчас он займется Зимним дворцом.

Шесть пунктов уместились на одной страничке. Он проставил дату — 30 октября 1917 года, подписался — «Именем Правительства Республики комиссар по просвещению А. В. Луначарский», снес бумагу в комнаты ВРК.

После взятия Зимнего — в течение нескольких недель — охрану художественных сокровищ, ставших достоянием народа, осуществляли комиссары ВРК по защите дворцов и музеев, и поэтому в октябре и ноябре все письменные распоряжения об имуществе бывшего дворцового ведомства, которые отдавал нарком по просвещению, оформлялись как документы Военно-революционного комитета. Распоряжение А. В. Луначарского, датированное 30 октября, было перепечатано в ВРК и внесено в регистрационный журнал рядом с предписаниями об огнестрельных припасах и провианте для революционных отрядов, сражающихся с казачьими частями, — в этот день у Пулкова шли решающие бои с войсками Краснова. Документ, в тот тревожный понедельник зарегистрированный в журнале исходящих бумаг ВРК под номером 1937/а, гласил:

«Я, народный комиссар по просвещению, временно получивший в свое заведование бывшее дворцовое ведомство, именем Правительства Российской Республики предписываю:

1) Выделить в Зимнем дворце те помещения, которые не имеют серьезного художественного значения, для общественных нужд, о каковых последует в свое время соответствующее распоряжение, в остальной части объявить Зимний дворец государственным музеем наравне с Эрмитажем.

2) Дворцовому управлению исполнять по-прежнему свои обязанности.

3) Предоставив корнету Покровскому военную комендатуру, поручить общее заведование Зимним дворцом полковнику Ратиеву, распоряжения которого должны быть контрассигнованы правительственным комиссаром при Зимнем дворце по охране его художественных сокровищ...

4) Предложить Художественно-исторической комиссии, под председательством В. А. Верещагина, продолжать работы по

приемке и описи имущества бывшего дворцового ведомства.

5) Обратиться в полковые комитеты с просьбой к ним: помочь в деле розыска и возвращения предметов, пропавших из дворца во время ночной суматохи по взятии его.

6) Разъяснить через публикацию, что лица, которые добровольно возвратят такие предметы народу, единственному их владельцу и хозяину, не должны опасаться никакой ответственности за наличность в их руках этих похищенных предметов...»

Казалось бы, распоряжение А. В. Луначарского относилось только к Зимнему дворцу, имело узко локальный характер. Однако последующие годы и десятилетия покажут, что краткий этот документ, в котором Луначарский провозгласил новый статут бывшей резиденции российских императоров — *«государственный музей наравне с Эрмитажем»*, — фактически предопределял уже 30 октября 1917 года всю дальнейшую судьбу бывшего Императорского Эрмитажа.

История советского Эрмитажа еще вся впереди, позади — его полуторазековое прошлое. Прервем ненадолго поступательный ход повествования, чтобы заглянуть в глубь минувших времен, и из смольнинских комнат, «где роились и строились новые мысли и новая воля только что родившегося пролетарского государства», перенесемся в пышный дворец, всего лишь год назад возведенный Растрелли на берегу державной Невы — «для постоянного проживания в оном Императорской Фамилии».

Императрица Елизавета, «дщерь Петрова», умерла за три месяца до окончания строительства нового дворца; не насладился дворцом и Петр III — едва въехав в отделанные для него покои, он был свергнут с престола, удален в Ропшу, где через неделю его «постигла смерть»; став полновластной хозяйкой России, второй год хлопотливо обживает Зимний дворец Екатерина II, — архитекторы и живописцы, лепщики и позолотчики не покидают бесчисленные дворцовые залы. С особым рвением печется императрица о достойном убранстве нескольких комнат, назначенных ею для отдохновения от государственных забот, для «приятных развлечений и веселых

забав» в самом интимном, самом узком кружке приближенных. Эти уединенные покои, следуя версальской моде, она называет «Эрмитаж» (Ermitage), что в переводе значит: пустынное убежище, приют отшельника, обитель анахорета. «Эрмитаж Ея Императорского Величества имеет название сие от определения своего для уединенных увеселений и упражнений Екатерины Второя».

Все подвластно прихотям императрицы. Картины, мраморы, бронза, резные камни, которыми она украшает свою «пустыньку», вскоре не вмещаются в первоначально отведенные покои, и архитектор Деламот получает повеление Екатерины пристроить к Зимнему дворцу «отменный Павильон» для любезного ее сердцу Эрмитажа. Но и здесь становится тесно быстро растущим эрмитажным коллекциям, и на Дворцовой набережной — «в линию» с Зимним дворцом и Ламотовым павильоном — архитектор Фельтен возводит еще одно дворцовое здание, наименованное Большим Эрмитажем и продлевающее анфилады залов и галерей «пустынного убежища» императрицы вплоть до самой Зимней канавки¹.

«Вы удивляетесь, что я много картин закупаю,— пишет Екатерина „фернейскому отшельнику“ Вольтеру,— конечно, лучше бы я сделала, когда бы их меньше покупала, но не всегда можно вернуть упущенный случай». Агенты Екатерины не пропускают ни одного парижского и лондонского аукциона, ни одной сколько-нибудь внушительной распродажи художественных коллекций, хотя кошель императрицы не так уж полон. «Все, что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже собрать не можем»,— вслед за фонвизинской Простакковой могла бы повторить первая помещица России. Но, скупая у оскудевающей европейской знати идущие с молотка знаменитые произведения кисти и резца, подчас целые картинные галереи и собрания уникалов, Екатерина не только потакает своим прихотям, руководствуется не только тщеславием: каждой сенсационной покупкой она внушает ошеломленной Европе — королям, банкирам, философам,— что нищая крепостная Россия процветает и благоденствует под скипетром могущественного и просвещенного монарха.

¹ Через несколько лет архитектор Кваренги сооружает по ту сторону Зимней канавки третье эрмитажное здание — Эрмитажный театр «для частного домашнего обихода Ее Величества», соединенный с Фельтеновым домом крытой галереей, перекинутой через Канавку.

«Северная Семирамида», «философ на троне», «звгустейшая покровительница искусств»... Щедрой рукой бросает Екатерина на столы аукционистов луидоры и гинеи, червонный блеск которых отливает на свету потом и кровью миллионов обездоленных крепостных рабов. Обозы с драгоценной кладью, снаряжаемые для «Ермитажа Ея Величества», тянутся по пыльным трактам Европы; гонимые ветром парусники бороздят не приветливое Немецкое море и, пришвартовавшись к певским причалам, выгружают из трюмов свой бесценный фрахт: Тицианов, Мурильо, Рубенсов, Ван-Дейков, Рембрандтов, Пуссенов... «Всем этим любятися мыши и я», — пишет Екатерина в Париж, бахвалясь несметными художественными богатствами, наполняющими ее «пустыньку».

Екатерина скончалась в 1796 году; пять лет спустя «постигла смерть» и Павла I — он был удушен в Михайловском замке, вдали от ненавистного ему Зимнего дворца; с начала XIX века Россией правит из своей невиской резиденции император Александр I. Он лично опекает и Эрмитаж. По его повелению обер-гофмаршал высочайшего двора напоминает Придворной конторе, «чтобы в Эрмитаже установленный и хранимый до сих пор порядок удержан был неослабно».

Уже отгремела Отечественная война с Наполеоном; передовая дворянская молодежь, побывавшая в Лувре и Версале, хочет теперь любоваться Рафаэлем и Рубенсом у себя в России, в Петербурге, в Эрмитажной Картинной галерее, покуда известной лишь понаслышке, и двери Эрмитажа порой приоткрываются, но только для избранных, для тех, чьи титулы и звания могут служить им должной порукой. Обер-гофмаршал требует от Придворной конторы, чтобы в Эрмитаж «впускаемы были люди достойные и известные, остерегаясь давать вход сей посторонним, не имеющим засвидетельствования об их достоинстве и качествах».

Под свист картечи, обогрившей кровью булыжник Сенатской площади, взошел на российский престол Николай I. Обосновываясь в Зимнем дворце и по своему вкусу переустривая дворцовые апартаменты, новый император на время вселяется в Картинную галерею Эрмитажа и здесь, в зале итальянской живописи, допрашивает закованных в кандалы декабристов. Эрмитаж — одно целое с дворцом, и на протяжении всего своего царствования Николай сам надзирает за тем, чтобы регламент, установленный для Зимнего дворца,

неукоснительно соблюдался и в его Эрмитаже: помилуй бог, разве можно, не будучи затянутым в мундир, стоять перед мадонной, принадлежащей государю, разве можно не во фраке любоваться голландским пейзажем, на котором останавливался взгляд самодержавного владыки?! Министр императорского двора выговаривает Придворной конторе: «Государь Император, проходя через Эрмитаж, изволил заметить, что некоторые зрители посещают оный в сюртуках, и, найдя сие неприличным, высочайше повелел, чтобы впредь посетители военного звания не иначе впускаемы были в Эрмитаж, как в мундирах, а гражданские чиновники и иностранцы во фраках». Эрмитажные билеты, которые с большой оглядкой выдает Придворная контора, действительны для обозрения Эрмитажа не более одного раза; получение «долговременного билета» (или, как сказали бы в наши дни, «постоянного пропуска») сопряжено с непомерными трудностями — ходатайство должно быть обращено на имя самого государя.

Некогда, еще в екатерининские времена, путешественник и ученый Иоганн-Готтлиб Георги, член многих европейских академий и научных обществ, считал себя по гроб обязанным «певцу Фелицы» поэту Державину, который исходатайствовал для него у русской императрицы высочайшее дозволение обозревать, сколько ему вздумается, эрмитажную Картинную галерею, дабы известием о ней пополнить свое «Описание Российской-Императорского столичного города Санкт-Петербурга и достопамятностей в окрестностях оного». Книга Георги была издана на немецком и французском языках, а затем, в 1794 году, вышла и в русском переводе. «Известие об Императорском Эрмитаже, — указывал автор в предисловии, — есть совершенно плод Высочайшего Ея Императорским Величеством данного позволения осматривать сей Кабинет и сообщать об оном известие в сем переводе, которое возблагодаряется доброжелательством Его Превосходительства господина тайного советника, Сенатора, Государственной Коммерц-Коллегии президента Гаврилы Романовича Державина». В 1832 году, в николаевские времена, другой выдающийся русский поэт, Василий Андреевич Жуковский, также используя свою близость к императорскому двору, деятельно хлопочет о постоянном билете в Эрмитаж для известного всей России сочинителя Пушкина. Мартовским утром 1832 года бежит слуга Жуковского из Шепелева дома на Миллионной к их благородию Алексан-

дру Сергеевичу, имеющему жительство неподалеку — на Галерной. К письму, написанному Жуковским, приложен заветный билет:

«Посылаю тебе билет Эрмитажный, он на всю вечность. Его при входе отдавать не должно».

Здание Большого Эрмитажа на Дворцовой набережной, в подъезд которого, предъявляя гоф-фурьеру свой эрмитажный билет, входил — во фраке, при шляпе и перчатках — Александр Сергеевич Пушкин, остается хранилищем музейных собраний до середины столетия, когда и Фельтенов дом (Большой Эрмитаж) и Ламотов павильон (Малый Эрмитаж) получают другое дворцовое назначение, приспособляются под другие нужды императорского двора. Для эрмитажных коллекций теперь воздвигнуто на Миллионной новое здание — все его помещения построены с учетом специальных потребностей музейной экспозиции: картинная галерея освещена верхним светом, отделанные дорогими материалами выставочные залы выдержаны в строгом, не отвлекающем внимание классическом стиле. Но и Новый Эрмитаж, которому присваивается официальное название «Императорский Музеум», продолжает быть — подобно прежним эрмитажным зданиям — неотъемлемой частью Зимнего дворца, составляет «одно целое с дворцом, обиталищем монарха».

«В последнем веке, — констатирует каталог «музеума», изданный в 1861 году, — Эрмитаж был приютом для Императорской Фамилии и вместе Музеем. В наше время он сохранил тот же характер». Правда, с вступлением на престол Александра II в жесткий дворцовый устав Эрмитажа вносятся некоторые послабления: сразу после смерти Николая I, в 1855 году, министр императорского двора уведомляет обер-гофмаршала, что, в отступление от доселе существовавших правил, «Государь Император высочайше дозволяет во время летнего отсутствия Императорской Фамилии из Зимнего дворца впускать в Эрмитаж в сюртуках». Поистине неисчислимы царские милости посетителям Эрмитажа! В начале 1857 года обер-гофмаршал извещает администрацию музея: «Г. Министр Императорского Двора от 30-го минувшего декабря уведомил, что на основании § 96 высочайше утвержденных правил управления Эрмитажем постоянные билеты для посетителей оного выдаются не иначе, как с высочайшего разрешения. Ныне

Государь Император высочайше повелеть изволил выдачу таковых билетов предоставить мне».

Поражение в Крымской войне вскрыло перед широкими народными массами гнилость устоев военно-крепостнической монархии. Наступила пора вынужденных реформ — крестьянской, судебной, земской; новые либеральные веяния не могли не сказаться и на повседневной жизни амбициозного Императорского Эрмитажа; в его залах появляется разночинная публика, «люди 60-х годов», — у иного ценителя искусств нет зачастую не то что фрака, но и порядочного сюртука.

Восторженные либералы, которые дали царствованию Александра II громкое наименование «эпохи великих реформ», уже готовы были утверждать, что новая эпоха наступила и для Эрмитажа, что теперь «отстранены все те препятствия, которые мешали до сих пор Эрмитажу быть общедоступным». Однако Императорский Эрмитаж, этот якобы «общедоступный музей», остается еще полстолетия императорским не только по своему названию. И то, что он, вопреки всему, с каждым десятилетием занимает в русской культурной жизни все более значительное место, может быть объяснено лишь упорным стремлением передовых русских людей к овладению всем богатством духовных ценностей, накопленных человечеством, стремлением упорным и неукротимым, преодолевавшим порой самые, казалось бы, неодолимые казенные препоны. «Произнесите слово „Эрмитаж“ в любом конце России, — писал Д. В. Григоревич в шестидесятых годах, — каждый уже слышал его. О нем спрашивают даже те, которые никогда не бывали в Петербурге. Принимая во внимание все сокровища, которые вмещает Эрмитаж, он, действительно, представляет единственный художественный памятник, которым отечество наше может гордиться так основательно, как Франция гордится Лувром, Англия — Британским Музеем». Слава петербургского Эрмитажа гремит уже по всей России, но еще полстолетия венценосные хозяева и их титулованная челядь — обер-гофмаршалы, обер-гофмейстеры, обер-церемониймейстеры — частоколом охранительных мер будут рьяно ограждать художественные сокровища страны от их действительных хозяев, от тех, чьим даровым трудом оплачен каждый из эрмитажных шедевров.

Деятнадцатый век сменился двадцатым. Рабочий класс России по мере роста своего общественного самосознания все настойчивее рвется к знаниям и красоте, и

люди в застиранных косоворотках под потертыми пиджаками все чаще пускаются в многоверстный путь от фабричных окраин к центру города, на Миллионную. Сняв картузы, они поднимаются к атлантам эрмитажного портика и с разочарованием обнаруживают, что двери музея на запоре. Эрмитаж, как правило, закрыт во все неприсутственные, праздничные дни, именно тогда, когда трудовой люд свободен. Заперт музей и летом — в каникулярные для его чиновников месяцы, и зимой — во время пребывания во дворце императорского двора. В дни дворцовых балов в Картинной галерее Эрмитажа сервируются пиршественные столы для царской семьи и ее гостей, и в зале Рембрандта, превращаемой в буфетную, лакеи гремят тарелками с горячей и холодной закуской.

Дворец главенствует над музеем. Во весь голос говорит об этом в 1909 году с трибуны III Государственной думы депутат-большевик костромской ткач Петр Сурков. Его большая речь посвящена порядкам в Эрмитаже. Он говорит о том, что титулованные чиновники, приставленные к Эрмитажу, с высокомерным презрением поглядывают на простую публику и всячески затрудняют ей доступ в эрмитажные галереи.

«В последние три года,— говорит П. И. Сурков,— жажда знаний возросла особенно среди рабочего населения, и вот мы считаем долгом заявить, что такое отношение к истинному хозяину музеев недопустимо. Нам не нужно музеев и галерей, если они закрыты для народа. Может быть, мне скажут, что чернь, простолюдины будут вести себя в этих музеях не должным образом. Я могу сказать на это, что не чернь, не простолюдины ведут себя в этих музеях не должным образом, а, как известно, во время пребывания двора в Зимнем дворце музей закрывается на несколько месяцев, и в это время в залах, где висят произведения великих художников, танцуют пажы, камергеры и фрейлины и устраивают там себе ужины. Я думаю, что это кощунство над великими произведениями и их авторами...»

От имени социал-демократической фракции депутат-большевик заявляет, что «насущные культурные интересы народа требуют большей доступности музеев и библиотек, отделения их от мест развлечения для знати, каковыми являются в настоящее время залы Эрмитажа».

О порядках, существующих в Эрмитаже, большевик

П. И. Сурков говорил в черную пору реакции, спустя два года после подавления первой русской революции. Через несколько лет, в годы нового революционного подъема, охватившего Россию накануне мировой войны, эрмитажные порядки становятся еще более антидемократичными. Министерство императорского двора, пытаясь пресечь «нашествие демократии в музей», принимает специфически полицейские меры, направленные главным образом против участвовавших случаев коллективного посещения Эрмитажа организованными рабочими. «Отказать», «Ответить отказом», — привычной рукой надписывает директор музея граф Д. И. Толстой на многочисленных ходатайствах рабочих организаций о допуске в Эрмитаж групповых экскурсий. «Состав служащих в Эрмитаже, — вспоминает современник, — далеко не с симпатией смотрел на вторжение демократии в эти дворцовые залы. Рабочим усиленно подчеркивали, что это не национальный музей, а лишь часть дворца, милостиво открытая для плебса». Музейной «половиной» царской резиденции, «музейным флигелем» Зимнего дворца продолжает оставаться Императорский Эрмитаж вплоть до семнадцатого года.

Полуторавековое прошлое Эрмитажа позади, впереди — его социалистическое будущее. Октябрь 1917 года — исторический рубеж. Октябрьская революция, возвращая национальные художественные богатства их законному владельцу, всем тем, кто полномочен ими владеть по священному праву труда, вручала освобожденному народу и вожде ленный «билет Эрмитажный», подлинно билет на всю вечность: отныне и навсегда полновластным хозяином эрмитажных сокровищ становится Его Величество Советский Народ.

Счастливым удел уготован советскому Эрмитажу: к его галереям и залам присоединятся все этажи Фельтена дома и Ламотова павильона — старых эрмитажных зданий; его неотъемлемой частью, его естественным продолжением станет сам Зимний дворец. И это прекрасное завтра Государственного Эрмитажа уже рисовалось в общих чертах Анатолию Васильевичу Луначарскому, когда в понедельник 30 октября, на пятый день после взятия Зимнего, он — именем Правительства Российской Республики — возводил бывшую царскую резиденцию в высокий ранг народного музея.

Провозглашение Зимнего дворца государственным музеем было первым правительственным актом молодой рабоче-крестьянской власти в области музейного строительства. Самокатчик сvez распоряжение наркома в Дворцовое управление, и комиссар Ятманов попросил расписаться в прочтении бумаги упомянутых в ней поименно князя Ратиева и председателя Художественно-исторической комиссии Верещагина. Ратиев заявил, что польщен доверием, оказанным ему новой властью. С Верещагиным, однако, вышла заминка: он ответил Ятманову, что расписываться не станет, что Художественно-историческая комиссия еще не рассматривала вопрос о правомочности так называемого Совета Народных Комиссаров и юридической законности его распоряжений. Ятманов только развел руками.

Известие, что Зимний дворец объявлен большевиками музеем, в Эрмитаже встретили с полнейшим безразличием: кто станет придавать значение бумаге, исходящей от власти, которая властью не является? Филькина грамота! Но то, что князь Ратиев принял на себя заведование дворцом, способствуя тем самым незаконному отстранению от должности генерала Комарова, начальника Дворцового управления, вызвало у графа Толстого, судя по его письмам в Киев, весьма неприятное чувство: этак, пожалуй, не сегодня-завтра в Эрмитаж заявится вездесущий господин Бенуа и, выложив бумажку от того же Луначарского, потребует освободить ему директорское кресло. Нет, не дождетесь, Александр Николаевич, большевики сгинут раньше.

Толстому уже известно, что казачьи части Краснова наголову разбиты, но его оптимизм, как он сам говорит, лишь закаляется в горниле испытаний: все равно большевистскому правлению вот-вот наступит конец, большевикам все равно не удержаться у власти — промелькнут над Россией апокалипсическим видением и бесследно исчезнут с политического горизонта, как исчезла в глубинах мироздания недавняя комета Галлея, тоже порядком напугавшая человечество перспективой мировой катастрофы. «Петербург — не вся Россия, — развивает свою мысль Толстой перед Эдуардом Эдуардовичем Ленцем, — слава богу, есть еще Москва; не вокруг Петербурга, а вокруг Москвы собиралась земля русская; в древнем Кремле — сердце и душа Великой Руси, и потому-то события в первопрестольной развертываются сейчас по-иному, чем в зачумленном Петрограде; что не удалось генералу Краснову, того добьется

в Москве полковник Рябцев, можно сказать, уже добился — Кремль отбит от большевиков, история возвращается на круги своя».

Ленц — неисправимый пессимист. Глядя скорбными глазами на графа Толстого, он спрашивает: а что, если большевики начнут палить по Кремлю из пушек, — что тогда? Толстой даже слушать не хочет: чепуха, не отваятся!

10

— Большевики бомбардируют Кремль!

«Эта новость, — пишет Джон Рид, — почти с ужасом передавалась на петроградских улицах из уст в уста. Приезжие из „матушки Москвы белокаменной“ рассказывали страшные вещи. Тысячи людей убиты. Тверская и Кузнецкий в пламени, храм Василия Блаженного превращен в дымящиеся развалины, Успенский собор рассыпается в прах, Спасские ворота Кремля вот-вот обрушатся...»

Заносся в свой корреспондентский блокнот циркулировавшие в Петрограде слухи, Джон Рид, конечно, не мог не вспомнить об эрмитажных сокровищах. Он знал, что шедевры Эрмитажа при Временном правительстве были эвакуированы в Москву (Джон Рид упоминает об этом в «Десяти днях»), и догадывался, что художественные ценности, вывезенные из Петрограда, находятся сейчас где-то за кремлевскими стенами.

«Кремль бомбардируется большевиками!» Ко всему, что могло выставить большевиков в невыгодном свете, чины бывшего Императорского Эрмитажа (во всяком случае, очень многие из них) обычно прислушивались с живейшей охотой; любая ложь, пригодная для компрометации большевистской власти, была им по душе, даже тогда, когда ложь эта касалась их собственного музея: внимая который уж день злоречивым пересудам об Эрмитаже, якобы разгромленном при захвате Зимнего дворца, они утвердительно кивали головами, переглядывались втихомолку и улыбались, как авгуры.

Сегодня авгурам не до улыбок. В Эрмитаже переполох, в Эрмитаже с ужасом толкуют и перетолковывают то, о чем говорит сегодня весь Петербург. Кремль объят пожаром, в огне погибли эрмитажные коллекции, и это не очередная газетная утка, не пустопорожняя людская молва — московские вести подтверждают

сами большевики: о том, что происходит в Москве, во всеуслышание заявил сегодня не кто иной, как сам Луначарский, их вышедший в отставку министр искусства!

В отставку Луначарский подал 2 ноября, потрясенный известиями о гибели в Москве исторических и художественных святынь России.

«15(2) ноября,— пишет Джон Рид,— комиссар народного просвещения Луначарский разрыдался на заседании Совета Народных Комиссаров и выбежал из комнаты с криком:

— Не могу я выдержать этого! Не могу я вынести этого разрушения всей красоты и традиции...»

Вечером в газетах появилось его заявление об отставке:

«Я только что услышал от очевидцев то, что произошло в Москве.

Собор Василия Блаженного, Успенский собор разрушаются. Кремль, где собраны сейчас все важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется...

Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас я бессилён.

Работать под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя.

Вот почему я выхожу в отставку из Совета Народных Комиссаров.

Я сознаю всю тяжесть этого решения, но я не могу больше...»

На следующий день, 3 ноября 1917 года, А. В. Луначарский обратился «к рабочим, крестьянам, солдатам, матросам и всем гражданам России» с призывом беречь художественные богатства русской земли. В этом обращении он объяснил причины, побудившие его вчера выйти из состава правительства и сегодня взять отставку обратно:

«Когда я, народный комиссар по просвещению, узнал о московском побоище и страшном разрушении достояния народа — я был сражен этим... Нельзя оставаться на посту, когда ты бессилён. Поэтому я подал в отставку. Но мои товарищи, народные комиссары, считают отставку недопустимой. Я остаюсь на посту, пока ваша воля не найдет более достойного заместителя...»

Двенадцать долгих лет, с 1917 по 1929 год, Анатолий Васильевич Луначарский оставался на посту народного комиссара по просвещению. «Мои товарищи, народные комиссары,— писал он 3 ноября 1917 года,— считают отставку недопустимой». О том, кто именно воспрепятствовал его отставке, позволяют судить позднейшие воспоминания Луначарского, включенные им в известную статью «Ленин и литературоведение».

«Я позволю себе привести здесь личное воспоминание, которое особенно ярко запало в мое сознание и которое прекрасно характеризует широту и торжественность той борьбы за социалистическую культуру, которую вел Ленин. Пишущий эти строки был испуган разрушениями ценных художественных зданий, имевшими место во время боев революционного пролетариата Москвы с войсками Временного правительства, и подвергся по этому поводу весьма серьезной „обработке“ со стороны великого вождя. Между прочим, ему были сказаны тогда такие слова: „Как вы можете придавать такое значение тому или другому старому зданию, как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об открытии дверей перед таким общественным строем, который способен создать красоту, безмерно превосходящую все, о чем могли только мечтать в прошлом?“»

Ленин потом ни разу не напоминал Луначарскому об его опрометчивом шаге. Но сам Луначарский никогда не забывал политического урока, преподанного ему Лениным. «Ленин прямо говорил о том, что коммунист, неспособный к полетам реальной мечты, то есть к широким перспективам, к широким картинам будущего,— плохой коммунист». В трудных обстоятельствах того ноябрьского дня, понимал Луначарский, у Ленина были все основания бросить ему этот отрезвляющий упрек: он действительно проявил малодушие, поддался панике и в полном смятении чувств вел себя как плаксивая институтка.

«Дела в Москве оказались не так плохи»,— писал Луначарский через несколько дней после того, как ход революционных событий подвел итог кровопролитным боям московского пролетариата с силами контрреволюции. Ожесточенные бои шли в Москве с 27 октября. Обманным путем белогвардейским частям полковника Рябцева удалось 29 октября проникнуть в Кремль и засесть за его стенами. На помощь московским рабо-

чим Смольный двинул из Петрограда отряды красногвардейцев и балтийских матросов, но еще до их прибытия, уже 3 ноября, к рассвету, Кремль был очищен от белогвардейцев. «Революционные войска победили,—говорилось в приказе Московского ВРК.—Юнкера и белогвардейцы сдают оружие... Военно-революционный комитет приказывает прекратить всякие военные действия (ружейный, пулеметный и орудийный огонь...)»¹

В тот же день, 3 ноября, в «Известиях Московского Военно-революционного комитета» было напечатано:

«Любители старины очень боялись за Кремль, который пришлось подвергнуть форменной бомбардировке из орудий всякого калибра. Можем их успокоить: Кремль в целом, как исторический памятник, сохранился. Ни одно здание, имеющее историческое значение, не разрушено...»

11

Пропахшие гарью улицы перегорожены баррикадами и колючей проволокой. Разворочен булыжник мостовой. Траншеи, окопы, воронки. Но пушки больше не бьют, не стрекочут пулеметы, не слышно ружейной стрельбы,—непривычно тихо на московских улицах. Редкие, торопливые прохожие. Красногвардейские патрули.

Пороховым дымом пропах и генерал-губернаторский дворец, в котором с весны обосновался Московский Совет рабочих и солдатских депутатов. Сидя у ревкомовского телефона, усталый человек охрипшим голосом вызывает один номер за другим. Вчера он добивался у телефонисток разговора с фабричными комитетами, комиссарами воинских частей, штабами Красной гвардии, интендантствами и госпиталями, командными и наблюдательными пунктами; сейчас он обзванивает — по лежащему перед ним списку — московских художников, тех, кто до октябрьских боев работал в комнате № 13 — культурно-просветительном отделе Московского Совета.

¹ Останавливаясь на обстоятельствах, вынудивших прибегнуть к бомбардировке Кремля, «Правда» в ноябре 1917 года писала: «Брать штурмом Кремль и дома, где засели юнкера, было бы безумием... Так. обр., применение артиллерийского огня диктовалось простым соображением: ликвидировать бойню так, чтобы количество человеческих жертв было бы минимальным».

— Ревком просит прибыть по срочному делу в комнату номер тринадцать. Пропуск получите при входе.

«По темным тихим улицам дошел до Совета,— вспоминает Евгений Владимирович Орановский. — Назвал караульному начальнику свою фамилию, получил пропуск и вошел в знакомую по работе до Октября комнату. Не узнал ее... Везде следы недавно пережитой боевой страды. Оружие, снаряды, обмундирование. Лица суровые, изможденные, но изнутри светящиеся радостью одержанной победы. Среди них — несколько взволнованных художников, немногих, которые отозвались на призыв большевистского Совета. Заседание оказалось кратким, но чрезвычайно важным. Руководящие товарищи из Совета сообщили, что решено создать специальную комиссию, которая должна взять в свои руки охрану памятников искусства и старины. Первой и важнейшей задачей ее была охрана художественных ценностей, находящихся в Кремле».

Когда художника Орановского экстренно вызвали в комнату № 13, он и в мыслях не имел, что ему предстоит стать «стражем кремлевских сокровищ» — заместителем председателя новой комиссии, созданной Московским Советом. Возглавил комиссию, к его удовольствию, архитектор Павел Петрович Малиновский, старый партиец-большевик, с которым он встречался и прежде в той же тринадцатой комнате.

— Легкой жизни не обещаю,— сказал Малиновский.— Колокольным звоном нас в Кремле не встретят.

Ох, тяжела ты, шапка Мономаха! Какой невероятной трудности задача возложена на них, Орановский понял сразу, как только на следующее утро очутился по ту сторону кремлевских стен.

Кремль в ту пору был густо населен. От колокольни Ивана Великого до Спасских ворот тянулись, тесно лепясь друг к другу, дома и домишки, забитые до отказа жившими здесь с царских времен чиновниками, дворцовыми служителями, их домочадцами, каким-то вообще непонятным людям. Всяческого народу было полно и в жилых домах во дворе Кавалерского корпуса, а в кельях Вознесенского и Чудова монастырей обитали целые сонмища черноризцев. Отсидевшись в дни боев под каменными сводами подвалов, разношерстное население Кремля выбралось теперь на свет божий и заполнило кремлевские площади и проулки. Это

неожиданное многолюдье, особенно заметное после московских пустынных улиц, озадачило и насторожило Орановского и его товарищей.

Возбужденная толпа сновала по Кремлю среди брошенных юнкерами пушек, порожних снарядных ящиков, опрокинутых походных кухонь, меж сваленных в кучи винтовок, битого кирпича, гранат, пироксилиновых шашек, искореженного железа. Всюду какие-то подозрительные людишки, какие-то солдаты, не похожие на солдат, какие-то молодчики охотнорядского обличья...

«Около Мало-Николаевского дворца,— вспоминает Е. В. Орановский,— люди в солдатских шинелях спешно укладывали на возы мебель красного дерева. Кто они и по чьему приказу действуют, установить нам не удалось. Спешно распорядились по караулу: подвод из Кремля не выпускать. Я побежал звонить т. Берзиню, военному коменданту Москвы. Мне посчастливилось его сразу застать. Он ответил лаконично: „Еду!“ Военный комендант примчался через считанные минуты, мародеры были арестованы, но это происшествие, хотя оно и закончилось благополучно, с наглядностью показало, что для сбережения кремлевских ценностей необходимы срочные и решительные действия революционной власти».

Надо было перекрыть пути, по которым просачивались в Кремль подозрительные лица, и упорядочить внешнюю охрану кремлевских хранилищ,— об этом Малиновский тут же договорился с Э. П. Берзиным, военным комендантом Москвы, и И. П. Петряковым, военным комендантом Кремля. Надо было столь же безотлагательно заняться проверкой состояния вещей в самих хранилищах, но этому воспротивилось старорежимное кремлевское начальство. Престарелый князь Одоевский-Маслов, около двух десятилетий пребывавший в должности начальника Московского дворцового управления и считавший себя даже сейчас первой персоной в Кремле, без обиняков заявил, что новой власти не признает. В штыки встретили пришельцев из Совдепа и в другом кремлевском учреждении — в Комиссии по приему, охране и заведению дворцовым имуществом: созданная еще министерством императорского двора, она состояла, как на подбор, из ярых монархистов.

В нижнем этаже Кавалерского корпуса, где помещалась Комиссия по дворцовому имуществу, Малиновский предъявил моссоветовский мандат и попросил по-

казать ему описи. Хмурый чиновник молча поднялся со своего места, отомкнул все дверцы массивных шкапов, стоявших вдоль стен, и опять, так и не произнеся ни слова, углубился в свои бумаги. Малиновский снял с полки первый попавшийся под руку фолиант, второй подал Орановскому. Аккуратные столбцы четырехзначных, пятизначных, шестизначных номеров, условные обозначения, загадочные шифры. Китайская грамота для непосвященного человека. Обратились к чиновнику, но тот процедил сквозь зубы, что он большевикам не помощник. Поставили фолианты на место. Чиновник запер шкапы.

Ни к чему не привели и дипломатические переговоры с высшими чинами монархической комиссии, подоспевшими к полудню. — Переговоры прерваны, — неведомо пошутил Малиновский, оставшись среди своих. — Кремль будем брать с бою. — Первое сражение кончилось тем, что в нижнем этаже Кавалерского корпуса они отвоевали себе маленькую комнату, отныне ставшую их штабом и домом.

Пожевав солдатского хлеба, добытого Петряковым в казармах кремлевского гарнизона, они прихватили с собой нескольких красногвардейцев и пошли осматривать Большой Кремлевский дворец. Войдя в вестибюль, они убедились, что подгадали в самое время.

«В огромных залах сверху донизу стоял душистый пьяный аромат старых петровских вин, — рассказывает Е. В. Орановский о первом осмотре Большого Кремлевского дворца. — ...Обнаружилось, что среди загромаждавших многие залы ящиков с эрмитажными, александровскими и другими ценностями, эвакуированными из Петрограда еще Временным правительством, из ящиков, именовавшихся „Гофмаршальская часть“, образовалась течь. Ящики осмотрели. Они оказались наполненными очень старыми винами. Надо было ликвидировать „пьяный соблазн“ самым радикальным образом. Ящики снесли в подвал и спустили „драгоценную“ жидкость в сточные трубы. Пьяный аромат этих вин на долгие месяцы пропитал залы Большого Кремлевского дворца вплоть до древнейших „хором царей Московских“... Этот запах смущал некоторых недостаточно дисциплинированных караульных, и они проникали внутрь дворца в поисках „душистых соблазнов“. Ничего вредительского из этих попыток не вышло ни разу, но нам, фактически ответственным за сохранность богатейших государственных коллекций и материальных

ценностей, эти запахи прибавили много тревоги и необходимости по несколько раз в ночь делать дополнительный обход караулов».

Возвращаясь из Большого Кремлевского дворца в свой Кавалерский корпус, Орановский и его товарищи столкнулись в дверях с сутулым седым человеком, выходившим из канцелярии комиссии. Посторонились, уступая ему дорогу. Кто повстречался им, они не знали, а был это старший хранитель Эрмитажа академик Яков Иванович Смирнов, приехавший утром из Петрограда.



О своем намерении спешно выехать в Москву академик Смирнов доложил графу Толстому, едва слухи о бомбардировке Кремля получили официальное подтверждение и эрмитажные хранители с похоронным выражением на лицах собрались на экстренное совещание, созванное директором музея. Ни у кого не вызвало сомнений, что побывать в Москве кому-то необходимо — вдруг что-нибудь все же уцелело, если не в Кремле, то в Историческом музее, но по силам ли Якову Ивановичу такая поездка в смутные нынешние времена? Смирнов твердил свое: он отвозил эрмитажные вещи в Москву, и ему не отделаться от чувства, что он-то и обрек их на гибель; поедет непременно он, его не переубедить, родом он из Сибири, а сибиряки, как известно, народ упрямый.

Смирнова облекли полномочиями. «Старшему хранителю Эрмитажа ординарному академику Я. И. Смирнову поручается обследовать в Москве имущество, принадлежащее Эрмитажу». Удостоверение напечатали на старом бланке Императорского Эрмитажа, позабыв впопыхах зачернить слово «Императорский». Граф Толстой скрепил бумагу своей подписью. Он так и подписал: «Граф Д. Толстой».

Дома Яков Иванович не пробыл и пяти минут. С небольшим саквояжем в руках он направился на Николаевский вокзал, чтобы всеми правдами и неправдами раздобыть себе билет.

Поглядев, что творится на вокзале, он понял, что билета ему не достать. В вагон его втолкнула напиравшая сзади толпа.

Дорога была нелегкой и ничем, в сущности, не

отличалась от описанной в «Десяти днях» подобной же поездки в Москву, совершенной в том же ноябре 1917 года Джоном Ридом и Луизой Брайант:

«Как только подали состав, толпа оборванных солдат, нагруженных огромными мешками с продуктами, кинулась в вагоны, вышибая двери и ломая оконные стекла, забила все купе и проходы, многие влезли даже на крыши вагонов... Около семи часов вечера мы двинулись. Маленький и слабый паровоз, топившийся дровами, еле-еле тянул за собой наш огромный, перегруженный поезд и часто останавливался. Солдаты, ехавшие на крыше, стучали каблуками и пели заунывные крестьянские песни... Воздух был спертый, прокуренный и зловонный. Если бы не разбитые окна, мы, наверное, задохнулись бы в ту ночь».

Таким же поездом, в таком же точно вагоне добирался до Москвы Яков Иванович Смирнов.

С дорожным саквояжем в руке брел академик Смирнов по безлюдным московским улицам. Чем ближе к Кремлю, тем явственнее становились следы недавних боев, и Яков Иванович внутренне подготавливал себя к самому страшному, что ожидает его, когда он выйдет на Красную площадь. Быть может, поэтому он невольно замедлял шаги.

Красную площадь он оглядел, стоя у Исторического музея. Справа — зубчатые стены Кремля, по ту сторону заснеженной площади — храм Василия Блаженного: не сожжен Василий Блаженный, не разрушен, красуется как ни в чем не бывало. От сердца немного отлегло. Прежде чем войти в музей, Яков Иванович задержался у подъезда, чтобы еще чуток полюбоваться на витые и грановитые купола древнего храма.

Смирнов был первым петербургским музейным деятелем, приехавшим в Москву после переворота, и князь Щербатов, ведавший Историческим музеем, насел на него с расспросами. Перебивая друг друга, они переговаривали обо всем — и о делах в Петрограде, и о московских событиях. Затем Щербатов показал Якову Ивановичу помещения, в которых хранились эрмитажные вещи.

«Прибыв в город Москву 4 ноября утром, — значит, в рапорте академика Я. И. Смирнова, — я посетил Исторический музей, где князь Н. С. Щербатов провел меня в Новгородское зало, где сложены ящики с кар-

тинами, гравюрами и рисунками Эрмитажа, привезенные со вторым эвакуационным поездом; в окнах этого зала, обращенных в Иверский проезд, имеется 8 или 9 пулевых пробоин, как результат выстрелов со стороны Театральной площади; к счастью, пули летели снизу и ударялись о своды зала, не нанеся повреждений ящикам; неприкосновенны и большие ящики с картинами Эрмитажа, стоящие в вестибюле музея».

В полнейшей сохранности нашел Смирнов и шестьдесят семь ящиков первого, сентябрьского эшелона.

Он просидел у Щербатова еще добрый час — давала себя знать трудная ночь в галдящем, прокуренном вагоне. С Красной площади изредка доносились резкие гудки автомобильных клаксонов; Смирнову вдруг пришло в голову, что он сегодня не слышал боя курантов Спасской башни. Он сказал об этом Щербатову, и тот ответил, что кремлевских курантов им больше никогда не услышать — ни «Коль славен», ни «Боже, царя храни», что часы на Спасской башне разворотило снарядами, и теперь у всех в Историческом музее такое чувство, будто время над Москвой остановилось, замерло, оцепенело.

Получив у Щербатова кое-какие советы и узнав, что князь Одоевский-Маслов продолжает начальствовать в Московском дворцовом управлении, Яков Иванович распрощался: ему пора в Кремль.

Никольские ворота, основательно побитые, оказались заперты. На запоре и Спасские. Смирнов повернул назад, обогнул угол кремлевской стены и вдоль Александровского сада прошел до Кутафьей башни. У Троицких ворот стояли часовые. Он достал свое удостоверение, то самое — на бланке Императорского Эрмитажа и за подписью графа Толстого.

«Хотя в Кремль,—значится в его рапорте Толстому,—через Троицкие, единственно открытые ворота, пропуск производился солдатским, без офицера, караулом и исключительно по пропускам Военно-революционного комитета, но мне удалось, пользуясь исключительно Вашим удостоверением и воспользовавшись разногласием между стражей, пройти, не теряя времени, внутрь Кремля и отыскать там князя Одоевского-Маслова и генерала Истомина... С их разрешения я мог воочию убедиться в целостности ящиков Эрмитажа в сенях Большого дворца и в ближайшем к ним зале; окна этого зала целы, так как с этой стороны Дворец обстрелу не подвергался».

В Большом Кремлевском дворце Смирнова смутил дурманящий винный запах, который, казалось, насытил и сгустил воздушную среду во всех заставленных ящиками дворцовых помещениях. Дежуривший в вестибюле служитель рассказал Смирнову, что за оказия приключилась с гофмаршальскими бутылками. Ящиков с вином в зале уже не было, остались ржавые следы на паркете.

В Оружейную палату Смирнова не допустили: бумага за подписью графа Толстого, так же, как и другая, подписанная князем Одоевским-Масловым, не произвела на часовых никакого впечатления.

«Ящики Эрмитажа, сложенные в Оружейной палате, видеть лично мне не удалось, так как на открытие ее теперь, помимо разрешения кн. Одоевского-Маслова, требуется согласие еще и новых Военно-революционных властей. Но мне сообщено было, что никаким повреждениям там ящики Эрмитажа, как и других учреждений, не подверглись: это единогласно свидетельствовали все, у кого я ни спрашивал с князем Одоевским-Масловым, генералом Истоминым и хранителем Палаты Ю. В. Арсеньевым во главе. Таким образом, ходившие слухи о порче эрмитажных вещей, вывезенных в Москву, должны быть признаны ложными».

На обратном пути в Петроград, со станции Клин, Яков Иванович дал телеграмму в Эрмитаж:

«Все цело. Смирнов».

Пятью днями позже на перрон Николаевского вокзала в Москве сошли Джон Рид и Луиза Брайант. Нелегкое путешествие из Петрограда они предприняли, в сущности, по тем же причинам, что и академик Смирнов. «Росказни о разрушении Москвы не только не стихали, но разрастались... — пишет Джон Рид. — Именно эти-то ужасные слухи и побудили нас отправиться в Москву».

В блокноте, начатом в Москве, Рид записал:

«Получить пропуск в Кремль».

Через день он принес военному коменданту Москвы распоряжение Московского ВРК:

«Настоящим Военно-революционный комитет просит выдать пропуска для осмотра Кремля представителям Американской Социалистической партии при Социалистической прессе тов. Рид и Брайант».

В Кремль они прошли теми же Троицкими воротами, через которые неделей раньше, «воспользовавшись разногласием между стражей», проскользнул, «не теряя времени», Яков Иванович Смирнов.

«Успенский собор... Благовещенский собор,— записывали Джон Рид и Луиза Брайант,— ...колокольня Ивана Великого... Чудов монастырь». В книге «Шесть красных месяцев в России» Луиза Брайант вспоминает, как они с Ридом обходили Кремль в сопровождении красногвардейца и как кремлевские священники провожали их угрожающими взглядами. «Мало-Николаевский дворец... Большой Кремлевский дворец... Грановитая палата...» Тут же в Кремле Джон Рид набросал краткое коммюнике, черновой вариант того документа, который он приложит к «Десяти дням»: «В Кремле я был лично непосредственно после его бомбардировки и сам осматривал все повреждения...»

Непоправимых повреждений он не нашел. Он убедился, что даже те здания, которые пострадали, могут быть восстановлены без особого труда. А слухи о разрушении Большого Кремлевского дворца — такая же ложь, как и рассказы о сожжении храма Василия Блаженного. В своем коммюнике Джон Рид отметил:

«Церковь Василия Блаженного осталась нетронутой, точно так же, как и Большой Кремлевский дворец, в подвалах которого хранятся все сокровища Москвы и Петрограда...»

12

Знал бы телеграфист на станции Клин, что в телеграмме, поданной ему проезжим стариканом, речь идет о величайших национальных сокровищах России, он, вероятно, постарался бы каким-нибудь образом передать ее в Петроград. Но текст телеграммы был самым неприметным: «Все цело. Смирнов», обратный адрес неопределенным: «Проездом», и телеграфист, выписав подателю квитанцию, бросил еще один листок в груды скопившихся за неделю и никуда не передававшихся телеграмм. А Яков Иванович, уверенный, что его депеша будет сегодня же доставлена в Эрмитаж, со спокойной душой задержался в Клину, точнее — неподалеку от Клина, в Боблове, где жили его родные, навещать которых, имея на то согласие Толстого, он считал необходимым по причинам чисто семейного характера.

В Эрмитаже тем временем царил общее уныние. Обусловленной телеграммы от Смирнова не поступало,

и молчание Якова Ивановича можно было истолковать только в дурную сторону. Теперь уже не из города в Эрмитаж, а из Эрмитажа в город ползли слухи о гибели в Москве всех эрмитажных коллекций, и слухи эти представлялись петербургской публике тем более убедительными, что исходили они из авторитетных музейных кругов. К Толстому стали наведываться журналисты, русские и иностранные. Явился и корреспондент «Petit parisien»: на днях он представлял свою газету на шумной ассамблее Союза деятелей искусств; там много говорилось о драматической судьбе шедевров Эрмитажа и даже раздавались голоса, что русские художники должны обратиться к союзным державам с просьбой взять под свою защиту художественные ценности, находящиеся в России, но принадлежащие всему миру, всему культурному человечеству; французское общество хотело бы знать, что думает в связи с этим директор Эрмитажа?

— Скажите цивилизованному миру,—ответил Толстой,—что Эрмитажа у России больше нет.

Интервью французскому журналисту Толстой дал 10 ноября, когда никто в Эрмитаже уже не тешил себя иллюзиями относительно участи эвакуированных музейных коллекций: действительность превзошла самые мрачные, самые черные тревоги и опасения. Толстой учел общее настроение и в тот же день, 10 ноября, предложил всему персоналу Эрмитажа объявить открытый бойкот большевистской власти — по примеру чиновников многих министерств. Было принято решение:

«...присоединиться к Союзу союзов служащих всех правительственных учреждений и, в частности, к мерам бойкота представителей захватчиков власти с целью не дать им возможности укрепиться, выражающимся в следующем: не признавать власти представителей захватчиков и продолжать исполнение всей текущей работы.

В случае вмешательства:

а) персонального — отвечать бойкотом в той форме, которая окажется наиболее целесообразной в каждом отдельном случае;

б) письменного — пакеты вскрывать, но оставлять без действия...»¹

¹ Так называемый «Союз союзов служащих правительственных учреждений», упомянутый в приведенном документе, был одним из

ПЕТРОГРАДСКИЙ ВОЕННЫЙ ТЕЛЕГРАФ
Принято с аппарата 10/XI 16 часов 15 минут

Из Смольного № 11

Дмитрию Ивановичу Толстому. Дворцовая набережная. Здание Эрмитажа.

По распоряжению Народного комиссара просвещения, временно управляющего бывшим министерством двора, обращаюсь к вам с просьбой пожаловать в субботу 11 ноября сего года в 2 часа дня в Зимний дворец и делегировать двух представителей художественной администрации Эрмитажа на срочно созываемую конференцию художественных комиссий бывшего министерства двора по вопросам, непосредственно связанным с вверенным вам художественным хранилищем.

Комиссар по защите музеев
и художественных коллекций
Г. Ятманов.

Ятманов не случайно упомянул в своей телеграмме, что вопросы, которые будут вынесены на обсуждение конференции, имеют непосредственное отношение к Эрмитажу: предстояло обсудить дальнейшие меры по охране музеев и исторических памятников. Непременного участия эрмитажной администрации требовал и другой вопрос: хотя Луначарский уже располагал успокоительной информацией о положении в кремлевских хранилищах, он горячо поддержал предложение комиссаров делегировать в Москву компетентную комиссию, чтобы досконально обследовать состояние хранимых в Кремле петроградских ценностей. В течение дня Ятманов не раз пытался связаться с Толстым по телефону, но, как только он называл свое имя, из канцелярии музея отвечали, что граф либо отсутствует, либо крайне занят, ли-

инициаторов контрреволюционного чиновничьего саботажа, ставившего своей целью помешать победившему пролетариату осуществлять руководство страной.

То обстоятельство, что граф Толстой предложил эрмитажным служащим присоединиться к саботажу с некоторым запозданием, не 8-го, а 10 ноября, объясняется, в частности, его опасением, что саботажникам советские власти не станут выплачивать жалованье; однако 9 ноября администрация музея изловчилась получить в банке крупную сумму, и это позволило Толстому выдать всему личному составу денежное содержание за два месяца вперед.

бо попросту лишен сейчас возможности подойти к аппарату. Поняв, что звонить бесполезно, Ятманов попросил передать директору музея о желании наркома Луначарского встретиться с ним завтра на конференции в Зимнем дворце. На всякий случай — для вескости и подкрепления — он дал еще и телеграмму по прямому проводу, которым Смольный был соединен со штабом Военного округа: оттуда до Эрмитажа три минуты ходу.

Телеграмма, принесенная солдатом с военного телеграфа, была вскрыта в канцелярии музея, зарегистрирована в журнале входящих бумаг и — по распоряжению Толстого — «оставлена без действия». В Эрмитаже все согласились с Толстым: бойкот так бойкот.

«Получила твое письмо от 11 ноября сегодня утром. Очень интересно, чем кончился отказ Эрмитажа с тобой от совещания с Луначарским... Эрмитаж, конечно, получит Бенуа — надолго ли хватит его царствования? Очевидно, все эрмитажные уйдут, с ним остаться не смогут».

Письма Е. М. Толстой из Киева, датированные ноябрем 1917 года, служат как бы зеркальным отражением несохранившихся ноябрьских писем Д. И. Толстого:

«Письма твои имею от 27/X, но что дальше с тобой было при твоём решении остаться в Эрмитаже, боюсь и думать... Так счастлива, что ты с племянниками, которые, я знаю, дадут тебе теплоту, которые поддержат твои бедные нервы...»

«Я вполне понимаю твои доводы относительно Эрмитажа, а вместе с тем служить с большевиками и странно как-то и небезопасно... Я очень боюсь за твои визиты в Эрмитаж».

«Вижу по газетным сообщениям, что чиновники Министерства Двора обещали забастовать только в случае вмешательства в их работу, и вижу, что в других ведомствах забастовщики должны в течение 3 дней оставить казенные квартиры. Ты, конечно, принимаешь свои меры на этот случай — но в сторону ли склада или Гagarинской, вот что мне хотелось бы знать...¹ Отчего-то думаю, что в скором времени увижу тебя... Ведь придется же уйти из Эрмитажа, верно, А. Бенуа, откровенно говорящий об желании иметь твоё место, сумеет себе его устроить! Отличный директор для теперешнего правления!.. Молю бога, чтоб ты благополучно выскочил из большевистского правления и вернулся к нам живым».

«Беспокоюсь об эрмитажных вещах в Москве; держи меня au courant² того, что узнаешь».)

¹ Увольнение продолжающих саботировать чиновников с одновременным лишением их права на государственные пенсии и казенные квартиры было одной из мер, которые применяло Советское правительство для борьбы с контрреволюционным саботажем.

² В курсе (франц.).

Яков Иванович возвратился в Петроград только 11 ноября. С вокзала он заехал домой, помылся, переоделся, написанный в Боблове отчет переложил из саквояжа в боковой карман сюртука и направился, не торопясь, в Эрмитаж. Его встретили, как пришельца с того света. Узнав, что телеграмма, посланная из Клина, по сей день в Эрмитаже не получена, он был донельзя сконфужен: виноват — не виноват, но сослуживцы всю неделю оставались в неведении об истинном положении дел.

Новости, привезенные Яковом Ивановичем, были неожиданными и ошеломляющими. — Чудо! — восклицал Толстой. — Чудо! Судьба дивно хранит Эрмитаж и в Петрограде и в Москве! — Но, поздравив всех эрмитажных и еще раз поблагодарив Смирнова, он — тоном уже деловым — порекомендовал не выносить радостное известие за стены музея, не предавать его широкой огласке: теперь все надлежит рассматривать под политическим углом, пояснил он, а вандализм большевиков — это действует на публику.

Оплошал, однако, сам Толстой. О приезде Смирнова он решил все-таки оповестить Русский музей, чьи эвакуированные коллекции соседствовали с эрмитажными в кремлевских хранилищах, но при этом забыл предупредить, что сведения, сообщаемые им, предназначены для узкого круга «своих». Можно вообразить досаду Толстого, когда на следующий день, 12 ноября, не где-нибудь, а в большевистской «Правде» появилась такая заметка:

«СОКРОВИЩА ЭРМИТАЖА В ЦЕЛОСТИ

Слухи о том, что во время последних событий в Кремле погибли сокровища Эрмитажа и Музея Александра III, оказываются неверными. По сведениям, полученным в музее Александра III, все вещи, эвакуированные в Москву из Эрмитажа и Музея Александра III, находятся до сих пор в целости».

Слово «саботаж» в ноябре семнадцатого года уже прочно вошло в обиходный язык, и Ятманов в беседе с Александром Бенуа после конференции в Зимнем дворце употребил это ходовое слово, кляня администрацию Эрмитажа, — не изволила явиться, демонстратив-

но уклонилась от встречи с наркомом. — Такие же саботажники, как продовольственники и банковские служащие, — со злостью сказал Ятманов, но Бенуа его оборвал — подобный характер разговора ему крайне неприятен: слишком сложное ныне время, чтобы судить с кондачка; люди, которым доверен Эрмитаж, это прежде всего ученые, заслуживающие глубокого уважения. — И Толстой? — спросил Ятманов. — И Толстой, — подтвердил Бенуа: о директоре музея Дмитрие Ивановиче Толстом он не может сказать ничего худого, хотя их давнишние отношения — так уж вышло! — прервались еще весной.

Излишнюю снисходительность к эрмитажным саботажникам, по мнению Ятманова, проявил и товарищ Луначарский: отверг все предложенные крутые меры, почему-то даже рассердился. Спору нет, без музейщиков, без их опыта и знаний трудно сберечь народные сокровищницы, но разве проймешь ихнего графа Толстого интеллигентской обходительностью! А товарищ Луначарский весь инцидент свел к тому, что велел послать в Эрмитаж еще одну бумажку и обязательно — «повежливей».

— Пустой номер, — предсказал Ятманов. И не ошибся.

Толстой предупредил Ленца, что в понедельник его в музее не будет. Он условился с князем Гагариным в понедельник съездить на Калашниковский проспект, поглядеть, что представляют собой склады Цетлина в Успенском дворе, — некоторые общие знакомые из министерства иностранных дел, лишившись казенных квартир, свезли туда свое имущество.

Дня за три перед тем Толстой долго обсуждал с Эдуардом Эдуардовичем, может ли коснуться их лично неслыханная мера, применяемая большевиками к высшим чинам бастующих министерств, и оба они пришли к выводу, что пока прямой угрозы нет: служащие Эрмитажа не бастуют, бойкот — не забастовка, текущая работа в музее продолжается, все на местах — от директора до галерейных служителей, канцелярия ведет делопроизводство. Смутил Толстого князь Гагарин: он не уверен, что большевики столь же отчетливо, как Дмитрий Иванович, представляют себе разницу между забастовкой и бойкотом, все эти тонкие нюансы; чиновники министерства двора тоже не бастуют, тем не менее

он решил присмотреть себе подходящее складское помещение — на всякий случай, превентивно.

Были у Толстого и другие мотивы, побудившие его составить компанию князю Гагарину: душа его, можно сказать, разрывалась между Петербургом и Киевом. В конце октября Елена Михайловна писала ему, что Центральная Рада не дала в Киеве поднять голову большевикам, но ее последующие письма были полны тревоги: «Мы живем мирной жизнью в ожидании беспорядков... В Кагарлыке пока смирно, ленинские циркуляры это, наверно, изменят... Надо ликвидировать Кагарлык, и чем скорее, тем лучше; мне говорят, что сейчас можно еще продать скот и инвентарь негласно...» Дела в Кагарлыке осложнялись с каждым днем. «Сегодня у меня был директор завода, чтобы узнать, согласна ли я заплатить около 135 тысяч увеличенного жалования сезонным рабочим, которые очень волнуются. На мой вопрос, что случится, если я не соглашусь, был ответ: стачка и, возможно, разгром завода...» Письма из Киева приходили одно за другим: «Беда только — чем мы будем жить, если твои капиталы пропали в Государственном банке, а за сахар и хлеб нам не заплатят... Если нам уплатят все, что нам должны, то мы будем иметь 600 тысяч рублей чисто... Я придумываю, как бы спрятать деньги и драгоценные камни... С национализацией частных банков ничего не спасем... По-моему, мало надежды, чтобы украинцы, в душе большевики, не присоединились к большевикам, и тогда здесь заберут банки...» Толстой сознавал, насколько необходимо сейчас его присутствие в Киеве, но Петрограда не покидал: бессонными ночами он никак не мог решить, что перевешивает на весах его личной судьбы — Эрмитаж или Кагарлык?

В ноябре 1917 года, 5 ноября, Ленин писал:

«Вполне понятно, что помещики и капиталисты, *высшие* служащие и чиновники, тесно связанные с буржуазией, одним словом, все богатые и тянущие руку богатых встречают новую революцию враждебно, сопротивляются ее победе, грозят прекращением деятельности банков, портят или прекращают работу разных учреждений, мешают ей всячески, тормозят ее то прямо, то косвенно»¹.

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 65.

Ненависть к рабочему классу и к большевистской партии сплотила в необычайном единодушии капиталистов, помещиков, высшее чиновничество, огромную часть интеллигенции, связанную с буржуазией воспитанием, средствами к жизни, привычками. К этому общему фронту непризнания и бойкота рабоче-крестьянской власти тотчас же присоединился и недавний Императорский Эрмитаж, верхи которого, принадлежавшие к аристократическому и буржуазному миру, страшились навсегда потерять свои чины и привилегии, поместья и капиталы.

Художественная администрация Эрмитажа, тормозя — прямо и косвенно — первые же начинания пролетарской революции в области музейного строительства, усиленно содействовала организаторам контрреволюционного саботажа в осуществлении их главной задачи — не дать укрепиться большевикам. Потому-то и считал себя обязанным оставаться при Эрмитаже граф Дмитрий Иванович Толстой.

В понедельник 13 ноября Толстого в музее не было, и пакет, лежавший с вечера в канцелярии, вскрыл Ленц. Созвав служащих, он зачитал вслух полученную бумагу. «Оглашается, — сказано в протоколе, — поступившая 12 сего ноября бумага от лица, именующего себя Помощником Народного комиссара по ведомству дворцов Российской республики, о командировании по одному представителю от Русского музея и Эрмитажа в Москву в целях выяснения состояния эвакуированных туда из Петрограда народных художественно-исторических ценностей, а также государственных дворцов и музеев Москвы и ее пригородов».

Ничего нового бумага не содержала, и среди собравшихся не возникло ни малейших разногласий, как надлежит на нее реагировать. Небольшую дискуссию вызвал лишь вопрос, следует ли информировать о поездке академика Смирнова вышестоящие ведомства и какие именно ведомства в данных условиях следует признавать «законно вышестоящими», — вопрос сложный, ответить на него затруднялся даже Ленц.

За время своей эрмитажной службы, длившейся с конца девятнадцатого столетия, старший хранитель Ленц привык к тому, что Эрмитаж находится в непосредственном подчинении графа Фредерикса, министра императорского двора; в последние месяцы он почти

смирился с тем, что функции Фредерикса стал осуществлять господин Головин, конституционный демократ, железнодорожный концессионер, который на памяти Ленца в 1907 году председательствовал в Государственной думе, а после падения самодержавия получил пост комиссара Временного правительства по бывшему министерству императорского двора; три недели назад и Головина как ветром сдуло,— кому же подведомствен сейчас Эрмитаж? Обязанности, выполнявшиеся Головиным, временно принял на себя — по просьбе высших чинов министерства — действительный статский советник Рюдман, ранее ведавший кабинетом его императорского величества, но, если здраво рассудить, какую, собственно, «верховную власть» он представляет? С кем сноситься, кому докладывать — пусть разбирается Толстой. В протокол было занесено:

«Собрание единогласно признало необходимым остаться при первоначальном, принятом в соответствии с решением делегатского собрания Союза служащих б. Министерства двора, постановлении об игнорировании письменных заявлений, исходящих от лиц, самочинно распоряжающихся от имени „Народных комиссаров“, отложив обсуждение частных вопросов до следующего заседания в присутствии Директора графа Д. И. Толстого, назначив это заседание на вторник 14 ноября в 11 часов утра».

Во вторник на заседании хранителей председательствовал сам Толстой.

«...Совещание постановило: оставаясь на принятой уже ранее принципиальной точке зрения, оставить бумагу без ответа. Вместе с тем совещание заслушало сообщение, что сего числа к временно исполняющему обязанности Комиссара по Министерству Н. Э. Рюдману препровождена копия рапорта Старшего хранителя Смирнова о результатах его поездки в Москву, где им все ящики с имуществом Эрмитажа были найдены в целости. Таким образом, участие Эрмитажа в какой бы то ни было поездке в Москву с лицами, самочинно захватившими в

свои руки власть, не только является недопустимым по чисто формальным и принципиальным соображениям, но и излишним по существу».

13

Пусты канцелярии министерских департаментов: господа чиновники изволят бастовать. Пусты классы в гимназиях и училищах: учителя не желают вести уроки. Пусты зрительные залы бывших императорских театров: господа актеры отказываются играть спектакли... О буржуазной интеллигенции, «впавшей в это время в столбняк, именуемый ею саботажем», рабочий журнал «Грядущее» писал в своей первой книжке: «Нет у нас помощников... Наша хваленая интеллигенция, „внеклассовая“ и „внесловная“, выявила свое идейное единство с эксплуататорскими классами и вступила с ними в открытый союз». Эта саботирующая интеллигенция, указывал журнал, дорожит своими привилегиями на культуру «не меньше, чем помещик землей».

В столбняке саботажа пребывал и Эрмитаж. Пройдет пока еще никому не ведомый срок, и дифференциация, которая будет происходить в среде научной и художественной интеллигенции, скажется и в тесном мирке эрмитажных хранителей: одни, не оставив следа в истории музея, исчезнут навсегда с ее страниц, другие свяжут свою жизнь и научную судьбу с историей советского Эрмитажа. Но тогда, в ноябре 1917 года, классовая предубежденность и кастовая солидарность сплотили на единых позициях всех эрмитажных хранителей, в том числе и тех, чей опыт и знания могли бы так пригодиться с первых же дней революции для строительства новой, социалистической культуры.

Словосочетание «эрмитажный хранитель» издавна было равнозначно понятию «ученый муж». Однако по уровню учености состав эрмитажных хранителей никогда не был однороден. Насмешливое прозвище «эрмитажный барон», промелькнув однажды в прогрессивной печати, накрепко пристало не только к титулованным остзейцам, которых действительно было немало в Эрмитаже, но и ко всем, кто рассматривал свою службу в придворном музее как не слишком утомитель-

ный путь навверх по многоступенчатой лестнице табели о рангах. Да и министерство императорского двора, со своей стороны, в фамильном гербе и солидном капитале видело наилучшую рекомендацию для причисления к Эрмитажу того или иного претендента. Этих-то «эрмитажных баронов» и подразумевал Д. А. Шмидт, хранитель Картинной галереи, когда в предоктябрьские месяцы 1917 года писал: «До сих пор Эрмитаж вынужден был подыскивать себе сотрудников среди людей материально обеспеченных, которые смотрели на эрмитажную работу как на благородный спорт... Формула „он ведь так любит искусство“ считалась достаточной аттестацией любого кандидата в хранители Эрмитажа». Но Эрмитаж, как бы ни сковывал его дворцовый регламент, был все же музеем, и он не мог бы вообще существовать и развиваться, не будь в составе его хранителей и подлинных ученых, людей широкой научной осведомленности, неутомимых исследователей, истинных знатоков. Их имена украшают эрмитажные анналы.

В 1917 году, на стыке двух общественных эпох, самой значительной и авторитетной фигурой в ученой коллегии Эрмитажа был, несомненно, Яков Иванович Смирнов.

«Ему было пятьдесят лет, но имел он внешность глубокого старика,— рассказывает о Якове Ивановиче Смирнове его ученик, выдающийся советский востоковед академик И. А. Орбели.— Это был совершенно изумительный человек». Избранный Российской Академией наук ординарным академиком по отделению русского языка и словесности, Я. И. Смирнов был крупнейшим ученым-античником и одновременно замечательным востоковедом,— его знания поражали глубиной и энциклопедичностью. «Это был человек,— рассказывает И. А. Орбели,— который арменистам указывал, где им нужно найти сведения по интересующим их вопросам; это был человек, который китаистам давал сведения, касающиеся христианской церкви XII века, построенной вдовой христианского купца в Пекине; тюркологам он объяснял то, что можно найти в турецких источниках... Он всю жизнь стремился чем только мог помочь всем... Это был человек, который способен был неделями, месяцами искать везде, где только можно, во всех литературных свидетельствах, во всех описаниях памятников, сведения, которые нужны какому-нибудь

студенту второго курса для еще не оформившейся статьи по археологии Кавказа. И это все он умел делать так, что вы считали, что вы его благодетель, а не он ваш благодетель... Он был душой всех научных проблем, которые кем-либо исследовались»¹.

Научной сенсацией среди востоковедов всего мира явился изданный в 1909 году классический труд Я. И. Смирнова «Восточное серебро». Это была фундаментальная публикация найденных в России произведений восточной торевтики², художественных сосудов всех эпох — от шумерской и вавилонской до арабской и турецкой, но основной материал этого издания — сасанидский. Русская и мировая наука обязаны Смирнову основополагающими исследованиями так называемого сасанидского серебра, иранской художественной посуды III—IV веков нашей эры с изображениями сасанидских царей на охоте, зверей, птиц, фантастических чудовищ. Когда Якову Ивановичу хвалили его работу, он обычно отнекивался, говоря, что его заслуга здесь невелика, что ему попросту удивительно повезло с географией сасанидских находок: посудите, говорил он, всего три сасанидских сосуда найдено в самом Иране, еще два — в Индии, по одному — во Франции и в Японии, зато в России — свыше двухсот! Сасанидское серебро составляет особую тему восточной археологии, и не кто иной, как эрмитажный хранитель Яков Иванович Смирнов, впервые установил хронологические группы этих теперь всемирно известных вещей, определив портреты царей по их изображениям на монетах.

«Яков Иванович был истинный „вещевед“, — пишет

¹ О научном альтруизме Я. И. Смирнова свидетельствует и такой факт, приводимый И. А. Орбели в его воспоминаниях:

«Я. И. Смирнов в условиях непомерной трудности совершил поездку по Малой Азии, потом спустился вниз к Сирии и собрал очень богатый материал. А потом он узнал, что молодой австрийский ученый И. Стржиговский спустя лет пять тоже ездил туда. Я. И. Смирнов списался с ним, пригласил его сюда (в Петербург), ознакомил со своими материалами, и всю эту гору замечательнейших данных, не только путевых наблюдений, но и всего того, что он за эти годы собрал, он отдал Стржиговскому, и тот эти материалы издал. На титульном листе его работы вы можете увидеть фамилию Я. И. Смирнова рядом с его фамилией. Я. И. Смирнов, как он объяснил, сознавал, что он второй раз туда не попадет (из Эрмитажа не выберешься), а этот немец еще поедет и докопает, что не докопано. Ему важно было, чтобы эти материалы были изданы, чтобы этот научный вопрос был освещен».

² Торевтика — искусство рельефной обработки художественных изделий из металла.

академик С. А. Жебелев. — Эта любовь к вещам, оставшимся от прошлого, побуждала Якова Ивановича внимательно относиться ко всем памятникам старины. „Вы знаете, — писал он мне (Париж, 8/VI 1897 года), — что я себя ни в чем компетентным не считаю и потому и дерзаю братья за все“. В особенности привлекали Якова Ивановича памятники, дошедшие в фрагментарном состоянии. Соединение таких фрагментов в одно целое, поскольку оно может быть восстановлено, способно было увлечь его до такой степени, что он готов был забыть на время свои ученые дела. Далеко не всем известно, хотя это и отмечено кратко в литературе, что первоначальная честь составления разрозненных кусков фигуры Афины с фронтона древнего храма на афинском Акрополе принадлежит Якову Ивановичу и Вл. К. Мальмбергу во время их совместных работ в 1894 году в так называемом Малом акропольском музее. Шрадер лишь закончил работу, начатую русскими учеными, зафиксировал ее...¹ Археологическая зоркость глаз Якова Ивановича вызывала всеобщее удивление, и Н. П. Кондаков², обращавшийся иногда к Якову Ивановичу за определением тех или иных неясных деталей на оригинале или на воспроизведении его, говорил, когда Якову Ивановичу удавалось распознать эти детали: „Ну и глаза!“.

О тех же феноменальных качествах Смирнова, археолога по призванию и страсти, пишет и другой его коллега — известный историк античного мира М. И. Ростовцев:

«Археолог с орлиным взглядом, сразу видевший то, чего не видели другие, „острый взгляд“ которого известен всем археологам Европы, он соединял бесконечное знание вещей с огромной начитанностью и с необычайно острым критическим умом... Помню его в археологических поездках и музеях, где он забывал и об еде и об усталости, изучая памятники, измеряя, зарисовывая и комбинируя. Помню в Эрмитаже, куда длинной вереницей тянулись к нему коллеги и ученики за справками, за помощью, за разрешением недоумений. Не знаю, для кого Смирнов работал больше, для себя или для других».

¹ Из мелких кусочков Я. И. Смирнов собрал и знаменитый «келермесский ритон».

² Академик Н. П. Кондаков — крупнейший знаток византийского искусства.

В ноябре семнадцатого года Яков Иванович Смирнов, как и прочие эрмитажные хранители, являлся в Эрмитаж только за тем, чтобы отсидеть присутственные часы. Он не мог ничем заняться, ни на чем не мог сосредоточиться, потому что на его глазах — так ему казалось — «распадалась связь времен»: прошлого, настоящего, будущего. Он был археологом, и его интуиция археолога позволяла ему мысленно сопрягать в единое целое разрозненные фрагменты былого, но калейдоскоп современных политических событий ставил его в тупик, осколки разрушаемого революцией старого мира порошили его зоркое око — оно видело лишь случайные фрагменты и случайные детали, не охватывая целого во всей его значительности и исторической перспективе. Революции Смирнов не понимал, страшился ее, перечитывал Екклесиаста — о времени, уготованном для созидания, и о времени, предназначенном для разрушения: «Всему свое время — время строить, и время разрушать». Он считал, что революция будет только разрушать.

В Клинском уезде, где по пути из Москвы в Петроград задержался Яков Иванович, в восемнадцати верстах от Клина, в Боблове, находилось небольшое имение, которое когда-то облюбовал для себя и своей семьи Дмитрий Иванович Менделеев, как и Смирнов — сибиряк родом. В книге «Менделеев в жизни» вдова великого ученого вспоминает, как, бывало, заходили к ним по-соседски кузены Смирновы. «С балкона нашего дома видна река, — рассказывает, между прочим, А. И. Менделеева. — Сидя как-то у нас, археолог Яков Иванович Смирнов попросил бинокль. Долго смотрел он в одно место на противоположном берегу реки и сказал, что, по всей вероятности, там городище. Наш сосед, его двоюродный брат Николай Александрович Смирнов, пригласив за деньги нескольких крестьян, начал раскопки. Скоро труды их увенчались успехом. Найдены были скелеты мужской и женской, утварь и другие принадлежности городища. Брошюра с описанием этой раскопки была издана Смирновым».

Усадебка Смирновых примыкала к имению Менделеевых, и в эрмитажном кабинете Якова Ивановича на его огромном столе александровских времен среди глиняных черепков и обломков позеленевшей бронзы стояли две любительские фотографии в деревянных рам-

ках-самоделках: Дмитрий Иванович Менделеев, облокотившийся о балюстраду балкона, и молодой Александр Блок, играющий с дворовой собачонкой. Смирнов знал Блока с давних пор: поэт проводил летние месяцы в тех же местах, в Шахматове, имении своего деда, знаменитого ботаника Бекетова, ректора Петербургского университета,—менделеевское Боблово и бекетовское Шахматово были расположены в семи верстах друг от друга; расстояние это стало как бы еще короче, когда Александр Александрович женился на Любви Дмитриевне Менделеевой. Блок одинаково любил и Шахматово и Боблово; «угол рая» называл он эти места, и в этом-то райском уголке под Москвой бывал сейчас Смирнов.

Обычно Яков Иванович возвращался из Боблова в отличном расположении духа, довольный свиданием с родными, ублаженный в любое время года красотой среднерусской природы. На этот раз и Боблово не дало мира его душе.

Обо всем, что он делал в Москве, Яков Иванович доложил хранителям, собравшимся по случаю его приезда в Рафаэлевых лоджиях; Боблово он только упомянул, объясняя причину своей задержки, но когда все разошлись и он спустился к себе в нижний этаж, в Отделение Средних веков и эпохи Возрождения¹, к его столу подсел Эдуард Эдуардович Ленц.—А как там в вашем Клинском уезде,—стал он расспрашивать Смирнова,—в деревнях как?

Ленц принадлежал к тем чинам Эрмитажа, для которых дела деревенские представляли отнюдь не абстрактный интерес. Пусть не было у него таких земельных угодий, как у графа Толстого, но за свои сто пятьдесят десятин в Нижегородской губернии он трясся не меньше, чем граф Толстой за свои пять тысяч десятин в Кагарлыке. Подобно Толстому, он был убежден, что большевистская власть недолговечна, что еще до Нового года восстановится нормальный порядок, что вместе с большевиками канет в Лету и беспрецедентный декрет, отменяющий помещичью собственность на землю. Но его гвоздила неотвязная мысль, что, пока история повернет обратно свое колесо, полуведра керосина и одной спички в руках захмелевшего мужика вполне хватит, чтобы ничего не осталось от обжитого дома

¹ По дореволюционной структуре Эрмитажа к этому Отделению относились, в частности, и восточные древности, которыми занимался Я. И. Смирнов.

в ухоженном парке, от служб, от скотного двора, от маслобойни, не достроенной еще, только подведенной под крышу.

— В деревнях как? — допытывался Ленц. — Мужики не шалят?

Пускаться в длинный разговор на тему, саднившую сердце, Смирнову не хотелось. Он коротко ответил, что у его родных покуда все спокойно, а вот в семи верстах, в Шахматове, гарью уже пахло.

— И много чего погорело?

— Какое это имеет значение... — Смирнов вдруг с силой ударил кулаком по подлокотнику кресла. — Книжки сожгли! Понимаете — книги!

Пустым взглядом он уставился в залепленное мокрым снегом окно. Снег, снег, снег... Снег, вероятно, уже занес и пепелище в Шахматове. Наведаться туда из Боблова так и не пришлось, — да и зачем, по правде говоря? — только ради того, чтобы самому, своими глазами, увидеть на закопченном снегу шахматовского парка обугленный мусажетовский томик?

— Нелепо же, — глухо произнес Смирнов, — ни с того ни с сего взять да спалить библиотеку Александра Блока...

Снегопады начались в ноябре, убирать снег было некому, и через месяц город утопал в сугробах. В шинели, перетянутой солдатским ремнем, в шапке-ушанке, глубоко надвинутой на высокий лоб, бродит Александр Блок по своему Петербургу, завьюженному, уже занесенному снегом. «Россия гибнет», — слышит он изодня в день вокруг себя, — «России больше нет», «вечная память России». Он размышляет о России, он размышляет о революции, он размышляет о русской интеллигенции.

Дело художника, размышляет он, обязанность художника — видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух». — Что же задумано? — задает он себе вопрос. Отвечает: — Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью... Стыдно сейчас надмеваться¹, ухмыляться, плакать, ломать руки, ахать над Россией, над

¹ Кичиться (уст.) — Ред.

которой пролетает революционный циклон. — «Почему дырявят древний собор?» — слышит он вокруг себя. — «Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах?» — Что же вы думали? Что революция — идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ — паинька? Что сотни жуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит? И, наконец, что так «бескровно» и так «безболезненно» и разрешится вековая распря между «черной» и «белой» костью, между «образованными» и «необразованными», между интеллигенцией и народом?

...Бродит Блок по своему Петербургу, греется у красногвардейских костров.

«Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок».

Блок окликнул Маяковского, и они вместе дошли до Дворцовой набережной. О случившемся в Шахматове Блок уже знал, но рассказал Маяковскому не сразу, а под конец долгого разговора. Это были первые дни революции, и они, конечно, говорили о революции — о «разливе второго потопа», который «перемывает мир городов», о революционном циклоне, который пролетает над Россией.

«Спрашиваю: „Нравится?“ — „Хорошо“, — сказал Блок, а потом прибавил: — „У меня в деревне библиотеку сожгли“».

В статье «Интеллигенция и Революция», опубликованной в январе 1918 года, Александр Блок писал:

«Почему дырявят древний собор? — Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой.

Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — Потому, что там насиловали и пороли девок; не у того барина, так у соседа.

Почему валят столетние парки? — Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господы показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мощной, а дураку — образованностью.

...Мы — звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? — Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать „лучшие“».

Со всей России, из ближних и дальних деревень стекались в Смольный, к Ленину, крестьяне-ходоки в сермяжных зипунах, онучах, лаптях,—деревня советовалась с Владимиром Ильичем, с чего ей начинать новую жизнь. Ленин подолгу беседовал с ходоками, писал записки: «Дайте подателям *всю* литературу и мое письмо»; покидая Петроград, ходоки увозили с собой — вместе с Декретом о земле и Декретом о мире — ленинский «Ответ на запросы крестьян». Еще до напечатания в газетах это письмо было размножено на пишущей машинке и за собственноручной подписью Ленина раздавалось ходокам:

«Волостные земельные комитеты должны тотчас же брать все помещичьи земли в свое распоряжение, под строжайший учет, охраняя полный порядок, охраняя строжайше бывшее помещичье имущество, которое отныне стало общенародным достоянием и которое поэтому сам народ должен охранять»¹.

Помещичьим имуществом, ставшим достоянием народа, были не только усадебные постройки, сельскохозяйственные орудия, живой и мертвый инвентарь, но и произведения искусства и памятники старины: в конфискуемых у помещиков имениях, в барских усадьбах, в родовых гнездах российского дворянства веками накапливались уникальные полотна и скульптуры русских и иностранных мастеров, тончайшие произведения прикладного искусства, складывались многотомные библиотеки и архивы огромного исторического интереса. Судьба этих культурных ценностей не могла не вызывать тревоги: одно дело в возможно кратчайший срок наладить охрану художественных сокровищ в городах, опираясь на революционную сознательность пролетариата, и неизмеримо труднее — в деревне, где так сильна мелкобуржуазная стихия и где вековая злоба крестьянина к помещику-угнетателю нередко находила выход в разгроме усадеб и имений.

Строжайшая охрана бывшего помещичьего имущества, которой требовал Ленин в «Ответе на запросы крестьян», предусматривала и охрану культурных ценностей. Несколько позже, когда охрана памятников искусства и старины во всероссийском масштабе перешла в ведение Народного комиссариата художественно-исто-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 68.

рических имуществ (комиссариат этот существовал некоторое время как автономный отдел Наркомпроса), во все уголки России, во все губернские, уездные и волостные Советы, во все земельные комитеты были разосланы объемистые бандероли: «Народный Комиссариат Художественно-Исторических имуществ Российской Советской Республики предлагает вам в срочном порядке возможно шире распространить среди населения вашего района прилагаемое воззвание».

В воззвании говорилось:

«...Каждый памятник старины, каждое произведение искусства, коими тешились лишь цари и богачи, стали нашими; мы никому их не отдадим больше и сохраним их для себя и для потомства, для человечества, которое придет после нас и захочет узнать, как и чем люди жили до него... Нет нужды задаваться вопросом, в чьих руках находились раньше те или иные художественные или исторические сокровища: дворцы, особняки, храмы и т. п., в кои вложено столько труда и красоты, сотворенных народным творчеством. Важно знать, кто теперь — хозяин. А хозяин — вся Россия, трудовая Россия. Поэтому ненависть, которую питает народ к прежним хозяевам — царям и другим поработителям, он не распространяет на ни в чем не повинные вещи, с которыми отныне станет обращаться по-хозяйски в целях доступного всем изучения и любования. Долг каждого из нас не только охранять по-хозяйски на местах все остатки истории и памятники искусства, но и собирать и пополнять народную сокровищницу новыми и новыми предметами. Советам на местах, как носителям власти революционного трудового народа, подлежит принять все меры к охране и собиранию предметов старины и искусства: будут ли то целые здания, коллекции, библиотеки, архивы, старинные особняки, художественные усадьбы, храмы, часовни, отдельные памятники...»

Воззвание это перепечатали губернские и уездные газеты. Оно обсуждалось в губкомах и уоках. Его зачитывали на сельских сходах. И не раз случалось, что, слушая на сходе бумагу — почему и для чего надобно

беречь помещичьи картины и статуи, какой-нибудь бородач, побывавший в Смольном у Ленина, уместно напоминать односельчанам про давешнее письмо, которое минувшим ноябрем он привозил из Питера от самого Ильича: охраняйте строжайше народное достояние!¹

15

Дни в Петрограде стали заметно короче, длинна холодная ноябрьская ночь. Денно и ночью горят костры на Дворцовой площади, на Дворцовой набережной, на Миллионной — перед эрмитажным подъездом. Круглосуточный караул несут красногвардейцы и подле княжеских и великокняжеских дворцов, переполненных несравненными произведениями искусства, и подле зашторенных особняков с графскими и баронскими гербами на фронтонах.

В письме, обращенном к Красной гвардии, А. В. Луначарский писал:

«Я получаю... единодушные отзывы об исключительной бдительности и самоотверженной защите общенародных ценностей Зимнего дворца и Эрмитажа, проявляемой при охране их отрядами Красной Гвардии... Я, как народный комиссар по просвещению, болеющий душой за целостность художественных и исторических достояний народа, не могу не выразить с восторженной радостью своей глубо-

¹ Значение, которое придавал В. И. Ленин охране бывшего помещичьего имущества, включавшего и многочисленные памятники искусства и старины, характеризует телеграмма, посланная Лениным в декабре 1917 года в Острогожск Воронежской губернии. Местные власти запросили Владимира Ильича, как им поступить с материальными и художественными ценностями, конфискованными при ликвидации помещичьих имений. 19 декабря В. И. Ленин телеграфировал председателю Острогожского Совета: «Составить точную опись ценностей, сберечь их в сохранном месте, вы отвечаете за сохранность. Имения — достояние народа. За грабеж привлекайте к суду. Сообщайте приговоры суда нам» (Полн. собр. соч., т. 50, с. 17).

О действительности мер, которые принимали органы Советской власти на местах для сохранения культурных ценностей, свидетельствует, в частности, и судьба шахматовской библиотеки А. А. Блока. Как впоследствии стало известно, библиотека эта еще до пожара в Шахматове была вывезена на нескольких подводах в деревню Ново, где помещался в ту пору ближайший Совет. Позднее все поступившие туда книги были переданы во вновь создавшиеся библиотеки и книгохранилища.

чайшей благодарности чудесной новорожденной петроградского пролетариата — Красной Гвардии за то, что и в деле сбережения народных сокровищ она являет примеры, достойные преклонения...»

Все, что было под силу вооруженным отрядам питерских рабочих, они выполняли как должно. Но огромные художественные богатства, которые революция намеревалась передать народу, требовали и других неустанных забот, нуждались в повседневном попечении, в учете и систематизации, в научной охране, а в этом тонком деле Красная гвардия ничем Луначарскому помочь не могла. Тут требовалась квалифицированная помощь сведущих людей, научной и художественной интеллигенции.

Кто же поможет? Музейщики? Они саботируют. Художники? Союз деятелей искусств, объединяющий художников разных направлений, встретил в своем большинстве пролетарскую революцию с неприязнью, враждебно. Призыв Наркомпроса приступить к совместной работе по созданию новых форм художественной жизни и художественного просвещения Союз деятелей искусств решительно отклонил. Но дело охраны художественных ценностей не терпело отлагательств, и Луначарский вторично обратился к Союзу, на этот раз по частному вопросу — помочь Советской власти наилучшим образом сберечь для народа памятники искусства и старины, культурное наследие прошлого. Союз деятелей искусств отверг и этот призыв.

«Увы,— вспоминает Луначарский,— квалифицированный персонал не очень шел нам навстречу».

Афиши, расклеенные по городу, извещали, что 7 ноября в Актный зал Смольного приглашаются писатели, художники, артисты для обсуждения вопроса об их участии в строительстве новой культуры. Ожидалось, что собрание, созываемое по инициативе Всероссийского ЦИКа, будет многочисленным, и его организаторы даже выражали опасение, что Актный зал всех не вместит. «И вот,— рассказывает один из организаторов собрания Б. Ф. Малкин,— в 7 часов вечера все, что представляло интеллигенцию Петрограда, состояло из пяти-семи человек, которые все уместились на одном диване. Помню, был там и Александр Блок, Маяков-

ский...» Маяковский бранился. Блок сидел с окаменевшим лицом.

Среди тех немногих, кто, придя 7 ноября в Смольный, легко уместился рядом с Блоком и Маяковским на прожженном махоркой диване, была молодая прекрасная собой двадцатидвухлетняя девушка. Она расписалась в коротком списке присутствующих: Лариса Рейснер.

Имя молодой писательницы успело примелькаться в литературном Петербурге — с юных лет она писала и печатала стихи, опубликовала пьесу, издавала одно время литературно-художественный журнал (он назывался «Рудин»), сотрудничала в горьковской «Летописи»; знали ее и в Смольном — все лето и осень она много работала в комиссии при исполкоме Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. В дни Октябрьского восстания она примчалась в Смольный, сказала, что хочет служить пролетарской революции.

— Вы нам очень нужны, Лариса Михайловна, — обрадовался ей Луначарский.

В историю революции Лариса Рейснер войдет как легендарный комиссар годов гражданской войны, но первая послеоктябрьская глава ее биографии связана с охраной народных художественных сокровищ.

Зимний дворец в начале ноября был закрыт «для всякого рода частных посещений, впредь до окончания работ Художественно-исторической комиссии, занятой описью и приемкой находящихся во дворце предметов». Во дворец никого не пускали, но барышня, подошедшая к воротам дворцового садика, предъявила пропуск, подписанный наркомом Луначарским, и караульный начальник проводил ее до Салтыковского подъезда.

О впечатлении, которое произвел на нее Зимний дворец, уже официально провозглашенный государственным музеем, Лариса Рейснер рассказала в очерке, опубликованном 11 ноября. Дворцовые залы еще не были прибраны, и представившаяся ей картина ничем не разнилась от той, какую зафиксировал протокол Художественно-исторической комиссии: такой же повсюду ерлаш — грязные тюфяки на полу, подушки, разбросанные бумаги, расколотые ящики столов... Сам же дворец

прекрасен: «...никакие разрушения, разбитые окна, сорванные рамы — ничто не отнимет у этой постройки плавный ход ее галерей, соразмерность стен и потолков, полукруги зал и, прежде всего, изумительное, единственное в мире расположение тени и света...» Она любит дворец Растрелли, она негодует: почему, зачем, по какому праву вселился Керенский в Зимний дворец? «Зачем нужно было есть и спать по-царски, попирать ногами изящество, роскошь и богатство, которыми имеет право распоряжаться только народ, которые принадлежат будущему, как музей Александра III, как Эрмитаж и Третьяковская галерея. Не будь Керенского во дворце, народный гнев не тронул бы ни одной безделушки. Разве премьер не знал, что каждую минуту политическая борьба может его сбросить если не с кресла, то со стула Николая II, что он подвергает величайшей опасности сокровища искусства, среди которых он осмелился жить?» «Лучшие комнаты, самые строгие музейные залы», возмущается Лариса Рейснер, Керенский занял под свои канцелярии: «все затерто, закурено, зашаркано».

По пустым и гулким залам дворца ее сопровождает старый дворцовый служитель в серой ливрее с блестящими медными пуговицами, с воротником, отороченным золотым позументом. Вверх, вниз — по лабиринтам залов, коридоров, лестниц.

— Сюда, мадемуазель, пожалуйста: покои государя-императора Николая Александровича... Пожалуйста, мадемуазель, сюда: покои императора Александра III...

«Там, где жили цари последние пятьдесят лет, очень тяжело и неприятно оставаться. Какие-то безвкусные акварели, бог знает кем и как намазанные портреты, модного стиля «модерн» мебель — всему этому трудно поверить в жилище, построенном для полубогов. Какие буфеты, письменные столы, гардеробы! Боже мой! Вкус биржевого маклера „из пяти приличных комнат“, с мягкой мебелью и альбомом родительских карточек. Как хочется собрать весь этот пошлый человеческий хлам, засунуть его в царственный камин и поджечь все вместе во славу красоты и искусства добрым старым флорентийским канделябром».

— А теперь сюда, мадемуазель...

«Между уборной Александра II и тайной лестницей, ведущей к фрейлинам, есть маленькая комната, которую не раз проходили, пряча лицо за вуалью и плащом. Вся она полна обнаженных тел. Венеры, Дианы и Це-

реры, музы и пастушки, плясуньи и маркизы собраны в один душный гарем. Эрмитаж будет гордиться этой коллекцией. Ее украшает подлинный Ватто, Фрагонар и Буше. Однако на самом видном месте зияют две французские картины — ничего не стоящие, аляповатые и грубые, на которых „ню“ выставлено как в мясной лавке. Просто — гадость. Мало того: все рамы двойные, а за целомудренными, величавыми богинями спрятаны маленькие, нечистые игрушки».

Дворец захламлен, зашаркан, оглушен громом недавних событий. В сопровождении дворцового служителя Лариса Рейснер осматривает бывший царский чертог, угадывая в плавном ходе его анфилад экспозиционные залы и галереи будущего музея.

День идет к концу, сгущаются тени, тускнеют и меркнут очертания предметов, и когда ранние ноябрьские сумерки погружают залы в темноту, Лариса Рейснер выходит из дворцового подъезда. «Вечером, занесенный первым ноябрьским снегом, дворец кажется нетронутым, так же безмятежна белая площадь, за сквозными воротами у костров греется стража...» Стража греется и вдали — у эрмитажного портика; стража охраняет Эрмитаж — сегодняшний, завтрашний.

Когда же это было? Давным-давно, очень давно — два года назад, даже раньше. Ее же стихи, в ее же «Рудине»:

Сегодня, как вчера, озлобленно-усталый
Я отдохнуть пришел в безлюдный Эрмитаж...

Сидя теперь за своим служебным столом в Наркомпросе, Лариса Рейснер пишет очередное послание в безлюдный Эрмитаж — озлобленным музейным деятелям; сегодня, как вчера, она призывает их к совместному творческому труду с представителями Советской власти.

...Очередное письмо из Наркомпроса, подписанное секретарем Художественного совета Л. Рейснер, в Эрмитаже вносят в журнал входящих бумаг и, «оставив без действия», сдают в архив. Эрмитаж все еще пребывает в столбняке саботажа¹.

¹ В архиве Государственного Эрмитажа сохранилось и письмо за двумя подписями — А. Луначарского и Л. Рейснер, датированное 27 января 1918 года и также обращенное к хранительскому составу музея:

Стража у дворцовых ворот попривыкла к тому, что каждое утро — не то чтобы очень рано, а когда уже совсем рассветет, — во дворец приходит важный барин в бобровой шапке и с ним еще другие такие же бары, непохожие на дворцовых чиновников. Бобровую шапку и его дружков приказано пропускать без задержки: какая-то комиссия, едрена вошь, опись всему делает. У балагуров язык остер: не иначе — Николашкино имущество описывают за недоимки. Смех смехом, но что за опись, да еще господскими руками? Осведомились у комиссара — свой брат-солдат, хоть и похаживает с портфелем, — и комиссар ВРК Григорий Степанович Ятманов разъяснил солдатам, что сейчас производится опись всему, чем заполнен дворец, что работа эта очень сложная, требует разума, а бары, которые за нее взялись, все, как на подбор, люди ученые, очень сведущие люди.

Против ожидания Ятманова, со сведущими людьми, с квалифицированным персоналом, в Зимнем дворце дело обстояло лучше, чем где бы то ни было: Художественно-историческая комиссия — кто бы мог подумать! — не примкнула к саботажу, охватившему интеллигентскую братию, а он-то был убежден, что к кому-кому, а к злыдню Верещагину придется-таки применить крутые меры. А обернулось все по-другому.

Дня через два или три после того, как Верещагин огорошил Ятманова заявлением, что не признает законной новую власть, он сам остановил «большевистского прокуратора», который встретился ему в дворцовом вестибюле. Явно преодолевая внутреннее сопротивление, глядя куда-то в сторону, он пробурчал, что его комиссия, пожалуй, будет продолжать свою деятельность, но автономно, сама по себе, отвергая всякое стороннее вмешательство; полнейшая автономия, гарантированная властью, — таковы его условия.

«Уважаемые граждане! На Комиссариат по просвещению падает огромной важности и, при нынешних условиях, огромной трудности задача по охране музеев и дворцов, памятников старины и художественных ценностей как в Петрограде, так и по всей России.

Механическая охрана всего этого несметного достояния вообще невозможна, а надежду на сохранение полностью доставшихся народу сокровищ можно питать только в том случае, если нам удастся превратить их в подлинное народное достояние, сделать их широко доступными и, в то же время, подготовить народные массы, по крайней мере передние ряды их, к правильной оценке великого наследия».

Верещагинский ультиматум застал Ятманова врасплох. Он ответил, что гражданину Верещагину следовало бы переговорить с наркомом Луначарским.

— В Смольный я не езду, — побагровел Верещагин.

На следующий день Луначарский приехал в Зимний дворец.

Еще один разговор, еще одна попытка договориться...

Ход переговоров между Луначарским и Верещагиным вкратце изложен в особом протоколе Художественно-исторической комиссии, в «Журнале № 4»:

«Председатель Художественной комиссии, открыв заседание в присутствии комиссара по народному просвещению А. В. Луначарского... заявил комиссару по народному просвещению, что Художественная комиссия Зимнего дворца осталась на своем посту после октябрьского переворота, несмотря на то, что политические убеждения ее членов далеко не отвечают задачам получившей перевес политической партии. В этом отношении Комиссия держится, по заявлению председателя, того мнения, что известные области общественной деятельности не должны ни в коем случае касаться политики. К таким чуждым политической борьбы интересам относятся, по непреклонному убеждению Комиссии, все вопросы искусства, с которыми так непосредственно связана деятельность Комиссии, обращенная в настоящее время к охране и описи художественных сокровищ Дворца. К изложенному заявлению В. А. Верещагин присовокупил, что Комиссия готова и впредь продолжать работу на том же поприще, если только высказанные ею выше определенные убеждения, с одной стороны, и распоряжения подлежащей власти во вверенной Комиссии области, с другой, не будут препятствовать ее деятельности и проникновенному сознанию приносимой Комиссией пользы.

В ответ на изъясненное заявление А. В. Луначарский выразил пожелание о том, чтобы Художественная Комиссия Зимнего дворца продолжала занятия, объединив в своем составе все остальные художественные

комиссии пригородных к Петрограду местностей. Комиссар не встретил засим препятствий к участию в занятиях Комиссии избираемых по ее усмотрению сведущих лиц.

Об изложенном постановлено занести в особый журнал».

Вспоминая впоследствии «бурное время, в которое происходил непосредственный переход различных учреждений в советскую государственную систему», А. В. Луначарский писал:

«Власть Советов была на первых порах еще настолько шаткой, что интеллигенция разных родов оружия позволяла себе отказываться от повиновения новой власти. Далеко не всегда при этом власть пускала в ход меры крутого принуждения. Наоборот, Владимиром Ильичем были даны директивы — и, вероятно, не только мне — всюду, где только можно, взять интеллигентский персонал без боя, сделать это путем мягкости, некоторых уступок и разъяснения подлинной нашей политики...»

...Верещагин был доволен собой. Снизойдя до разговора с господином Луначарским, он многого добился: ему предоставлена ничем не ограниченная свобода действий, он, можно сказать, получил *carte blanche*, стал, если угодно, хозяином положения. С ревностью и усердием он сызнова принялся за работу.

Приглашенный Верещагиным придворный фотограф зачастил во дворец. Его громоздкую камеру на деревянной треноге служители перетаскивали из зала в зал, и он, сменяя без счета кассеты, фотографировал дворцовые помещения, все еще пребывавшие в том же состоянии, в каком их застал Верещагин после ночного штурма. «7-го ноября Художественная комиссия, — отмечено в „журнале“, — приступила к фотографированию всех подвергшихся разгрому помещений, а 9-го ноября — к разбору и восстановлению покоев Императора Александра II».

Выговаривая себе «автономию», Верещагин вовсе не отказывался от мысли, что и протокол первоначального осмотра, составленный под его диктовку, и впечатляющие фотографии, приложенные к протоколу, в недалеком будущем послужат веским обвинительным материалом против лиц, совершивших октябрьский переворот. Однако теперь у него была и другая, более широкая задача: пользуясь благоприятной ситуацией,

попытаться предотвратить всевозможные беды, грозящие в нынешнее лихолетье многострадальному дворцу Растрелли, сберечь — даже при большевиках — «историческую душу» дворца, хранящего и в большом и в малом драгоценную память о вкусах и наклонностях целых поколений исторических личностей, чьей резиденцией полтора столетия был Зимний дворец, — Керенский не в счет.

Итак, комиссия Верещагина продолжала свои занятия по Зимнему дворцу, и, каковы бы ни были мотивы, стимулировавшие ее энергию, в конечном счете, вольно или невольно, она делала именно то многосложное хранительское дело, в умелом выполнении которого был кровно заинтересован большевистский нарком: дворцовые помещения приводились в порядок, дворцовое имущество инвентаризировалось, дворцовые ценности получили заботливых опекунов. Хотя и не жаловал большевиков господин Верещагин, но работой Художественно-исторической комиссии нарком Луначарский был очень доволен.

...Петарда разорвалась совершенно неожиданно для Верещагина, и где? — в его же собственном стане. «Верещагин — слуга большевиков», — прочел он однажды во вполне почтенной газете, издаваемой старинным приятелем. Его чуть не хватил апоплексический удар. Он тут же взялся за перо:

«Милостивый государь господин редактор! До меня случайно дошла недавно помещенная в Вашей уважаемой газете заметка, касающаяся моей деятельности в качестве председателя Художественной комиссии Зимнего дворца. В этой заметке я назывался, между прочим, „верным слугой большевиков“. Не откажите это утверждение опровергнуть»¹.

Зачислять Василия Андреевича Верещагина в разряд приверженцев большевистского режима было, разумеется, нелепо. Тем не менее владельцы антикварных лавок и управляющие петербургскими ломбардами рассказывали о нем бог весть что: приходит с вооруженным патрулем, предъявляет большевистский мандат, рыщет по кладовым, заглядывает под прилавки, производит форменный обыск. Гофмейстер Верещагин

¹ Далее в своем письме В. А. Верещагин подробно излагает уже сказанное им на заседании Художественно-исторической комиссии, старательно подчеркивая, что продолжение его занятий в Зимнем дворце после октябрьского переворота «ничего общего с сочувствием перевороту не имеет».

с большевистским мандатом! Неделю назад это показалось бы невероятным и самому Василию Андреевичу, но теперь в его бумажнике красного сафьяна действительно лежал мандат ВРК.



Как только Зимний дворец был объявлен музеем, «государственным музеем наравне с Эрмитажем», по всему городу, на стенах домов и на афишных столбах появились печатные летучки:

«Граждане Петрограда!

Убедительно просим всех граждан приложить все усилия к розыску повсюду, где только возможно, вещей, похищенных в Зимнем дворце в ночь с 25 на 26 октября. Скупщики, антиквары и все, кто окажется в числе укрывателей, будут привлечены к судебной ответственности и наказаны со всей строгостью.

Комиссары по защите музеев
и художественных коллекций
*Г. Ятманов, Б. Мандельбаум*¹.

Легко сказать — розыск! У Ятманова не вызывало сомнений, что значительная часть вещей высокого художественного и исторического достоинства была похищена людьми, осведомленными об их материальной ценности, профессиональными ворами, которые сумели проникнуть во дворец до того, как удалось установить действенную внешнюю и внутреннюю охрану; многие дворцовые ценности, догадывался Ятманов, уже попали или неминуемо попадут в руки маклаков и скупщиков краденого, которыми кишмя кишит Александровский рынок; он резонно полагал, что немалая толика похищенного осядет у торговцев древностями, в бесчисленных антикварных лавках на Моховой, Преображенской, Бассейной, на Литейном проспекте и ули-

¹ Обращение это было опубликовано 1 ноября в газетах «Правда» и «Солдатская правда». Одновременно те же газеты напечатали обращение комиссаров Г. Ятманова и Б. Мандельбаума к солдатам и матросам: «В ночь с 25 на 26 октября в Зимнем дворце, составляющем неотъемлемую собственность русского народа, похищены ценные художественные вещи. Убедительно просим приложить все усилия, чтобы все похищенные вещи были возвращены в комендантство Зимнего дворца».

це Жуковского; не исключал Ятманов и возможности того, что для укрытия похищенного опытные воры и перекупщики станут сдавать свою добычу под закладные в ломбарды,—подобное в Петербурге случалось. Словом, где искать Ятманову было ясно, но вот что искать и как искать? Проще всего сделать распоряжение прокурорскому надзору и гражданской милиции о принятии мер к розыску похищенного, но даст ли это ощутимый эффект? Точного перечня пропавших предметов все еще нет, кипятись не кипятись, с ходу такого списка верещагинской комиссии действительно не составить, но, чем черт не шутит, авось гражданин Верещагин, отбросив ради пользы дела свои фанаберии, согласится сам походить по рынкам и лавкам — глаз у него наметанный!

Уламывать Верещагина не пришлось, он согласился охотнее, чем можно было ожидать, и в донесении от 4 ноября комиссары по защите музеев обратились к наркому Луначарскому со срочной просьбой официально уполномочить Художественно-историческую комиссию производить розыск утраченных вещей, предоставив ей необходимые для этого права. Луначарский, не медля, снесся с ВРК.

Речь шла об обысках и конфискациях, право на производство которых Военно-революционный комитет предоставлял только своим доверенным лицам, своим комиссарам, а в бумаге, которую 5 ноября принесли в ВРК, М. С. Урицкий прочел:

«Прошу Военно-революционный комитет снабдить художественную приемочную комиссию Зимнего дворца особыми полномочиями для розыска похищенных из Зимнего дворца ценностей — в ломбардах, на рынках, у антиквариев и т. д. <...>

Народный комиссар
народного просвещения
А. Луначарский
Секретарь по управлению делами
Правительства
Н. Горбунов».

Рукой Луначарского было дописано: «Полномочия доставить мне». Урицкий наложил резолюцию: «Предоставить особые полномочия». В тот же день на бланке ВРК был напечатан мандат за № 2707:

«Военно-революционный комитет при ЦИК Совета р. с. и кр. д. уполномочивает художественную приемочную комиссию Зимнего дворца, под личной ответственностью Анатолия Васильевича Луначарского, производить розыски похищенных из Зимнего дворца ценностей в ломбардах, на рынках, у антиквариев с правом отбирать эти вещи, доводя об этом каждый раз до сведения Военно-революционного комитета»¹.

В эти-то дни, по-видимому, и заговорили на Литейном, на Моховой, на Бассейной о гофмейстере Верещагине — «слуге большевиков», — наметанный глаз Василия Андреевича и его сотрудников и впрямь сослужил тогда добрую службу революционной власти. Через некоторое время Художественно-исторической комиссией был закончен и список, с нетерпением ожидавшийся Ятмановым, «Список похищенных предметов, отличительные признаки которых могут облегчить случайную возможность их нахождения», и Военно-революционный комитет смог приступить к розыску в широких масштабах. В документе ВРК, датированном 11 ноября, содержится указание на то, что «по вопросу о массовых обысках в рынках для розыска похищенных в Зимнем дворце вещей предложено привлечь некоторые воинские части»; тем же 11 ноября датировано и предписание ВРК комиссару и полковому комитету гвардии Преображенского резервного полка: «Немедленно приготовить 1000 вооруженных солдат с офицерами для производства повального обыска Александровского рынка». Были обысканы все до одного рыночные помещения, все лавки, все лари, все рундуки; искали припрятанное оружие — конфисковывали; искали и реквизировали утаиваемое от властей продовольствие — оно передавалось в Центральную продовольственную управу; искали и находили похищенные дворцовые вещи — их доставляли в комендантство Зимнего дворца.

¹ Аналогичные полномочия получили 8 ноября комендант и правительственный комиссар Зимнего дворца: в приказе ВРК, подписанном Ф. Э. Дзержинским, указывалось, что оба они уполномочиваются производить розыски дворцовых ценностей «в ломбардах, на рынках, у антиквариев, а также в помещениях частных лиц, с правом отбирать эти вещи в присутствии представителей Художественно-исторической комиссии Зимнего дворца...»

В «Десяти днях, которые потрясли мир», рассказывая о принятых Советским правительством мерах для возвращения похищенного дворцового имущества, Джон Рид отмечает:

«Около половины пропавших вещей удалось разыскать, причем кое-что было обнаружено в багаже иностранцев, уезжавших из России».

16

Несколько десятков ящиков с драгоценными винами, эвакуированные гофмаршальской частью в Москву и пропитавшие пьяными ароматами залы Большого Кремлевского дворца, составляли ничтожную долю тех огромных винных запасов, которые впрок заготавливались в подвалах под Зимним дворцом для царского стола и придворных пиршеств. Дворцовые винные подвалы, до отказа набитые «душистыми соблазнами», тянулись и под Эрмитажем.

В начале ноября караулам, охраняющим Эрмитаж, придали пулеметчиков. Красногвардейские костры горели теперь не только на Миллионной, но и внутри эрмитажного двора. Обеспокоенный таким обилием костров, Толстой созвал на совещание персонал музея.

«Граф Толстой обратил внимание совещания на пожарную опасность от костров, устраиваемых около здания Эрмитажа и на эрмитажном дворе часовыми, охраняющими винный погреб, и красногвардейцами, несущими охрану на улице. Равным образом, графом Толстым была отмечена опасность от пулеметов, установленных около винного погреба».

— Ах, Дмитрий Иванович, из двух зол выбирают меньшее,—отозвался Ленц. В том же смысле высказались и остальные хранители.

«Из прений выяснилось, что снять в настоящее время охрану от винного погреба, а также вывезти погреб в другое место не представляется возможным из опасений погрома, могущего распространиться и на здание самого музея».

Разразившиеся в Петрограде «пьяные погромы» были, пожалуй, самым подлым тактическим средством, примененным буржуазией для борьбы с пролетарской революцией. «Буржуазия,—писал В. И. Ленин,—идет

на злейшие преступления, подкупая отбросы общества и опустившиеся элементы, спаивая их для целей погромов»¹. В антисоветском подполье изготовлялись зазывные листки с перечислением адресов винных складов, и листки эти тысячами распространялись по рынкам, толкучкам, трактирам, ночлежкам — всюду, где обыкновенно скапливалось отребье старого Петербурга. Подстрекаемые провокаторами банды рыскали по городу, сбивали замки, взламывали двери, набрасывались на даровое зелье. Пьяные громилы затевали поножовщину, кровавые побоища, грабили дома, магазины, прохожих, наводя на жителей смятение и страх. Особенно старались организаторы «пьяных погромов» спить солдат Петроградского гарнизона, чтобы ослабить вооруженные силы революционной столицы.

Винные погромы стали серьезной угрозой для социалистической революции, — буржуазная печать пророчествовала, что они приведут к гибели Советской власти. Для пресечения погромной эпидемии органы пролетарской диктатуры принимали решительные меры еще в ноябре, а в первых числах декабря Петроградский Совет образовал особый Комитет по борьбе с погромами, который возглавил В. Д. Бонч-Бруевич, один из ближайших помощников Ленина. В записке, посланной в Петроградский комитет партии, В. И. Ленин писал:

«Прошу доставить не менее 100 человек *абсолютно* надежных членов партии в комнату № 75, III этаж, — комитет по борьбе с погромами. (Для несения службы *комиссаров*.)

Дело архиважно. Партия ответственна. Обратиться в районы и в заводы»².

Дважды Петроград объявлялся на осадном положении. По улицам патрулировали броневики, красногвардейские отряды, балтийские матросы. Был отдан приказ стрелять по громилам без предупреждения. Волна винных погромов заметно спадала, еще одна козырная карта контрреволюции была бита.

«Пьяные погромы» начались в ноябре. Телефонное сообщение, переданное в Смольный из Совета рабочих и солдатских депутатов Адмиралтейского района 3 но-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 156.

² Там же, т. 50, с. 17.

ября и записанное в 11 часов 45 минут дежурным по ВРК, было первым сигналом бедствия:

«В Зимнем дворце разграблен винный склад. Караул перепился. Угрожает опасность, так как в складе миллионы бутылок»¹.

Царские винные подвалы, как магнит, притягивали ко дворцу все новые и новые пьяные орды. «Во избежание могущих быть беспорядков в районе Зимнего дворца и Эрмитажа» нарком Луначарский потребовал усиления охраны дворцовых зданий. Совместным приказом А. В. Луначарского и членов ВРК И. С. Уншлихта и М. Я. Лациса наружная охрана была возложена на воинские караулы Преображенского полка и специальные части Красной гвардии; тот же приказ от 6 ноября предписывал помощнику начальника Дворцового управления князю Ратиеву «обратить строжайшее внимание на внутреннюю охрану Зимнего дворца».

До преклонных лет довелось дожить Ивану Дмитриевичу Ратиеву, но и в глубокой старости, на заслуженном покое в родной Грузии, он не раз вспоминал послеоктябрьские дни, когда революционные матросы и солдаты величали его «товарищ князь», а нарком Луначарский выносил ему благодарность за сохранение народных сокровищ; вспоминал он и тревожный ноябрь семнадцатого года, бессменные дежурства по дворцу, пьяный гам, выкрики, брань потерявших человеческий облик людей, что ни ночь стекавшихся толпами к стенам Зимнего, отыскивавших замурованные проходы, крошивших ломами кирпичную кладку, через любой лаз добиравшихся к бочкам и бутылкам. Дворцовые подвалы, заставленные сотнями многоведерных бочек, тысячами бочонков, сотнями тысяч винных бутылок, казались тогда Ратиеву пороховыми погребами, которые вот-вот взлетят на воздух.

А главные винные склады Зимнего дворца были расположены, как нарочно, под Эрмитажем. Об этих огромных винных погребах и писала Лариса Рейснер в ноябре 1917 года:

«Их завалили дровами, замуровали сперва в один кирпич, потом в два кирпича — ничего не помогает.

¹ Ко времени Октябрьской революции в Петрограде насчитывалось ни много ни мало 570 винных складов и погребов. По данным Городской думы, общая стоимость хранимого в них колоссального количества всевозможных напитков достигала 50 миллионов рублей золотом. Примерно пятая часть этого винного океана таилась в подземных глубинах Зимнего дворца, под каменными сводами дворцовых подвалов.

Каждую ночь где-нибудь пробивают дыру и сосут, вылизывают, вытягивают, что возможно. Какое-то бешеное, голое, наглое сладострастие влечет к запретной стене одну толпу за другой... Со слезами на глазах рассказывал мне фельдфебель Криворученко, которому поручили защищать злосчастные бочки, о том отчаянии, о полном бессилии, которое он испытывал по ночам, защищаясь один, трезвый, со своим немногочисленным караулом против настойчивого, всепроникающего вожделения толпы. Теперь решили так: в каждое новое отверствие будет поставлен пулемет»¹.

В караулы наряжали сейчас одних красnogвардейцев: увы, солдаты Преображенского полка поддались искушению «зеленого змия» и через несколько дней были отстранены от несения караульной службы. Военный комендант Зимнего, сам преображенец, с горечью доложил Военно-революционному комитету: «Преображенский полк, охранявший Зимний дворец, пришлось убрать...» В Зимний дворец решено было направить моряков-балтийцев; командир и судовой комитет Гвардейского флотского экипажа получили предписание прапорщика Крыленко — народного комиссара по военным делам: «Прошу немедленно назначить караул из трезвых людей в количестве сорока человек для охраны винного склада в Зимнем дворце».

Матросы, придя на помощь красnogвардейцам, порасшвыряли пьяниц, набившихся в подвалы, но на следующую ночь все опять, как вчера: толпа, прущая на штыки и под пулеметы, новые лазы в стенах, мечу-

¹ Упоминаемый Ларисой Рейснер фельдфебель Криворучко (она ошибочно называет его Криворученко) уже успел проявить себя и раньше как деятельный защитник дворцового имущества от громил и мародеров. Свидетельствует об этом хотя бы заметка, напечатанная 1 ноября в газете «Новая жизнь»:

«Исполнительный комитет Гвардии Преображенского резервного полка сообщает следующее: в ночь с 25 на 26 октября на углу Миллионной улицы и Дворцовой площади был задержан неизвестный штатский, несший ящик, как оказалось, с ценными вещами, похищенными из Зимнего дворца. Неизвестному удалось скрыться, так как в этот момент открылась пулеметная стрельба, а похищенные вещи фельдфебелем Криворучко были представлены в Исполнительный комитет Гв. Преображенского резервного полка, через посредство которого сданы коменданту Зимнего дворца».

Когда начались «пьяные погромы», Военно-революционный комитет назначил фельдфебеля Ф. Криворучко помощником военного коменданта Зимнего дворца. Одновременно, 6 ноября, военным комендантом дворца был назначен прапорщик Преображенского полка Ляпин.

щиеся в темноте обезумевшие люди, пьяная вакханалия. Эрмитажу грозила неслыханная катастрофа; ставя перед Военно-революционным комитетом вопрос о вывозе из Зимнего дворца всех хранимых там напитков, А. В. Луначарский писал: «Нахождение в дворцовом винном погребе, помещающемся под зданием Государственного Эрмитажа, огромных запасов вин и всякого рода спиртных напитков, ввиду неоднократно бывших открытых массовых хищений содержимого в погребе и не прекращающихся попыток к хищениям, подвергает Эрмитаж и Зимний дворец безусловной опасности». Пожаром, взрывом угрожал даже какой-нибудь окуроч, брошенный в лужу ректификата: «...благодаря обилию в погребе чистого спирта может произойти взрыв, от которого несомненно пострадают Эрмитаж и Зимний дворец...»¹.

И Зимний, и Эрмитаж то и дело поминаются на заседаниях ВРК, как только речь заходит о «пьяных погромах». Дилемма: вывозить вино в Кронштадт, как предлагает Луначарский, при сложившемся в городе положении попросту невозможно, но и оставлять его в дворцовых подвалах тоже никак нельзя. Выход один: уничтожить вино на месте! О том, как это было сделано матросами-балтийцами, рассказывает П. Мальков, впоследствии комендант Кремля, а в ноябре 1917 года — комендант Смольного:

«...А тут и приказ подоспел: уничтожить запас вина в погребах под Зимним дворцом... Принялись моряки за работу: давай бутылки об пол бить, днища у бочек высаживать. Ломают, бьют, крушат... Вино разлилось по полу рекой, поднимается по щиколотку, по колено. От винных паров голова кругом идет, того и гляди очумеешь. А к Зимнему чуть ли не со всего Питера уже бежит разный люд: пьянчужки, обыватели, просто любители поживиться на дармовщину. Услышали, что винные склады уничтожают, и бегут: чего, мол, добру пропадать? Того и гляди опять в подвалы прорвутся... Вызвали тогда пожарных. Включили они машины, накачали полные подвалы воды и давай все выкачивать в Неву. Потекли из Зимнего мутные потоки: там и ви-

¹ А. В. Луначарский предложил вывезти винные запасы дворца в Кронштадт. «В целях ограждения от уничтожения народных художественно-исторических сокровищ Эрмитажа и Зимнего дворца,— писал он 13 ноября в Кронштадтский Совет рабочих и солдатских депутатов,— необходимо удалить из дворцового винного погреба огромные запасы вин, водок и чистого спирта».

но, и вода, и грязь — все перемешалось... День или два тянулась эта история, пока от винных погребов в Зимнем ничего не осталось».

Вечером 26 ноября Военно-революционный комитет заслушал доклад о Зимнем дворце:

«Удалось разогнать пьяных благодаря вмешательству балтийских матросов. Вино было уничтожено пришедшими матросами».

17

До середины ноября и сам Луначарский, и коллегия Наркомпроса, которую он уже создал и провел через Совнарком, продолжали работать в Смольном. «Я помню,— писал много лет спустя А. В. Луначарский,— как на одном из первых советов народных комиссаров Ленин сказал: надо, чтобы каждый ехал в порученное ему бывшее министерство, завладел им и живым оттуда не уходил, если будут посягать на то, чтобы вырвать у него порученную ему часть власти. Это была довольно прямая директива, и тем не менее в течение некоторого времени, приблизительно в 8—9 дней, мы не решались отправиться в министерство народного просвещения». Советскую власть в министерстве отказывались признавать не одни только высшие чины. «...Решительно все чиновники — какие-то допотопные архивариусы (и, кажется, две или три пожилые регистраторши) решительно заявили, что в тот же момент, когда ненавистный Луначарский переступит порог дворца у Чернышева моста, они уйдут оттуда, отрясая прах от ног своих, и посмотрят, каким образом ему и его невежественным большевикам удастся пустить в ход сложную машину, в течение столетий ведавшую просвещением народов российских...»

Луначарскому советовали занять министерское здание с помощью дюжины красногвардейцев, переарестовать злостных саботажников, но он все еще надеялся пзять без боя квалифицированный персонал министерства. «Хотелось сговориться по-хорошему хотя бы с некоторой частью его аппарата. Ведь жутко же было: надо управлять народным просвещением гигантской страны, а чиновников-то никаких и нет!»

Дни, однако, шли, день за днем, и когда выяснилось, что «согласовать большевистскую власть с чинов-

никами министерства народного просвещения» не удастся, коллегия Наркомпроса решила отправиться на приступ мрачного министерского дома. «Мы нашли там,—вспоминает Луначарский,—группу низших служащих, которые весьма дружелюбно, даже не без энтузиазма, приветствовали нас, а в основном — полную пустоту».

Министерские чиновники, предупрежденные о переезде Наркомпроса, загодя покинули свои департаменты, «уверенные, что это ненадолго и что одним из факторов предстоящего вскоре крушения власти большевиков явится как раз этот великий их исход из камер и коридоров министерства». Низшие служащие, дружелюбно встретившие новую власть, были, главным образом, курьеры, истопники, дворники. А немногие чиновники, продолжавшие ходить в присутствие, скрипели перьями больше для видимости...

Следовало что-то предпринять и с бывшим министерством императорского двора. Министерство это, безмятежно просуществовавшее вплоть до Октябрьской революции, было передано под начало наркома по просвещению, потому что в ведении дворцового ведомства все еще оставались и бывшие императорские театры, и Академия художеств, и Археологическая комиссия, и бывшие придворные оркестры, и Придворная певческая капелла, и Эрмитаж — бывшая царская собственность, и царские дворцы, которым теперь предстояло стать музеями. Но в том же дворцовом ведомстве, к немалому удивлению Луначарского, по сей день функционировали как ни в чем не бывало загадочные учреждения, от одних названий которых так и веяло феодализмом: «Камеральная часть», «Церемониальная часть», «Гофмаршальская часть», «Капитул императорских и царских орденов», «Императорская охота»... Фантазмагория: в десятках таинственных канцелярий какие-то тени невозвратного прошлого ведут загробное существование!



— О Рюдмане еще не слышали, Дмитрий Иванович?

Только вчера господину Рюдману, исполняющему обязанности комиссара Временного правительства над бывшим министерством императорского двора, был послан пакет из Эрмитажа, копия рапорта о поездке в Москву академика Смирнова, и вот что сегодня рассказывает графу Толстому обескураженный князь Га-

гарин: в министерстве Рюдмана уже нет, за его столом сидит большевистский комиссар.

— Что в наши дни человек, даже человек в летах и чинах? — былинка! Сколько лет действительный статский советник Рюдман верой и правдой служил в кабинете его величества, дослужился бы, безусловно, до тайного советника, и вдруг — на все четыре стороны, коленкой под зад...

Гагарин в черной меланхолии, Толстой пытается его приободрить; увольнение Рюдмана — факт неприятный, но нет оснований придавать чрезмерное значение этому инциденту; через неделю-другую, максимум через месяц, сослуживцы с почетом, под локотки проведут своего изгнанного шефа по коврам дорожкам к самому его креслу; Рюдман даже выгадает в общем мнении — терновый венец кому не к лицу?

Большевистского комиссара, присланного Луначарским в министерство двора, Гагарин еще не видел.

— Говорят — безусый мальчишка!

Толстой предложил князю совместно навестить Рюдмана, чтобы выразить ему неизменное почтение и заодно разведать подробности.

Сочувственных слов произносить не пришлось. О том, как его увольняли, Рюдман рассказывал со смехом:

— Водевиль, господа, водевилы! Входит ко мне дитя в офицерской шинели и с места в карьер: «Признаете Советскую власть?» Отвечать я не стал — много чести, указал на дверь. А дитя оказалось с норовом: «Считайте себя уволенным, сдавайте дела!» Не анекдот ли, господа?

— Анекдот в духе времени, — уточнил Толстой.

Луначарский звал его Юрочкой. «Мне тогда было двадцать два, но выглядел я года на четыре моложе своих лет», — вспоминает ветеран большевистской партии Юрий Николаевич Флаксерман. В Смольном, краткости ради, его называли еще и Флаксом.

Партийно-политической работой он занимался в Петрограде с лета семнадцатого года, руководил петергофской организацией большевиков, затем был избран членом и секретарем окружного исполкома Советов Петроградской губернии. В октябре, когда Ленин, разыскиваемый Временным правительством, тайком переехал из Финляндии в Питер, Стасова поручила Юрию

Флаксерману охранять конспиративное заседание ЦК, на котором был решен вопрос о вооруженном восстании в Петрограде.

За день до штурма Зимнего дворца Григорий Чудновский, член тройки, выделенной Петроградским ВРК для оперативного руководства восстанием, сделал Флакса своим заместителем по Преображенскому полку. Зимний был взят, и, перейдя в штаб Петроградского военного округа, Флакс выполнял задания Подвойского и Антонова-Овсеенко.

Против казарм Преображенского полка — по ту сторону Зимней канавки — высится здание музея; окна штаба военного округа выходят на Дворцовую площадь; глядя в те дни на Эрмитаж и на Зимний дворец, Юрий Флаксерман никак не предполагал, что через совсем короткое время именно он, Юрочка Флакс, станет помощником Луначарского по ведомству дворцов и музеев.

Случилось это в середине ноября, когда наркомы переезжали в порученные им бывшие министерства.

— Юрочка, зайдемте ко мне, — сказал Луначарский, встретив Флаксермана в коридоре Смольного. Луначарскому нужен был энергичный комиссар для дворцового ведомства. — Справитесь, Юрочка?

«Я еще ни разу в жизни не бывал ни в одной канцелярии, совершенно не был знаком ни с каким делом, не имел никакого представления и о том, какие учреждения входили в состав бывшего царского министерства двора... Оказалось, что и сам Луначарский знал об этом министерстве немногим больше, чем я».

Почему-то Луначарский решил, что главное учреждение дворцового ведомства — камеральная часть. «Я, Народный комиссар просвещения, — продиктовал он мандат, — назначаю тов. Флаксермана Юрия Николаевича комиссаром камеральной части бывшего министерства двора». Но назавтра Флаксерман доложил наркому, что камеральная часть является всего-навсего кладовой царских драгоценностей и входит в состав бывшего кабинета его величества, который действует и поныне: после Февральской революции были ликвидированы лишь личные канцелярии царя и царицы, а весь остальной аппарат министерства Керенский полностью сохранил. Мандат пришлось передиктовать. «Я получил новый мандат, которым был назначен помощником народного комиссара просвещения по ведомству дворцов и музеев республики, комиссаром бывшего министер-

ства двора, а также бывшего царского кабинета. На другой день утром, явившись в кабинет, я уволил с работы Рюдмана».

Рюдману под стать и князь Гагарин. С Гагариным, начальником министерской канцелярии, и с его заместителем бароном Штакельбергом Флаксерман столкнулся позже, когда реорганизовывал дворцовое ведомство, упразднял отжившие свой век учреждения, создавал советский аппарат для управления дворцами и музеями.

— Знаете, Юрочка, на вас поступила жалоба,— сказал однажды Луначарский, скрывая улыбку, своему молодому помощнику. — Жалуются князь Гагарин и барон Штакельберг: они не саботировали, а вы их незаслуженно уволили. Сегодня в полдень они придут сюда...

По делам дворцового ведомства нарком Луначарский принимал уже в Зимнем дворце, в комнатах так называемой Детской половины, подъезд которой выходил на набережную.

«В двенадцать часов явились выложенные князь Гагарин и барон фон Штакельберг,— рассказывает Ю. Н. Флаксерман. — На вопрос Луначарского, что они делали раньше и что они могли бы делать теперь, князь Гагарин сообщил, что основная их работа заключалась в подготовке докладных записок, которые министр двора докладывал царю. Луначарский заметил:

— Но ведь прошло восемь месяцев, как нет министра двора. А все записки я диктую сам. Мне их не нужно составлять.

В этом духе беседа продолжалась еще несколько минут, затем князь и барон откланялись, и больше мы их не видели».

Гроза, обрушившаяся на высших чинов министерства, обошла стороной бывшего Второго обер-церемониймейстера двора его императорского величества графа Дмитрия Ивановича Толстого. Он продолжал оставаться директором Государственного Эрмитажа, перешедшего в ведомство дворцов и музеев республики.



Ноябрь близится к концу — рабоче-крестьянское государство существует уже целый месяц. Юбилейная дата небольшая, но все же — юбилей.

«Я работал тогда в Наркомпросе у Анатолия Васильевича,—вспоминает Михаил Кольцов,—и мы пришли в здание министерства просвещения в Петрограде на собрание, посвященное 30-дневному юбилею советской власти».

Старожилов министерского здания в парадном зале собралось немного — даже те чиновники, которые не саботируют и «пока что» исправно ведут делопроизводство, нисколько не верят в долговечность Советского государства. Как пронять их закостеленные души?

Нестерпимо холодно в давно не топленном зале, но Луначарский снял пальто, бросил на спинку стула. В огромной хрустальной люстре, свисающей с лепного потолка, тускло мерцает единственная лампочка, и лица чиновников, намеренно рассеявшихся поодаль, Луначарскому не видны.

«Перед этой странной аудиторией, в этом полупризрачном зале народный комиссар Луначарский произносит речь на тему о том, что вот советская власть держится уже целых тридцать дней. Чего только не мобилизовал Луначарский, чего только не привлек в свою речь по случаю тридцатидневного юбилея! Говорил о семи днях, в которые господь создал мир, о сорока днях потопа, о ста днях Наполеона, о семидесяти днях Парижской коммуны... Чиновники впервые в жизни видели говорящего министра. И как говорящего!

Последние слова нарком произнес под гром аплодисментов:

— Товарищи! Наши враги предсказывали, что мы не сможем продержаться больше трех дней. Другие, более сдержанные, пророчили нам не больше двух недель. Вы видите: мы держимся уже целый месяц, и я вас заверяю, что если вы придете сюда через три месяца, то мы еще тоже будем держаться».

Собрание еще не кончилось, когда приехавший в Наркомпрос комиссар Ятманов передал Луначарскому записку: пожарные перекачивают в Неву последние бочки вина из подвалов Зимнего дворца.

Декабрьскими ночами небо над Петроградом еще окрашивалось порой то там, то здесь заревом горящих винных складов, но с эрмитажного двора уже убраны

пулеметы и залиты водой беспокоившие Толстого костры. Берданка, с которой дежурили в ноябре хранители, лежит сейчас в небрежении где-то за нераспакованными ящиками в вестибюле. Главный подъезд по-прежнему наглухо закрыт; эрмитажные ходят к себе через неприметную дверь возле арки над Зимней канавкой.

Толстой теперь навещается в музей не ежедневно, а два-три раза в неделю. Он остерегается ездить в трамваях, набитых матросней, солдатем, всяким сбродом, и племянники выискали ему какие-то нелепые боты, укороченные валенки, без которых не добраться до Эрмитажа по занесенным сугробам улицам.

«Не сделали бы что-нибудь с тобой, когда ты ходишь в Эрмитаж», — пишет ему Елена Михайловна из Киева. Киев, Киев, град стольный! Центральная Рада разоружила красных, и кое-кто уже подался из Петербурга в Киев, близкие ему люди. Офицеры — те отовсюду пробираются на юг, к генералу Каледину, атаману войска Донского. Каледин на Дону, Дутов на Урале, да и в самом Петербурге есть еще силы, чтобы отвлечь Россию от большевизма. Рано еще впадать в отчаяние, раздирать власяницы и посыпать главу пеплом...

«Аресты в Петербурге меня ужасно пугают», — пишет ему Елена Михайловна. За себя он спокоен: он не политический лидер, он — музейный деятель, директор Эрмитажа. А графине Паниной, схваченной большевиками, он от души сочувствует: страстотерпица, великомученица! Незадолго до переворота Софья Владимировна побывала в Эрмитаже, — он счастлив, что сумел оказать ей тогда небольшую дружескую услугу.

Известная всему Петербургу графиня Панина была заключена под стражу 28 ноября — в этот день Ленин подписал декрет об аресте вождей гражданской войны против революции: «Члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, подлежат аресту и преданию суду революционных трибуналов»¹. Совнарком утвердил текст правительственного сообщения: «На Урале и на Дону Корнилов, Каледин и Дутов подняли знамя гражданской войны против Советов... Прямая гражданская война открыта по инициативе и под руководством кадетской партии...»

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 126.

Изысканно обставленный особняк на Сергиевской улице, принадлежавший графине Паниной, в ноябре семнадцатого года стал штаб-квартирой контрреволюционных сил. Панина была одним из лидеров партии кадетов, и в ее доме тайно собирались выпущенные из Петропавловской крепости экс-министры свергнутого Временного правительства, кадетские вожди — свои, петербургские, и наезжавшие в Петербург из Москвы. В особняке на Сергиевской составлялись антисоветские манифесты и прокламации, плелись заговоры против рабоче-крестьянской власти.

Когда политические друзья и единомышленники графини Паниной сошлись у нее на первое секретное совещание, им сразу же бросилось в глаза, что со стен гостиной, столовой, кабинета исчезли лучшие картины, которыми славилась в Петербурге панинская коллекция. Нет ни Пуссена, ни Клода Лоррена, ни Буше, ни Рибейры, ни Сурбарана, ни Наттье, ни Альбани...

— Я все передала в Эрмитаж, — отвечала на расспросы Софья Владимировна.

В этом-то и заключалась услуга, оказанная ей графом Толстым: за несколько дней до октябрьских событий знаменитые полотна, гордость ее собрания, были перевезены с Сергиевской на Миллионную. От Паниной потребовалось лишь короткое письмо:

«Принимая во внимание обстоятельства настоящего времени и желая по возможности предохранить от порчи и гибели имеющиеся у меня ценные картины старинных иностранных мастеров, прошу дирекцию Эрмитажа вывезти их из Петрограда или принять на хранение».

Вывезти картины не удалось, и с согласия Софьи Владимировны они были сложены в отдельную кладовую.

К письму графини Паниной вскоре присоединились и другие подобного же рода прошения, адресованные графу Толстому: на попечение любезнейшего Дмитрия Ивановича оставляли свои художественные коллекции князья, графы, бароны, поспешно покидавшие большевистский Петроград, — кто убежал в Киев, кто — на Дон, кто — в Финляндию. В Эрмитаже тем только и занимались в декабре, что составляли описи произведениям искусства, сдаваемым в музей «на временное хранение». Скрепляя своей подписью сохранные расписки, граф Толстой желал невольным путешественникам скорейшего возвращения. Что до него — он оста-

нется в Петербурге: он хочет стоять у Александрийского столпа с поднятой головой, когда над Зимним дворцом снова взвьется трехцветный русский флаг.

В Эрмитаже у Толстого весьма важные дела. Два-три раза в неделю он непременно наведывается в Эрмитаж.

Выкроив время, Луначарский прошелся с Ятмановым по Зимнему дворцу,—хорошо бы уже в начале нового года раскрыть двери дворца для питерского пролетариата. Дворец Искусств!—широкие народные массы будут здесь приобщаться к искусству во всех его проявлениях. Выставки, лекции, концерты. Тысячи зрителей, тысячи слушателей в Николаевском зале, в Концертном, в Гербовом...

С эмпиреев — на землю. Ятманов, прервав Луначарского, заводит разговор об ассигнованиях — и не на будущий год, а на текущий месяц. Он подсчитал, сколько еще в нынешнем декабре придется израсходовать на охрану дворца, на ремонт: суммы немалые, а денег ни гроша.

— Сижу как рак на мели, Анатолий Васильевич.

Опять эти проклятые деньги! Бюджетная жизнь Наркомпроса никак не налаживается, средства и кредиты дворцового ведомства не уточнены; в комиссариате финансов каждый рубль на счету, и не все товарищи понимают, зачем нужно в столь трудную пору тратить тысячи на бывший царский дворец.

И все-таки — нужно!

«...Я уже обращался два раза к Народному Комиссару по финансам с просьбой ассигновать заимообразно из средств Казначейства 2.000 рублей на покрытие уже произведенных расходов по охране Зимнего дворца.

Новые нужды выясняются каждый день.

Покорнейше прошу Совет Народных Комиссаров распорядиться особым декретом о выдаче в мое распоряжение фонда в 15.000 рублей...»

Письмо, направленное 8 декабря в Совнарком, было подписано народным комиссаром А. Луначарским

и секретарем Наркомпроса Д. Лещенко. Перед самым началом заседания Совета Народных Комиссаров под этим письмом появилась и третья подпись:

«Предс. Совнаркома В. Ульянов (Ленин)».

Своей подписью Ленин как бы присоединялся к просьбе Луначарского.

Вопрос был решен положительно, и Ленин черкнул на белом поле письма:

«Утвердить. В. Ульянов».

О Ленине, который в ту трудную пору всегда помогал Наркомпросу, Луначарский писал:

«Когда приходилось слишком горько, когда казалось, что отсутствие средств денежных и человеческих делает положение отчаянным, я отправлялся жаловаться ему, требовать внимания и помощи, добивался того, чего добиться при тогдашних горьких условиях было можно, а вместе с тем видел его спокойную, радостную улыбку и слышал от него какую-нибудь из тех замечательных фраз, которые так и остались у меня в сознании, как написанные золотыми буквами, и которые горят там и теперь, фразу вроде такой, например: „Ничего, Анатолий Васильевич, потерпите, когда-то у нас будет только два громадных наркомата: наркомат хозяйства и наркомат просвещения, которым даже не придется ни в малейшей мере ссориться между собою“».



В декабре семнадцатого года многочисленные учреждения бывшего дворцового ведомства отошли от Наркомпроса: был образован новый наркомат — имуществ Республики. Фактически, однако, ничего не изменилось. В постановлении, подписанном 16 декабря обоими наркомами, говорилось:

«Имея в виду неразрывную связь, соединяющую учреждения ведомства народного просвещения и бывшего министерства двора, а ныне ведомства имуществ Республики (как, например, театры, музеи, Академия художеств, исторические дворцы), лишь в силу исторических условий не относящихся к ведомству просвещения, — Народные Комиссары этих ведомств, с ведома и согласия Совета Народных Комиссаров, постановили

управлять всеми смежными учреждениями по соглашению»¹.

Эрмитаж, как и раньше, оставался заботой Луначарского: безжизненный музей — в Петрограде, эрмитажные коллекции — в Москве.

Комнатка в нижнем этаже Кавалерского корпуса — штаб и дом «стражей кремлевских сокровищ», моссветовской комиссии по охране памятников искусства и старины. И у Малиновского, председателя комиссии, и у его заместителя Орановского дни и ночи слились воедино: обходы, обходы, обходы... О сне забыли; если спали, то не раздеваясь, положив на диван связку бумаг вместо подушки и придвинув поближе стул с полевым телефоном.

«По ночам, — вспоминает Орановский, — ...приходилось раза по два обходить внутренние караулы Большого Кремлевского дворца. Ценности Эрмитажа и других хранилищ Петрограда, не говоря о собственно московских ценностях, хранились в нем. На воинскую часть, стоявшую в Кремле, было не слишком много надежд. Солдаты уходили с постов, где было холодно стоять... Военная комендатура сразу не могла нам многим помочь.

В таком положении нас застал конец семнадцатого года.

Все так же приходилось вскакивать по ночам с дивана в своей рабочей комнатке на гудки полевого телефона, так же, зябко ежась, идти ночным дозором по промерзшим бесконечным залам Большого Кремлевского дворца, проходить по царским теремам, спускаться до подвалов, проверяя, а иногда и заменяя кара-

¹ Народным комиссаром имуществ в декабре 1917 года был назначен левый эсер В. А. Карелин. Вся работа Карелина в наркомате, как вспоминает Ю. Н. Флаксерман, свелась к написанию четырех приказов: «Первым приказом он объявил о вступлении в должность. Вторым назначил меня своим заместителем. Третьим приказом устанавливался новый режим заключения бывшего царя Николая Романова в Тобольске... Последним, четвертым приказом Карелин возлагал на меня руководство наркоматом в связи с его отъездом на мирные переговоры в Брест. Этими четырьмя приказами и ограничилась деятельность Карелина как народного комиссара имуществ Республики». В марте 1918 года, не подчинившись решению IV Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов по вопросам Брестского мира, Карелин вместе с другими левыми эсерами вышел из состава Совнаркома и вскоре стал одним из руководителей антисоветского левоэсеровского мятежа.

ульных... Спать приходилось только урывками. Слишком велика была ответственность за вверенные нам революцией ценности».

Семнадцатый год на исходе. Декабрьские выюги занесли сугробами гранитные ступени наглухо закрытого подъезда Эрмитажа. Эрмитажные коллекции в Москве, и время от времени Луначарский получает успокоительные известия от товарищей-москвичей, опекающих за стенами Кремля художественные сокровища Советской России.



На календаре — 31 декабря.

Советская власть держится уже шестьдесят восемь дней.

Грузовик промчался по Дворцовой площади и резко затормозил у гранитных атлантов на Миллионной. Матрос, опоясанный пулеметными лентами, перемахнул через борт и, по колено утопая в неубранном снегу, поднялся к высокому эрмитажному подъезду. Дверь была заперта. Он позвонил, минуты две не отнимал палец от кнопки звонка — никто не отзывался. Тогда он раз-другой ударил по двери прикладом винтовки. Загромыхали засовы, матрос рванул дверь на себя и, отжав плечом швейцара в галунной шинели, чертыхаясь и поминая всех святых, ворвался в здание музея.

В вестибюле он долго бил сапогом о сапог, отряхивая налипший снег на мраморные плиты. Затем он потребовал свести его к самому главному что ни на есть здешнему начальству. Услышав в ответ, что «их сиятельство граф Дмитрий Иванович еще не изволили прибыть», матрос присвистнул, снова помянул господ бога и велел вести его хоть к кому-нибудь.

— К Эрнесту Карлычу тебя, что ли? Они как раз заступили на дежурство.

Что ни дверь — новое зало. Нигде ни души. В просторной комнате, указанной ему швейцаром, матрос приметил длинного, как жердь, старика в башлыке и

гарусной шали за огромным — что твои полаты — столом.

Старик приподнялся с кресла:

— Чем могу служить?

Прислонив винтовку к стене, матрос достал из-под бушлата перевязанный бечевкой сверток. Размотал бечевку, сорвал обертку и бережно поставил на зеленое сукно стола бронзовую статуэтку — женщину с повязкой на глазах и чашами весов в протянутой руке.

— Буржуйскую квартиру заняли под комиссариат, а там — статуя. Давай, дед, пиши расписку.

И без лупы можно разглядеть фабричное клеймо, выдавленное у ног бронзовой Фемиды. Изделие петербургской фабрики Шопена. Массовая отливка. Дребе-день.

— Дело, видите ли, в том, милостивый государь...

— Пиши, пиши, не волнынь, — оборвал матрос, перекидывая винтовку через плечо, и старик оторопело взялся за перо.

«За целость сданного в музей произведения искусства, — написал он под диктовку матроса, — отвечаю головой». И подписался, как потребовал матрос, с полным обозначением своей должности в музее: «Э. Липгарт. Хранитель Отделения картин».

— Ну, дед, бывай здоров!

Имя старшего хранителя Эрмитажа академика живописи Эрнеста Карловича Липгарта было известно во всех художественных музеях мира. Эрмитажные ученые отнюдь не льстили, а только отдавали должное своему маститому коллеге, когда почтительно писали ему: «Ваша эрудиция и вкус позволили Вам извлечь из неведения много художественных произведений, безымянных, без преданий об их мастерах, дожидавшихся Вашего чуткого глаза. Вы открыли этих мастеров, назвали их и тем возродили их к новой жизни. Вам принадлежит высокая честь открытия и обоснованного определения автора „Мадонны Бенуа“ — Леонардо да Винчи. Ваша работа о ней явилась поворотным пунктом в исследовании юношеских произведений Леонардо. Благодаря Вашей аргументации „Мадонна Бенуа“ является единственной из ранних картин Леонардо, атрибуция которой может считаться общепризнанной всеми компетентными знатоками. А заступничество Ваше за другое произведение мастера — за „Ма-

донну Литту“ — поставило на новую основу одну из важнейших леонардовских проблем... Не перечислить всех Ваших открытий»... Научные работы Э. К. Липгарта в русских и иностранных изданиях снова и снова привлекали внимание всего ученого мира к сокровищам Эрмитажа.

В январе восемнадцатого года Эрнесту Карловичу было уже за семьдесят, но груз своих лет он стал ощущать лишь недавно, минувшей осенью, в нервные месяцы эвакуации музея. И в сентябре, и в октябре день за днем бродил он как неприкаянный по Картинной галерее, среди служителей, упаковывавших эрмитажные шедевры. Он словно участвовал в похоронах всего, что любил. Одну ночь, а затем и другую, еще более темную и холодную, простоял он у подъезда на Миллионной, провожая отъезжавшие грузовые автомобили. Погребальные дроги! Чтобы не присутствовать еще на одном выносе, он сослался на свой возраст и 25 октября весь день провалялся в постели. Дневные часы он провел в состоянии вялой дремоты, а вечером, опасаясь, что сна больше не будет, принял снотворное, патентованные швейцарские пилюли, и потому только утром узнал о канонаде на Неве, о большевистском перевороте, о драматических переживаниях своих сослуживцев в осажденном со всех сторон Эрмитаже.

Неделю он не выходил из дому, сказался больным. Но заняться чем-либо даже дома было ему не в силу. Все, на что его хватало, это — ворошить прошлое. Он часами копался в завалах письменного стола, извлекая из ящиков то счет от портного, оплаченный полвека назад, то измятые программки бегов с перезабытыми именами фаворитов, то пригласительный билет на благотворительный вечер с лотереей-аллегри в пользу неимущих художников, то корешки использованных чековых книжек. Прелая листва на дорожках прожитой жизни! Ему помогли снять с антресолей старые путевые альбомы в пропыленных холщовых переплетах, и беглые *croquis*¹, давно им позабытые, переносили его из Венеции в Неаполь, из Падуи в Равенну, из Флоренции и Рима в Мадрид. Золотые дни Аранжуэца!

Если сосчитать дни, недели, месяцы, проведенные в Прадо, в Уффицих, в Ватиканской галерее, в мюнхенской Пинакотеке — полжизни составит, пожалуй. Он листал каталоги парижских «Салонов» семидесятых,

¹ Наброски (франц.).

восьмидесятих годов: *la voilà*¹ — его «Вакханка», его «Клеопатра»! Он перечитывал пожелтевшие письма, развязывал пачку за пачкой, — письма от давно ушедших сверстников и друзей (боже, как он устал хоронить!), от ныне здравствующих коллег, рассеянных по всем столицам европейского мира, пространные письма от Вентури и Фриццони, послания-трактаты от самого Вильгельма Боде, генерального директора и научного руководителя Берлинского музея, адресованные его превосходительству Эрнесту фон Липгарту, «дорогому и высокочтимому другу». Переписку с Боде прервала злосчастная война с Германией, — к чему все эти войны? К чему все эти ужасные войны, к чему все эти революции?

Слухам о том, что в подвергнутом бомбардировке Московском Кремле погибли эрмитажные коллекции, он поверил сразу. Облачившись в черный костюм и прикрепив к лацкану сюртука ленточку крепа, Эрнест Карлович, впервые после переворота, направился в Эрмитаж.

— Иду на панихиду, — сказал он домашним.

В Эрмитаже он стал бывать теперь каждый день — с полудня до вечерних сумерек. Ждал, как и все эрмитажные, сообщений из Москвы, чтобы отчетливо представить себе масштаб постигшей музей катастрофы. Лишь изредка поднимался он к себе, в пустую Картинную галерею, давно обезлюдившую, с оголенными стенами — храм без божества! Он усаживался в кресло где-нибудь в зале испанской или итальянской живописи, устраивался поудобнее, закрывал глаза и, как медиум, на спиритическом сеансе, вызывал поочередно «Юдифь» Джорджоне, «Святого Себастиана» Тициана, «Блудного сына» Сальватора Розы, «Девушку с лютней»² Караваджо, пока не оживала стена за стеной — каждое полотно на том месте, которое было предназначено ему последней перевеской 1912 года. Столоверчение, мираж, фата-моргана! Стоит приоткрыть глаза — и снова ты среди пустых безжизненных стен...

Одним из первых поставил Эрнест Карлович свою подпись под бумагой, которой Эрмитаж объявлял бойкот большевистской власти, — никаких сношений с узурпаторами. Он не сошел с этой позиции и после того, как узнал о полной сохранности эрмитажных вещей в

¹ Вот она! (Франц.)

² В более поздних каталогах — «Юноша с лютней». — *Ред.*

кремлевских хранилищах: счастливая случайность единожды спасла сокровища Эрмитажа, но идентичные чудеса не повторяются дважды. «Полагая для себя невозможным пользоваться более привилегией, предоставленной мне по возрасту,—обратился он к директору музея графу Толстому,—покорнейше прошу Ваше Сиятельство присоединить меня к составу хранителей, определенных Вами для несения дежурств по музею как в дневные, так и в ночные часы».

В прежние времена он заезжал в Эрмитаж экспромтом, по настроению, только в удобный для него день и час. Теперь он свято соблюдал часы своих дежурств. Когда-то за ним присылали казенный экипаж — теперь он семеня по грязным петербургским улицам, с которых словно бы ветром сдуло нарядную толпу, рысаков, лакированные ландо, шлепал по лужам мимо магазинов с внезапно опустевшими витринами, с заколоченными крест-накрест дверьми, примечая с грустью, как у него на глазах умирает блистательный Санкт-Петербург.

Осеннюю морось и мокрый снег сменили ранние морозы. С наступлением зимы Эрнест Карлович стал приходить на дежурство в гарусной шали поверх пальто и в башлыке поверх шапки. Vieux rompiеr, старая развалина,—в этой амунии и перевезет его Харон в царство теней. Прежде, поднимаясь к себе в Картинную галерею, он не останавливался каждые пять ступенек. О, если бы можно было все предвидеть! Разве мало в Европе прекрасных городов, где он постоянно чувствовал себя дома,—никто нигде не принимал его за чужестранца. О кошмарах русской революции он узнавал бы за рюмкой аперитива,—маленькое кафе, а поблизости, за углом, где-то совсем рядом — святые места человечества, те же Уффиции, тот же Прадо. Истинный артист всегда космополит, и свет не клином же сошелся на Эрмитаже. Но тотчас — вопреки всякой логике — он ловил себя на мысли, что сегодня этот угасающий музей в агонизирующем Петербурге, что этот околевающий Эрмитаж ему сегодня дороже всех Лувров мира.

Зимой он ночью не дежурил — только днем.

В музейных залах та же холодина, что и на улице,—мороз пробирает до самых костей. Делать в часы дежурств абсолютно нечего — Эрнест Карлович часами сидит за своим огромным столом и, нахохлившись, как марабу, беззвучно шевелит стариковскими губами — ре-

петирует речь, полную яда, гневную филиппику, давно заготовленную на тот случай, если большевики все же вторгнутся в музей, будь то сам господин Луначарский. Но все отрепетированные тирады мгновенно вылетели из головы, когда он увидел перед собой *se diable de matelot*, этого чертова матроса — с гранатой у пояса, с винтовкой в руке, с богиней правосудия под полою бушлата.

— Ну, дед, бывай здоров!

Спрятав расписку, матрос вышел так же стремительно, как и вошел. А старый эрмитажный ученый, первооткрыватель «Мадонны Бенуа», долго еще не сводил глаз с рыночной дешевки, отныне доверенной его попечению. *Sancta Maria, mater Dei!* «Отвечаю головой!» Плакать или смеяться?

О грозном матросе, вломившемся в запертый Эрмитаж, не раз рассказывал потом сам Эрнест Карлович. Рассказчик он был отменный — его редкий имитационный дар восхищал артистический Петербург еще во времена знаменитого Горбунова. «Художник Эрнест Карлович фон Липгарт, впоследствии хранитель Эрмитажа, мастерски умел рассказывать... — вспоминает И. Э. Грабарь. — Липгарт совершенно без акцента говорил по-немецки, по-французски, по-английски, по-итальянски и по-испански. Он был феноменальным полиглотом. Самым блестящим из его вечерних номеров была имитация заседания какого-то международного конгресса. Он удалялся в соседнюю комнату и, меняя голос, манеру и все повадки, произносил соответствующие случаю речи на разных языках, то безукоризненно чисто, то смешно их коверкая. Можно было пари держать, что в соседней комнате не один человек, а десяток». Свой диалог с матросом Эрнест Карлович тоже изображал в лицах. Первоначально это была сценка-буфф — «двадцать минут наедине с пещерным человеком». От раза к разу подробности варьировались — фактическая основа оставалась неизменной. Но позднее кардинально изменилась и общая трактовка сюжета: оба участника диалога как бы поменялись ролями — матрос утратил свои «пещерные» черты и представлял перед слушателями в наивно-трогательном обличье, подвижный чистейшими, наибогороднейшими побуждениями, а троглодитом, вымершим ископаемым доисторических времен Эрнест Карлович начал выставять самого себя. Сколь-

ко, однако, воды должно было утечь с того памятного дня первой большевистской зимы, чтобы не один Эрнест Липгарт, но и другие маститые эрмитажные ученые перестали шарахаться от большевиков и чураться народной власти, хоронясь от нее, как в неприступной крепости, за стенами «своего» Эрмитажа!

2

Ленин сказал Луначарскому:

— Совершенно необходимо приложить все усилия, чтобы не упали основные столпы нашей культуры, ибо этого нам пролетариат не простит.

Сказано это было главой Советского государства в трудном, голодном и холодном восемнадцатом году. Излагая содержание своей беседы с Лениным, касавшейся сперва театральных, а затем и музейных дел, А. В. Луначарский пишет:

«Ленин стоял на той точке зрения, что мы должны позаботиться в первую очередь о том, чтобы не распались музеи, которые хранят громаднейшие ценности...»

Конечно же, говоря об «основных столпах нашей культуры», Ленин имел в виду и петроградский Эрмитаж.

Во что бы то ни стало сберечь Эрмитаж в пору революционной ломки всего старого жизненного уклада — такова была государственная задача, возложенная партией на Луначарского еще в первые октябрьские дни. Задача нелегкая, — к счастью, она как нельзя более отвечала личным качествам большевистского наркома, масштабам его эрудиции, его такту, всему складу его художественно-артистической натуры.

Сберечь Эрмитаж! — с Военно-революционным комитетом Луначарский обсуждал неотложные меры по охране музея, инструктировал комиссаров ВРК, призывал художественную общественность к совместной работе, слал благодарственные письма красногвардейцам, несшим караул вокруг Эрмитажа. И мечтал — каким станет Эрмитаж в будущем, казавшемся ему недалеким. Парадоксально: величайший музей в Петербурге он знает хуже, чем многие другие мировые музеи. Гонимый полицейскими ветрами прочь из царской России, он немало скитался на своем веку по дорогам Европы, подолгу жил несладкой жизнью русского революционера-эмигранта то в Швейцарии, то во

Франции, то в Италии,—где только не доводилось ему побывать! Венера Милосская «выпрямляла» его в Лувре; Рембрандт в Амстердаме, Гааге, Гарлеме захватывал его глубиной постижения духовных драм человека; титаны Возрождения во Флоренции и Риме поддерживали живую веру в мощь раскованной личности в ее борениях против всяческого мрака. Но шедевры Эрмитажа, всемирно известные эрмитажные Рембрандты, Рубенсы, Тицианы, Рафаэли, эрмитажные собрания греческих и римских антиков были известны ему лишь по отливающим коричневым глянец фотографическим снимкам. Так уж сложилась его биография: за свою сорокадвухлетнюю жизнь он провел в Санкт-Петербурге, столице Российской империи, всего несколько месяцев, и то в боевую страду первой революции, когда Трепов забил жандармским гвоздем вход в Эрмитаж — императорский музей. Каков же будет Эрмитаж советский, народный?! Для миллионов пролетариев — отверстые врата в царство красоты...

Донельзя жаль, что музейные деятели присоединились к чиновничьему саботажу. В перспективе все рисовалось совершенно по-другому — он не забыл мужественное поведение эрмитажных ученых в ночь Октябрьского штурма: оставались в музее, несомненно руководствуясь высоким сознанием гражданского долга. Но потом — через день-другой, через какую-нибудь неделю — этот демонстративный, открыто прокламированный бойкот, высокомерный отказ от любых сношений с комиссарами, от любых контактов с Наркомпросом. Неожиданна ли такая эскапада музееведов? Ее следовало предвидеть — ведь были же исторические примеры...

Однажды, еще в ноябре, когда комиссар Ятманов, занимавшийся охраной дворцов и музеев, в сердцах выложил Луначарскому все, что он думает об «эрмитажных саботажниках», Анатолий Васильевич вздохнул и принялся — вроде бы ни с того, ни с сего — предаваться воспоминаниям, рассказывать о Париже, о букинистах на набережной Сены. Было это давно, в девяностые годы, в его первый приезд в Париж; абсолютно случайно в совсем крохотной букинистической лавке он набрел на ворох сатирических листков, политических карикатур времен Парижской коммуны. Злые шаржи на «кровавого карлика» Тьера, на болтуна Гамбетту, на Жюля Фавра и на Винуа; если память ему не изменяет, от карикатуристов досталось и художественной

администрации Лувра. Вот что застряло в памяти: перед закрытыми дверьми в увешанный картинами зал стоит Гюстав Курбе — красный берет на кудлатой голове, традиционная художническая блуза; а по ту сторону двери — сердитые господа в длиннополох сюртуках и шитых золотом мундирах; навалившись всем скопом на дверную створку, они преграждают дорогу, не пускают в свою «святая святых» члена Коммуны, делегата по народному просвещению.

— Знакомая нам мизансцена, товарищ Ятманов, Ситуация повторяется.

Аналогия между Эрмитажем в послеоктябрьские дни и Лувром в дни Парижской коммуны напрашивалась сама собой. «Коммуна уполномочивает гражданина Гюстава Курбе, президента художников, избранного на общем собрании, восстановить в кратчайший срок в их нормальном состоянии музеи города Парижа, открыть галереи публике и содействовать работе, которая там обычно проводится». Администрация Лувра противодействует выполнению декрета, саботирует и — в ожидании версальцев — твердит: Лувр — музей национальный, а не коммунальный, Коммуны не признаем и не признаём. Схожая ситуация, прямая параллель.

При каждом свидании с наркомом Ятманов не упускал случая, чтобы вернуться к вопросу об Эрмитаже: уговорами, обходительными письмами саботаж музейщиков не пресечь. Крутые меры? — на крутые меры Луначарский по-прежнему не соглашался: эрмитажные ученые вовсе не какие-то там исключительные монстры, как полагает дорогой товарищ Ятманов, — они не хуже и не лучше других российских ученых, испуганных Октябрем.

«Мы знаем, — много позже писал А. В. Луначарский, — что научный мир в общем и целом отнесся к новой революции как к неожиданному и нелепому происшествию. Подобная небывалая буря, обрушившая к тому же на голову каждого ученого и в области частного быта и в научной колоссальное количество неудобств, вызвала недовольство и ропот в самых широких научных кругах. Многие надеялись, что это наваждение пройдет быстро. Иные ученые становились жертвою политической близорукости либеральных партий, к которым они принадлежали, и надежд на западноевропейскую буржуазию, которую они привыкли уважать. Глубочайшая оторванность от общественной жизни, в которой существовала ученая каста, делала для многих

из них совершенно непонятным то, что происходило вокруг, и болезненно било по нервам».

В послеоктябрьские месяцы об умонастроениях научной и художественной интеллигенции Луначарский говорил не в прошедшем, а в настоящем времени, и говорил подчас гораздо резче: «Все, кто слабодушен, связан привычкой, комфортом, устал,— отдали свое сочувствие под разными соусами контрреволюции...» Оппозиция интеллигентских кругов безмерно осложняла задачу перевода на новые, советские рельсы научных и художественных учреждений, унаследованных Наркомпросом от старого министерства просвещения и от бывшего министерства двора.

Да, как ни строптивы артисты бывших императорских театров — с ними и то легче. На что избалованы «солисты его величества», на что капризны корифеи Мариинской и Александринской сцен, но в театрах уже определяется лояльная группа, согласная на сговор с демократией, на примирение с пролетарской властью: переговоры с театрами сдвинулись с мертвой точки, Наркомпрос готов пойти навстречу, предоставляет театрам художественную автономию. Автономия во внутренней жизни предложена и Эрмитажу, но музееведы глухи ко всем призывам, засели в бест, парламентаров от них что-то не видно.

— Увольте Толстого, богом прошу, Анатолий Васильевич!

Ятманов уверяет, что корень зла в Толстом, что «его сиятельство» спит и видит реставрацию старого режима. Скорее всего это так: ждет версальцев с Дона. Сместить Толстого — нет ничего проще, но в сложившейся обстановке шаг был бы опрометчивый, чреватый обострением конфликта. Подольет масла в огонь: «Луначарский уволил Толстого!» У Толстого репутация просвещенного музейного деятеля, и, видимо, не без оснований. С мнением Бенуа нельзя не считаться, отзыв Александра Николаевича о Толстом вполне благоприятен: как администратор немало сделал полезного и в Эрмитаже, и в Русском музее, хранители обоих музеев привыкли к нему, всегда внимателен, корректен. Однако о других своих знакомых по Эрмитажу Александр Николаевич говорит не в пример охотнее и пространнее. Ведь это безумно интересно — все, что рассказывает Александр Николаевич! Висела в квартире архитектора Бенуа, родного брата Александра Николаевича, небольшая, потемневшая от времени карти-

на, десять лет, двадцать лет висела себе среди прочих картин, ее и замечать-то перестали, а пришел однажды в гости эрмитажный ученый, чрезвычайно глазастый человек, и вдруг огорошил: Леонардо да Винчи! Пришел, увидел, доказал. Или история о том, как в Акропольском музее воскрешали фигуру Афины с фронтона античного храма — заслуга приписана немецкому археологу, но, оказывается, собрал-то ее русский ученый, и это тот эрмитажный Смирнов, который после октябрьских событий сломя голову ринулся в Москву, первый побывал в Кремле, чтобы убедиться в целости сокровищ Эрмитажа. Кладезь знаний и другой античник — сравнительно молодой человек, некий Вальдгауер. Дед его, по словам Бенуа, был близким другом Гёте. Подумать: лишь одно поколение отделяет нас от великого олимпийца! А знаток старого серебра, дока по части фарфора, хранитель Галереи драгоценностей Троицкий — правнук декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина! Сколько интересных людей в Эрмитаже назвал Бенуа, — не забыть о хранителе Шмидте, у которого голова полна планами переустройства музея, — хорошо бы свидеться с каждым, потолковать по душам, уговорить, убедить интеллигентский персонал Эрмитажа. Всюду, где только можно, взять интеллигентский персонал без боя, путем мягкости, некоторых уступок, — это не толерантность Наркомпроса, не снисходительность мягкосердечного Луначарского, это — мудрая директива Владимира Ильича.

...Январь. Третий месяц, как эрмитажные ученые заехали в бест. Наркомпрос направляет в Эрмитаж письмо за письмом, но граф Толстой упорно не шлет парламентаров¹.

3

Вести, доходившие с Дона, Толстой ловил с жадностью: Дон, Кубань, Терек проступали обнадеживающими огоньками в беспробудной ночи, опустившейся над Россией. И еще одно обстоятельство, так сказать, чисто семейного свойства притягивало внимание Тол-

¹ Хотя в конце декабря Эрмитаж отказался от прямого бойкота Советской власти и даже заявил о готовности вступить в переговоры с Наркомпросом по вопросу об автономии, но фактически музейная администрация оставалась на старых позициях, отнюдь не изменив своего враждебного отношения к пролетарской революции.

стого к тихому Дону. Естественная тревога отца: в Новочеркасск, к генералу Корнилову, рвется из Киева его старший сын Иван, его первенец,—об этом в каждом письме сообщает Елена Михайловна. Понять Ваника можно: офицер одного из лучших конных полков, штаб-ротмистр. Пороха, правда, не нюхал. Как расстроился мальчик осенью, когда Половцев не взял его к себе адъютантом в «Дикую дивизию», и как обрадовалась Елена Михайловна, когда Ваник, ее любимец, внял родительским уговорам, переоделся в штатское, укатил в Киев пережить вместе с матерью черные времена. «Фланирует по Крещатику, ухаживает за дамами, дуется в карты»,—и ладно бы. Но понять мальчика можно — Дон, Терек, Кубань...

Приятеlem Ваника по Киеву отрекомендовался молодой человек, посетивший Дмитрия Ивановича утром первого января. Мешковатый пиджак не скрывал военную выправку. «Так точно — поручик». Он не пряником из Киева — успел побывать во Владикавказе, Екатеринодаре, Новочеркасске. «Так точно — формируется Добровольческая армия». В Петербурге он уже с неделю — поручение от «самого». К Дмитрию Ивановичу убедительная просьба дать взаймы небольшую толику денег на обратную дорогу в Новочеркасск. «Grand merci, ваше сиятельство».

Поручик ушел, нечаянный новогодний гость. Странный Новый год. Ни визитеров, ни новогодних визитов — к Фредериксу, к Бенкендорфу, к Мосолову... Год назад — залитый электрическим светом царский дворец, большой новогодний прием, государь, царица, великие князья; эполеты, звезды, ленты; тяжкие предчувствия уже тогда щемили сердце — фатальные неудачи на фронтах, измены, интриги, министерская чехарда; довольственные неурядицы в столице, озлобляющееся население, забастовки; и тем не менее не думалось ему тогда, что это последний новогодний прием во дворце, что свои придворные обязанности обер-церемониймейстера он выполняет в последний раз, что через короткий срок рухнет империя и все пойдет кувырком, что через год, первого января, праздничный новогодний день он проведет в халате и шлепанцах, вдали от семьи, жильцом у племянников, расчетливо подбрасывая полешки в кривоногую печку совдепской модели, ради экономии дров изготовленную для него эрмитажным кровельщиком,—дымит, еле греет, закоптила потолок.

Ломберный столик заменяет ему письменный стол; как пасьянс, раскладывает он по числам письма из Киева, полученные в декабре,—читанные-перечитанные письма Елены Михайловны. «Мне казалось, что ты уже вывез к племянникам шкафчик с миниатюрами, а по твоему письму вижу, что он еще в квартире». Шкафчик он уже перевез, продал английский кабинет, постепенно пустеет обледенелая квартира в Ламотовом павильоне; обезлюдел и просторный дом в имении, в миле Кагарлыке. «Вовремя мы вывезли оттуда все, что можно было». Вывезли серебро, фарфор, канделябры, кое-какую бронзу, все это мелочи, главное — завод, плантации, сахар. «Хотелось бы перестать платить жалованье рабочим ввиду захвата земли, но боюсь за сахар, которого почти на 2 000 000. Если мы перестанем платить, его могут забрать без надежды на выплату». Если заберут завод — семья на грани полной пауперизации. «Дела, конечно, неважны, но до разорения еще далеко. Здесь есть деньги в банке, и жить можно без лишений. Ради бога, не давай себя волновать страхами разорения, это может стать навязчивой идеей, и ты должен против этого бороться. Подумай, сколько мы можем еще реализовать вещей... Приедешь сюда и увидишь, что мы еще очень недурно можем прожить». Оставить Петербург он пока не хочет, и Елена Михайловна, слава богу, поняла его — пока он в Петербурге, власть Луначарского над Эрмитажем чисто номинальная. «Я очень согласна с тобой во взгляде на Луначарского и его власть над Эрмитажем. Ты останешься на своем посту до последней минуты, но склоняться перед вмешательством этой власти ты не можешь. Меня, конечно, очень волнует мысль, что тебя могут за противодействие арестовать». Коль действовать с умом — черта с два, не арестуют. «Дети очень довольны твоим поведением в Эрмитаже, награждают тебя эпитетом *молодчины*».

Письма подобраны по датам и снова сложены — объемистая пачка, ни дня без письма. Ежедневно пишет в Киев и он — тоже подробно, тоже обо всем; если письма уцелеют, составит превосходное добавление к воспоминаниям о былом, над которыми он трудится с осени — исподволь, без спешки. Автобиографические записки, — в них отразится вся его жизнь, полная незабываемых моментов. Ему есть о чем рассказать — на его памяти три самодержца.

«...Наиболее сильное впечатление оставила на меня

высокая стройная и тогда еще величественная фигура Александра II. До сих пор вспоминаю то чувство чего-то очень важного, которое охватывало меня, когда растворялись впереди бегущим камер-лакеем обе створки дверей, и между ними появлялся Государь...»

Выезжать в свет начал он еще совсем молодым человеком. «В то время в свете очень веселились. Двор давал блестящие балы... Большие и Концертные балы в Зимнем дворце отличались особенной грандиозностью и блеском — на первые приглашалось до 3000 особ обоего пола, на Концертные — 600—1000. Последние происходили в Концертном зале (отсюда и название балов), а ужин подавали рядом, в Николаевском зале, где ставили в кадках, замаскированных растениями и цветами, громадные пальмы чуть ли не до потолка двухсветной залы; из них то устраивались аллеи посреди залы, то они расставлялись среди окружающих их лавровых деревьев и других декоративных растений, причем их ствол возвышался над столом, за которым ужинали, как бы вырастая из него и осеняя своими кудрявыми листьями сидящих под ними разодетых гостей... Меньшие балы давались в Павильоне Эрмитажа, и ужин подавался в Картинной галерее, где было также очень красиво, но не всегда безопасно для художественных сокровищ Эрмитажа».

Страница за страницей...

«...В 1894 году умер Александр III, и мне пришлось, как церемониймейстеру, принять деятельное участие в его похоронах сначала в Москве, где тело простояло сутки, а затем в Петербурге, куда мне пришлось ехать прямо из Архангельского собора в придворном галунном мундире с экстренным поездом».

«...Из придворных событий наибольшее впечатление на меня оставила коронация Николая II в 1896 г. Май месяц в этом году был особенно хорош, и дни въезда в Москву и самого коронования в Москве были особенно прекрасны. Гудение колоколов, пушечные выстрелы...»¹

¹ «Автобиографические записки» графа Д. И. Толстого сохранились в рукописи. Эрмитаж и Музей Александра III упоминаются в них вскользь, мимоходом. Восемьдесят машинописных страниц заполнены описанием придворных торжеств и дворцовых балов, великосветскими сплетнями, адюльтерными историями, бракоразводными скандалами. Именно в связи с этими записками академик И. Э. Грабарь дал Д. И. Толстому, последнему директору дореволюционного Эрмитажа, весьма выразительную характеристику: «Знарок петербургского света и сам один из его завсегдатаев».

Церемониймейстером он стал при Александре III, а при Николае II — обер-церемониймейстером, и еще товарищем управляющего Музеем Александра III, и еще директором Императорского Эрмитажа, «всемило-стивейше доверенного ему Государем и Государыней Императрицей» в 1909 году:

«Я получил письмо из Крыма, что Великий князь Георгий Михайлович выдвинул мою кандидатуру в директора Императорского Эрмитажа. Это известие меня очень взволновало... Я получил депешу от Великого князя приехать к нему в Харакс, чтобы представиться Государю. 6-го декабря я был на обеде в Ливадии и представлялся в саду Государю и Императрице... Вернувшись в Петербург, я тотчас же вступил в должность и встретил радушный прием со стороны своих новых сослуживцев, в особенности большую поддержку мне оказал с первых шагов Э. Э. Ленц, старший хранитель Средневекового Отделения; впрочем, и впоследствии он брал на себя много такой работы, которая должна была падать на меня, и часто замещал меня в мое отсутствие... Война нарушила нашу мирную жизнь, которую революция совсем перевернула».

Революция все перевернула... Бывая теперь в Эрмитаже, он испытывает прямо-таки физическую боль при виде Эдуарда Эдуардовича Ленца, осунувшегося, опустившегося, не вылезающего и в музей из овчинного тулупа, от которого почему-то разит псиной. Комок подступает к горлу, когда он глядит на старика Липгарта, укутанного в какую-то несуразную бабью шаль. А барон Коскуль, тот вообще повязал щеку черным платком, дышит только носом, уверяет всех, что у него хронический флюс, вот-вот окончательно свихнется. Ей-же-ей, Эрмитаж с каждым днем все больше напоминает босяцкую ночлежку из знаменитого спектакля художественников «На дне».

...На ломберном столике чадит керосиновая лампа. Слава богу, племянники догадались запастись керосином. За окнами темно — об уличных фонарях в Петербурге давно забыли.

Все больше и больше знакомых Дмитрия Ивановича уезжало из Петербурга — титулованная знать, сановная бюрократия. Потянуло на юг и кое-кого из на-

учной и художественной интеллигенции. Первым музейным деятелем, собравшимся в более теплые и более сытые края, оказался профессор Могилянский, долголетний сотрудник Толстого — не по Эрмитажу, а по музею Александра III, заведующий Этнографическим отделом.

Рассказывая о своем бегстве на Украину, а затем и за границу, Н. М. Могилянский пишет:

«14 (27) января 1918 года я покинул сдавленный тисками большевизма Петроград, убежденный в том, что кризис, переживаемый Россией, затяжной, что из оппозиции интеллигенции и шедшей, естественно, на убыль интеллигентской стачки ровно ничего не выйдет.

...Накануне моего отъезда в Этнографический отдел Музея Императора Александра III вошел смущенный событиями Клод Анэ, корреспондент „Petit parisien“.

— У вас тут скоро будут немцы,—сказал он с убеждением.

— Что им здесь делать, в этом болоте? Скорее они будут в Киеве и на Украине. Им нужен хлеб, а не петроградская разнузданная чернь,—отвечал я».

Примерно в тех же выражениях изложил Могилянский графу Толстому побудительные мотивы, заставляющие его ходатайствовать о неограниченном сроками отпуске по семейным обстоятельствам. Толстой посоветовал изменить мотивировку: лучше — по состоянию здоровья. В письме, посланном с Могилянским в Киев, Толстой признается Елене Михайловне, как ему горько и тошно одному в Петербурге, как он отчаянно завидует Николаю Михайловичу Могилянскому, нашедшему в себе силы плюнуть на все и укатить, но — что делать! — он прикован к Эрмитажу, как каторжник к тачке; помимо резонов, уже известных Елене Михайловне, его удерживают сейчас здесь донельзя рискованные переговоры о сепаратном мире, которые ведутся с немцами в Брест-Литовске.

Брест-литовские переговоры вызывали бурные отклики в самых различных общественных кругах. Неспонсируемые дебаты велись и в среде эрмитажных хранителей. У германофилов свой взгляд, у германофобов своя точка зрения, но и те и другие считают бесспорным одно: музейные богатства — испокон веков желанная добыча для любого победителя, а список эрмитаж-

ных полотен, на которые претендует кайзер Вильгельм, давно уже оглашен в германской печати.

В разгар брестских переговоров и произошла у Толстого размолвка с некоторыми хранителями, не раздор, боже упаси, не распря, а именно размолвка, и неприятна она была Толстому уже одним тем, что ему пришлось пойти на попятную, поддаться давлению со стороны подчиненных и в итоге — «отправиться в Каноссу», вступить в контакт с господином Луначарским.

Все началось с вопроса о кассельских картинах.

Как-то Толстой и Тройницкий сидели вдвоем в канцелярии, пили чай, толковали о Бресте. Оба сходились на том, что сепаратный мир с немцами будет подписан со дня на день.

— Оберут матушку Русь, — вздохнул Толстой. — Обдерут как липку.

И тут-то Тройницкий тоном упрека заметил Толстому, что ему претит безразличие Эрмитажа к участи собственных сокровищ.

Толстой насторожился:

— То есть?

— Кассельские картины! Едва ли генерал Гофман, диктующий сейчас большевикам условия мира, упустит благоприятную возможность обогатить этими эрмитажными шедеврами берлинский Кайзер-Фридрих Музеум, а большевистские дипломаты, надо полагать, даже не догадываются о тех правовых основаниях, которые делают германские домогательства абсолютно несостоятельными: денежки-то, русские червонцы, были уплачены Жозефине сполна, а ландграф Гессен-Кассельский сам признал свою неплатежеспособность¹.

В том, что предложил затем Тройницкий, ничего нового для Дмитрия Ивановича не было: он и сам собирався поговорить с Джемсом Альфредовичем Шмидтом, попросить его извлечь из архивов необходимые документы, — Шмидт человек дотошный; и с Эрнестом Кар-

¹ Немецкие притязания на так называемые «кассельские картины» основывались на том, что полотна эти, приобретенные Александром I за солидную сумму (около миллиона франков) у Жозефины Богарне, первой жены Наполеона I, ранее принадлежали ландграфу Гессен-Кассельскому. В ответ на выраженное ландграфом недовольство Александр I, как свидетельствуют архивные документы, согласился вернуть ему еще находившиеся в Париже картины при условии возмещения всех уплаченных за них денег. Ландграф, не располагавший нужными средствами, вынужден был отказаться, и картины, доставленные в 1815 году в Петербург, вошли в состав Картинной галереи Эрмитажа.

лсвичем он собирался поговорить — подпись Эрнеста фон Липгарта была бы весьма авторитетна для директора берлинского музея Вильгельма Боде; да, обо всем этом он уже не раз думал, но не дал хода делу лишь потому, что вовремя опомнился: сказавши «а», неминуемо пришлось бы сказать и «б», сиречь — войти в непосредственные сношения с большевистскими властями, а это нарушило бы главенствующий принцип политической позиции Эрмитажа.

— Да-да,— повторил Толстой,— принцип превыше всего!

— Из-за Принципа война началась, Дмитрий Иванович...¹

Толстого покорило: каламбур самого дурного вкуса, непохоже на Тройницкого, лучше разговор не продолжать, нервы сейчас у всех сдают. Однако через день или два к нему обратился академик Смирнов — по поводу тех же кассельских картин — и видимо, тоже остался недоволен полученными разъяснениями. — Большевики большевиками, а отечество есть отечество, — сказал он Толстому и сослался на Сергея Федоровича Ольденбурга, который, как непременный секретарь Российской Академии наук, публично заявил давеча, что русские ученые, невзирая ни на что, будут работать для родины. — Эрмитаж, ваше сиятельство, в известном смысле младший брат Российской Академии.

Доконал Толстого — кто бы мог подумать? — Эдуард Эдуардович Ленц. Выслушав сетования Дмитрия Ивановича на начавшееся в Эрмитаже брожение умов, он не выказал ожидаемого негодования и принялся доказывать, что сегодня уже нельзя делать оппозицию власти теми же средствами, что и три месяца назад. «Сопротивление против подавляющего во всех отношениях превосходства средств нападения столь же немыслимо, как бесцельно наступательное действие против безусловно неуязвимой обороны», — это не Клаузевиц, это не Мольтке, это Эдуарда Ленца постулат. Следует исходить из соотношения сил, а соотношение сил сейчас таково, что *volens polens* надо бросить кость противнику. Лояльность, *видимость* лояльности, лояльность только на словах. *Cucullus non facit monachum* — клобук еще не делает монахом. Фикция лояльности не столь уж вы-

¹ Убийство сербским националистом Гаврилой Принципом наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца-Фердинанда явилось для германских милитаристов поводом развязать войну в 1914 году.

сокая цена за обещанную музею независимость во внутренней жизни, вполне сходная плата за автономию Эрмитажа.

Нестерпимо разит псиной от тулупа Ленца.

— Благодарствую, Эдуард Эдуардович, я подумаю о монахе и клобуке.

Ленц ушел, но благоухание его тулупа осталось. Сисullus поп facit monachum... Прежде чем подняться в Картинную галерею к хранителю Шмидту, Толстой осведомился у себя в канцелярии, по каким дням и в какие часы принимает Луначарский на Детской половине Зимнего дворца.

(Из ответов Е. М. Толстой на январские письма Д. И. Толстого: «Хотелось бы мне, чтобы ты ушел из Эрмитажа... Я не понимаю положения сейчас — как будто не хотели признавать новой власти, а, несмотря на это, с ней открыто имеют дело»... «С твоим эрмитажным коллективом тебе нечего больше делать! Смотреть на это безобразие не приходится, ты, вероятно, уже ушел»... «Надеюсь, что картины, требуемые немцами, можно будет как-нибудь не дать немцам, хотя они, конечно, бесцеремонно ограбят, что захотят».)

В отчете Государственного Эрмитажа за 1918 год, в разделе «Деятельность личного состава» отмечена специальная работа хранителя Д. А. Шмидта:

«Составил по поручению Совета Записку о Кассельских картинах по поводу поднятого после заключения Брестского мира Берлинским музеем вопроса о возвращении этих картин Германии».

О том же — более подробно — сообщил в своей «Художественной летописи» последний номер журнала «Аполлон», вышедший в 1918 году:

«В ответ на немецкие притязания, направленные на получение из Эрмитажа картин, вывезенных Александром I из Франции, хранителем Эрмитажа Шмидтом составлена докладная записка... Заключение записки о неосновательности требований передано г-ну Луначарскому для препровождения членам мирной делегации»¹.

¹ Так называемые «кассельские картины» и по сей день украшают залы Государственного Эрмитажа.

Февраль — самый короткий месяц в году, а февраль восемнадцатого года выдался и того короче: «в целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени» декрет Совнаркома РСФСР предписал первый день после 31 января 1918 года считать не 1-м, а 14 февраля. Это был, пожалуй, единственный декрет Советской власти, не встретивший в Эрмитаже осуждения, напротив, его одобрили даже заядлые консерваторы: и в Евразии календарь теперь как у людей. Дивило другое: большевики издают декреты, будто бы не понимают, что их режим дышит на ладан, что с ними будет покончено, по всей вероятности, еще в нынешнем кургузом, пятнадцатидневном феврале.

Пятнадцать дней февраля — горькие, суровые дни, невыносимо трудные для молодой Советской Республики. Воспользовавшись тем, что Троцкий — вопреки категорическим указаниям Ленина и директивам ЦК — отказался в Бресте подписать мирный договор с Германией, кайзеровские войска начали наступление, захватили большую часть Украины, Псков и Нарву, создали угрозу Красному Петрограду.

Пятнадцать дней февраля... Вспоминая о тех февральских днях, Н. К. Крупская рассказывает: «...ходим мы с Ильичем по Неве, и он повторяет мне вновь и вновь все доводы, почему в корне неверна позиция „мира не заключаем, войны не ведем“; возвращаемся домой, Ильич вдруг останавливается, и его усталое лицо неожиданно светлеет, он подымает голову и роняет: „А вдруг?“, т. е. вдруг в Германии уже идет революция. Мы доходим до Смольного. Пришли телеграммы: немцы наступают. Вдвое темнеет Ильич и весь осунувшийся идет названивать по телефонам».

Февраль восемнадцатого года. «Социалистическое отечество в опасности!» — гудят заводские гудки над Петроградом, и в декрете-воззвании, оглашенном Лениным 21 февраля на заседании Совнаркома, говорится:

«Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм *хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам,*

фабрики и заводы — банкирам, власть — монархии. Германские генералы хотят установить свой «порядок» в Петрограде и в Киеве. Социалистическая республика Советов находится в величайшей опасности»¹.

Человек предполагает, а бог располагает,— с начала большевистской революции Толстой утешал себя мыслью, что по крайней мере его семья не переживает петроградских ужасов, и вдруг в конце января — как обухом по голове: Киев в руках красных! Судя по газетам, бои за Киев шли с участием артиллерии,— что с семьей, все ли живы, все ли целы? Бедолага Могилянский — попал как кур в ошип.

Безостановочный хоровод событий: немцы теперь двинулись на Петроград. Заводские гудки раздражают Толстого — надрывистые, надсадные, такие же истощенные, как в октябре, когда к Петербургу подходил Краснов; честно говоря, по сей день не понять, что тогда преградило казакам путь к столице. Непрерывные, назойливые гудки,— ей-ей, в этих гудках есть какая-то колдовская сила. Чур-чур-чур...

А Могилянский все же не совсем дурак. Похоже, что события и на Украине принимают новый оборот. Рада договорилась с немцами, немцы оккупируют Украину, скорее бы турнули красных из Киева!

(Из февральских писем Е. М. Толстой:

«Киев, (1) 14 февраля 1918 г. Проскочили по большевистскому повелению четырнадцать дней жизни — это единственное разумное, что оставит России большевистское правление.

...Заходил Могилянский, сам не свой...»

«...Я писала тебе, чтобы ты не удивлялся, если мы уедем за границу, а сейчас думаю, что лучше всего, как это ни тяжело, выждать здесь, ибо якобы точно известно, что Украина подписала мир. Если будет оккупация (австро-германскими войсками), которую все очень определенно ожидают, то надо думать, что она произойдет без бомбардировки и мы не будем рисковать новой осадой».

«14/27 февраля. Получила два твоих письма от 16-го и 19-го января. Они стары до смешного, после всего пережитого нами... Ходят слухи, что заключен общий мир и Петроград отходит к немцам... А Эрмитаж?»)

Слухи, самые невероятные, самые фантастические слухи, от слухов Толстому уже невогмугу, — он не ка-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 357.

кой-нибудь обыватель-тугодум, чья психика непривычна к политическому мышлению, но события развиваются с такой феерической быстротой, что мысль за ними попросту не поспевает.

Значит — немцы. От немца не отгудишься!

«Гуны»? «варвары»? «вандалы»? — давно пора от решиться от лжепатриотических предрассудков.

Добро пожаловать! Willkommen!

В Эрмитаже графу Толстому сообщили, что в его отсутствие телефонировал действительный тайный советник Кобеко, очень сожалел, что не застал, просил непременно навестить к нему, можно в любое время, он всегда дома. Хотя погода стояла премерзкая и с Кобекой в близких отношениях Толстой никогда не состоял, отвертеться от визита к восьмидесятилетнему Дмитрию Фомичу было никак нельзя: уже одно то, что неделю назад большевики с треском и помпой — распоряжением самого Ленина — уволили Кобеку с поста директора Публичной библиотеки, придавало посещению опального старца характер своего рода общественного акта.

Входя к Кобеке в гостиную, Толстой вспомнил анекдот, относившийся чуть ли не к началу века, то ли к пятому, то ли к шестому году: «Вы слышали? — в Публичной библиотеке повесился Кобеко». Анекдот пошел после того, как директор Императорской Публичной библиотеки заказал за счет казны художнику Горюшкину-Сорокопудову собственный портрет и велел повесить его над входом в читальный зал Отделения рукописей. У себя в гостиной укутанный в клетчатый плед Кобеко выглядел не так авантно, как на парадном портрете, но для своих восьмидесяти лет был еще хоть куда: глаза живые, голос властный...

В гостиной помимо хозяина дома находилось еще несколько человек. — Мои сотрудники, — представил их Кобеко и, улыбнувшись, добавил: — Старая гвардия меня не бросила. — Спустя минуту-другую Толстой уже отчетливо понимал, что Дмитрий Фомич и не помышляет о капитуляции перед Совдепами: как ни в чем не бывало он продолжает деятельно и энергично направлять все библиотечные дела в угодную ему сторону.

Разговор шел о предписании властей — спешно подготовить к вывозу из Петрограда наиболее ценные

книжные и рукописные фонды. Кобеко наставлял своих сотрудников, как держать себя с эмиссарами Луначарского, под каким соусом уклоняться от подготовительных работ.

— А вы, граф,— обратился он к Толстому,— как вы решили поступить?

Узнав, что Эрмитаж циркуляра об эвакуации не получал, Кобеко удивился, высказал предположение, что соответствующая бумага застряла где-то в пути, и осведомился у Толстого, как тот расценивает военную и политическую ситуацию.

— Стыдно сказать, Дмитрий Фомич, но я, русский дворянин, прямо и открыто говорю: willkommen! Другого не остается...

— Вот именно — не остается,— удовлетворенно подтвердил Кобеко. — Мои стародавние симпатии к союзникам, признаюсь вам, тоже развеялись как дым. Да, willkommen! Вы правы, граф.

Слова соглашающегося с ним Кобеки были чем-то неприятны Толстому, может быть потому, что Кобеко долгие годы считался человеком крайне реакционных взглядов, сам же Толстой всегда старался слыть либералом; сейчас выходило так, что они единодушны в своих воззрениях и упованиях, что их политическое credo совпадает.

Будто угадав мысли собеседника, Кобеко стал говорить о необходимости единства действий тех просвещенных людей, кто ныне в ответе за судьбу отечественных хранилищ: в этом единстве залог спасения музейных и библиотечных ценностей.

— За тем я и просил вас, граф, заглянуть ко мне, старику, чтобы удостовериться в общности наших позиций: ни Императорскому Эрмитажу, ни Императорской Публичной библиотеке германец не страшен. — Кобеко положил перед Толстым документ, напечатанный на пишущей машинке. — Ознакомьтесь, Дмитрий Иванович. Здесь сформулировано суждение Совета библиотеки по данному вопросу.

Толстой прочел:

«При тяжелой болезни, переживаемой ныне Россией, когда наступление германских армий не встречает сопротивления со стороны регулярных войск, грозящее Петрограду занятие неприятелем не может быть рассматриваемо как завоевание, а явится лишь ок-

купацей; при этих условиях германское командование будет лишено возможности относиться к хранящемуся в Петрограде государственному имуществу, как к подлежащему переходу в его распоряжение по праву завоевания...»

Ну и крючок же этот Кобеко! Толстому подумалось, что в документе с завидной выразительностью изложены мысли, не раз высказанные им самим. Он попросил Дмитрия Фомича снять для него копию с бумаги: суждение Совета Императорской Публичной библиотеки он почтет своим долгом довести до сведения всего состава хранителей Эрмитажа.



Мир или война?

В непосредственной близости от Петрограда, под Псковом и под Нарвой, героически сражаются с немецкими дивизиями первые отряды Красной Армии,— еще очень молода Красная Армия, еще мало у нее полков и нет еще боевого опыта. В немедленном прекращении войны, в немедленном заключении мира — спасение страны, революции, Советской власти. Новые условия мирного договора, выдвигаемые Германией, намного тяжелее, чем те, которые Троцкий отверг две недели назад, и тем не менее Советское правительство по настоянию Ленина выражает готовность эти условия принять. Мир или война? Германские милитаристы медлят с ответом, выигрывая время, чтобы захватить как можно больше советских территорий.

Брестский мирный договор, названный Лениным «архитяжким, насильственным, грабительским», был подписан 3 марта. Мир заключен, но немецкое наступление продолжается — договор еще подлежит ратификации рейхстагом, и германское командование спешит занять наиболее выгодные для себя рубежи. Судьба Петрограда все еще под вопросом.

Седьмого марта, через четыре дня после подписания Брестского мирного договора, Ленин говорил делегатам VII Экстренного съезда большевистской партии:

«Нет тени сомнения для меня, что немцы подготавливаются за Нарвой, если правда, что она не была взята, как говорят во всех газетах; не в Нарве, а под Нарвой; не в Пскове, а под Псковом немцы собирают свою

регулярную армию, свои железные дороги, чтобы следующим прыжком захватить Петроград. Этот зверь прыгает хорошо. Он это показал. Он прыгнет еще раз. В этом нет ни тени сомнений. Поэтому надо быть готовым, надо уметь не фанфаронить, а брать даже один день передышки, ибо даже одним днем можно воспользоваться для эвакуации Питера, взятие которого будет стоить неслыханных мучений для сотен тысяч наших пролетариев. Я еще раз скажу, что готов подписать и буду считать обязанностью подписать в двадцать раз, в сто раз более унизительный договор, чтобы получить хоть несколько дней для эвакуации Питера, ибо я облегчаю этим мучения рабочих, которые иначе могут подпасть под иго немцев...»¹.

В дни VII съезда РКП(б), возможно — в перерыве между двумя заседаниями, Луначарский передал Ленину ходатайство Наркомпроса:

«Марта 7 дня/22 февр. 1918 г.

В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

Ввиду спешной и в то же время недостаточной эвакуации художественных и исторических ценностей из Петрограда и огромной опасности, которой подвергнутся в Петрограде в ближайшем будущем государственные, общественные и частные имущества этого рода, в сущности все целиком являющиеся важным достоянием народа, я считаю совершенно необходимым немедленно и экстренно организовать сроком пока на 1 (один) месяц особую комиссию по охране вышеуказанных ценностей, снабдив ее соответственными полномочиями...»

Далее приводилась смета специальных ассигнований, необходимых для осуществления работ по учету, сохранению и эвакуации художественных ценностей.

На ходатайстве, сбоку, Владимир Ильич надписал:
«Утверждено. Ленин».

От газетной братии не убережешься: едва в Наркомпути, в Наркомпочтеле и некоторых других нарко-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 24

матах был получен приказ об их переезде в Москву, как эта сенсационная новость стала тотчас же известна петербургским репортерам. В газетах появились сообщения о предстоящем переезде правительства из Петрограда в древнюю столицу России. Антисоветская печать трубила в победные фанфары: Совдепам — конец! Повсюду, на афишных столбах и на стенах домов, появились провокационные воззвания, изготовленные ожившимся контрреволюционным подпольем.

Думы питерского пролетариата выразила 6 марта большевистская «Красная газета» в передовой статье, озаглавленной «Рано пташечки запели»:

«...В связи с эвакуацией среди буржуазии своеобразное ликование.

Им кажется, что по эвакуации уйдут из Петрограда и ненавистные им большевики и снова станет у власти прежняя Городская дума и настанет буржуазный рай.

Их можно успокоить.

Большевики никуда не уходят, они — вся рабочая и крестьянская Россия, они — петроградский пролетариат, они — Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.

И сил — справиться с буржуазией — у них всюду хватит».

...Слово «эвакуация» не сходило с газетных страниц.

Ничего больше вывозить из Эрмитажа они не позволяют — ни одной статуи, ни одной вазы, ни одного канделябра. К этому пришли, на этом сошлись все без исключения эрмитажные хранители. Большинство поддержало точку зрения чинов Императорской Публичной библиотеки: Петербург будет немцами не завоеван, а оккупирован, следовательно, германское командование при всем желании не сможет рассматривать культурные ценности Петербурга как свой военный трофей. — Международное право есть международное право, — подняв к потолку указательный палец, резюмировал Ленц. Но даже те хранители, которые находили подобные доводы казунстикой, галиматьей, сущей ересью, даже они придерживались твердого убеждения, что вещи, находящиеся в Эрмитаже, ни в коем случае трогать с места нельзя. Вспомнив свой ноябрьский вояж в Москву, академик Смирнов сказал: — То, что в

состоянии перенести человек, не выдержат ни камень, ни бронза.

Поскольку прямых указаний о подготовке к эвакуации Эрмитаж все еще не получил, Толстой предложил принятое собранием решение в протокол не вносить и перешел к следующему вопросу.

— Быть может, не всем господам хранителям известно,— сказал он,— что месяц назад Василий Андреевич Верещагин обратился от имени Художественно-исторической комиссии при Зимнем дворце лично к господину Луначарскому по поводу малоприятного известия, что Московский Совет депутатов намеревается расположиться в Большом Кремлевском дворце¹. Заслуга ли в том Василия Андреевича или тому нашлись другие причины, но дворец пока к Совдепу не отошел. Однако в любой момент положение может измениться, идут разговоры о переезде правительства в Москву, а посему Эрмитажу надлежит довести до сведения компетентных властей свой отрицательный взгляд на занятие кем бы то ни было кремлевских зданий, выразить наш единодушный протест.

В протоколе от 1 марта записано:

«Председатель докладывает собранию об имеющихся сведениях о переезде в Москву и, в частности, в Кремль некоторых политических организаций и ставит на обсуждение собрания вопрос, не является ли целесообразным обращение к Комиссару Ятманову или Комиссару по просвещению Луначарскому с просьбой содействия по охране имущества Эрмитажа, вывезенного в Москву, а равно и самого Кремля».

Далее в протоколе сказано:

¹ Речь идет о нижеследующем письме В. А. Верещагина на имя А. В. Луначарского:

«Попечитель Московской Третьяковской галереи И. Э. Грабарь срочно уведомил Александра Бенуа о том, что Московский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов изъявил намерение занять в ближайшем будущем Большой Кремлевский дворец. Ввиду неисчислимых сокровищ искусств, находящихся как в этом дворце и в Оружейной палате, так и эвакуированных в названные здания из Петрограда (лучшие картины Эрмитажа, вся Галерея драгоценностей, сокровища петроградских дворцов, церквей и т. д.), осуществление приведенного намерения, грозящее безусловной гибелью бесценному народному достоянию, признается Художественной Комиссией совершенно невозможным...»

«После обмена мнений собрание просит Я. И. Смирнова составить докладную записку с изложением точки зрения Эрмитажа по сему вопросу для представления указанным председателем лицам».

...«Народному комиссару по просвещению и имуществу Республики А. В. Луначарскому...» Заложив руки за спину, Смирнов шагает по комнате — из угла в угол. Что же ему написать в этом письме, в каких выражениях и в каком тоне составить послание властям предержащим? «Единогласное мнение эрмитажных хранителей». Единогласия среди хранителей сейчас несравненно меньше, чем разногласия. Его мутит, когда он опять слышит в музее мерзкие разговоры о пруссаках, которые спасут Россию. Он тоже не смирился с революцией и, вероятно, никогда не смирится; стихия революции — разрушение, и в этом его никто не переубедит, но слепая ненависть — дурной подсказчик, и если на минутку отбросить политические предубеждения, придется признать, что охраной памятников культуры большевистские власти занимаются с рвением и весьма добросовестно. Потому он и взялся за составление этого письма. Он открыто выскажет все, что страшит его как хранителя музейных сокровищ, и — бог тому свидетель — он берет сейчас в руки перо не из ненависти к Совдепам, а с искренней надеждой, что его встревоженный голос будет услышан и правильно понят.

«Совет хранителей Эрмитажа, дорожа сохранностью вообще всех художественных и исторических культурных ценностей Родины и будучи обязан по долгу своей службы не останавливаться ни перед чем в целях обеспечения, в частности, полной сохранности доверенных ему национальных художественных сокровищ, постановил единогласно в заседании своем 1 марта (н. ст.) сего года обратиться к г. Народному Комиссару имуществ Республики с нижеследующими соображениями по вопросу о сохранности той части эрмитажных коллекций, которая вывезена в Москву...

Ближайшим поводом к настоящему обращению является известие о намерении Московского Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов переехать из гене-

рал-губернаторского дома в Кремль, в частности, в Большой Кремлевский дворец... Подобные же опасения вызывает и возможность, не исключенная при настоящей неустойчивости политических и стратегических условий страны, что для существующей ныне политической власти явится необходимость переезда в Москву.

Обе эти возможности занятия Кремля вообще и Большого Кремлевского дворца, в частности, представителями или канцеляриями местной или общегосударственной власти вселяют в хранителей Эрмитажа сильные опасения, что они могут при несчастных случаях оказаться роковыми как для эрмитажных сокровищ, так и для Кремля вообще...»

Письмо, по общему мнению, у Якова Ивановича получилось длинным и не очень складным, но оттачивать слог было некогда, и, подписанное Толстым 4 марта, оно — под исходящим № 145 — было снесено на Детскую половину Зимнего дворца в канцелярию наркома Луначарского.

Через три дня в Эрмитаж пришел комиссар Ятманов. Ни словом не обмолвившись о письме-протесте, составленном Смирновым, он без всяких околичностей объявил, что все, ранее не вывезенное из музея, надо готовить к эвакуации — незамедлительно, без проволочек. Толстой не преминул упомянуть, что эвакуация у хранителей весьма непопулярна, но обещал еще раз поставить этот вопрос на собрании старших служащих. Со своей стороны он осведомился у Ятманова, дошла ли до господина Луначарского бумага, посланная в начале недели, 4 марта. Ответив, что бумаге Анатолий Васильевич хода не дал, Ятманов добавил, что если хранителей так больше устроит, то коллекции музея вполне можно вывезти из Кремля и, если угодно, даже из Москвы.

Неожиданный оборот, который приняло дело, ошеломил Толстого. Он опять созвал старших служащих. На Детскую половину Зимнего дворца было снесено новое письмо:

«Г. Народному Комиссару
А. В. Луначарскому.

В заседании Совета Эрмитажа от 8-го сего марта обсуждался вопрос об эвакуации оставшихся частей художественно-археологических коллекций Эрмитажа, а также поднятый комиссаром Ятмановым вопрос о дальнейшем вывозе перевезенного уже в г. Москву имущества музея...»

По первому вопросу — об эвакуации оставшихся в Петрограде музейных вещей — хранители, как видно из письма, подтвердили свою прежнюю негативную позицию. По второму же вопросу, поднятому комиссаром Ятмановым, в письме было сказано:

«Вывоз имущества Эрмитажа из Москвы подвергнет его гораздо более серьезной опасности и возможности гибели, нежели оставление на месте. Несмотря на те опасения, которые были высказаны Эрмитажем в представлении от 4 марта сего года под № 145 об опасности условий хранения вещей Эрмитажа в Москве, все же риск их гибели во время дальнейшей перевозки является значительно большим, почему Совет постановил обратиться к Вам, г. комиссар, с настоятельной просьбою не подвергать ценности Эрмитажа огромной опасности перевозки их из Москвы в какое-либо другое место».

В петроградских газетах 9 марта было объявлено об эвакуации в Москву Народного комиссариата по просвещению:

«Комиссариат по Просвещению сообщает, что вследствие изменившихся условий часть Комиссариата переводится в Москву...»

В те же мартовские дни 1918 года, никак не позже 10 марта, на стол Ленина в его смольнинском кабинете легло письмо Анатолия Васильевича Луначарского, обращенное к Совету Народных Комиссаров:

«Дорогие товарищи!

Правительство твердо и совершенно правильно решило покинуть Петербург и пере-

нести столицу Советской России в Москву даже в том случае, если мы получим более или менее длительное замирение.

Но, конечно, правительство не может остаться равнодушным к дальнейшей судьбе громадного, первоклассного мирового революционного центра. Петербургу придется круто. Он вынужден будет болезненно пережить процесс свертывания и в экономическом и в политическом отношении.

Конечно, правительство всемерно постарается облегчить этот мучительный процесс, но все же нельзя будет спасти Петербург от обострения продовольственного кризиса, от дальнейшего роста безработицы, а в связи с тем недовольства остающихся на месте масс и поредения их в ущерб революционности населения в целом <...>.

Я решаюсь предложить товарищам народным комиссарам лично себя на пост их официального представителя в Петрограде. Я думаю, что известие о том, что я остаюсь в городе, хоть немного смягчило бы горечь покидаемого правительством центра. Не берусь за администрацию в военном, полицейском и продовольственном отношениях, но берусь по мере сил поддерживать дух бодр, доверие к Советской власти, быть защитником Петербурга перед вами, если за общегосударственными перспективами вы начнете терять несколько из виду геройский центр революции, и, деля во всем его судьбу, быть перед его массами защитником престижа правительства <...>.

Прошу Совет Народных Комиссаров рассмотреть это мое заявление и дать свое заключение в кратчайший срок».

Ленин согласился с предложением Луначарского. Оповещая петроградцев о переезде Наркомпроса в Москву, «Красная газета» сообщала:

«А. В. Луначарский остается в Петрограде».

5

Колокольня Ивана Великого — самое высокое здание Кремля, и, чтобы охватить взглядом сразу все свои кремлевские владения, Евгений Владимирович

Орановский, обходя караулы, находил нужным хотя бы раз в неделю взбираться по оледенелым ступеням в звонницу третьего яруса, на чертово верхотурье, туда, где уже третий месяц в вынужденном безмолвии стынута на лютom морозе многотысячепудовые колокола. Отсюда, с заснеженной площадки звонницы, с тридцатипятисаженной высоты видна как на ладони внешне совсем обыденная жизнь Кремля, принявшая в последние месяцы заметно приглушенный, какой-то провинциальный характер,— право же, чем не патриархальный Сергиев посад? Снег — сколько снегу! Снегом завалены все проходы между соборами, дворцами, жилыми строениями. С сугроба на сугроб перебираются крошечные черные фигурки монахов и монашенок, обитающих в Чудовом и Вознесенском монастырях. Как тараканы — ползут, расползаются они по Кремлю. Монахам пришлось выдать пропуска в Кремль, но какими путями продолжают проникать внутрь Кремля подозрительные субчики охотнорядского пошиба? Петряков, военный комендант, только руками разводит. Очевидно, где-то в кремлевских стенах есть тайные лазы...

Панорама Кремля, открывавшаяся Орановскому с высоты Ивана Великого, оставалась в январе точно такой же, что и в минувшем декабре, и каждый раз, возвращаясь с обхода караулов, Евгений Владимирович не переставал дивиться своей счастливой звезде — пока все у него сходило гладко. Тем не менее и он, и Малиновский отчетливо сознавали, что в случае каких-либо эксцессов, подстроенных контрреволюцией, герегарнизон, охраняющий Кремль, едва ли будет способен выдержать мало-мальски серьезный бой. «Обходя внешние посты на стенах Кремля,— признается Е. В. Орановский,— я не рисковал делать проверочные тревоги по военному караулу, рассчитывая, что такая тревога в полной мере продемонстрирует слабость охраны перед многочисленными тогда жильцами Кремля, „не сочувствовавшими“, мягко выражаясь, Советской власти».

Слухов о готовящихся выступлениях белогвардейцев было в ту пору предостаточно. Сколько нервов стоил хотя бы день 9 января: накануне из Президиума Моссовета дали знать в Кавалерский корпус, где размещалась комиссия Малиновского, что завтра ожидается белогвардейский мятеж и что белые, несомненно, попытаются захватить Кремль.

«В это время,— рассказывает Е. В. Орановский,— Кремль охранял немногочисленный и — теперь не сек-

рет — плохо дисциплинированный 25-й полк; в бывшем Александровском училище было расквартировано несколько десятков красногвардейцев... Мне вручили огромный неуклюжий револьвер с сотней патронов со свинцовыми (без оболочек) пулями. К воротам Троицким, Спасским и Никольским подкатили старые пулеметы...

День против ожидания прошел тихо. Где-то, как говорили, у Москворецкого моста постреляли пулеметы. Этим все и ограничилось. Чаяния и надежды наших врагов и на этот раз кончились ничем, но наше напряжение было громадно.

Наступила ночь. Обойдя караулы, улегся, не раздеваясь, у телефонов спать до первой тревоги».

В непрерывных тревогах прошел и февраль. День на день, конечно, не походил: в двух комнатах нижнего этажа Кавалерского корпуса то тесно так, что не повернуться, — художники, музейные деятели, коллекционеры, то кругом ни живой души — зловещая тишина царит во всем Кавалерском корпусе. Рассказывая об этих «барометрических приливах и отливах», по которым он безошибочно судил о положении дел в городе и на внешних фронтах, Орановский вспоминает один из таких трудных дней:

«Кто-то из старых товарищей заехал в Кавалерский корпус, отозвал меня в сторону и сказал, улыбаясь:

— Ну, товарищ Орановский, выбирай себе в Кремле фонарь по вкусу, будут нас вешать...

Был канун Бреста».

«Согласно Приказу Чрезвычайного Штаба Московского Военного округа за № 229 объявляю Кремль на осадном положении...»

Осадное положение было введено комендантом Кремля 3 марта, а несколько дней спустя в Кремль вступил прибывший из Петрограда головной отряд латышских стрелков — железная дисциплина, беззаветная преданность революции.

Не вызывало сомнений, что эти чрезвычайные меры связаны с переездом Советского правительства в Москву.

— Текущие дела, Евгений Владимирович, вам придется на время отложить, — сказал Малиновский своему заместителю. — Где у нас тут план Кремля?

В ведении моссоветовской комиссии, охранявшей произведения искусства и памятники старины, находи-

лись все здания в Кремле, и именно по этой причине художнику Орановскому выпала неожиданная честь быть на первых порах чуть ли не главным квартирмейстером Совета Народных Комиссаров. Каждое утро в Кавалерский корпус стал являться ответственный работник ЧК, полномочный представитель Дзержинского, и до вечера Орановский водил его по Кремлю, вчерне прикидывая, что где можно с наибольшим толком разместить. Осмотрели и Большой Кремлевский дворец, анфиладу холодных, неотапливаемых залов, оба фрейлинских коридора — Белый и Желтый, Чугунный коридор, без конца поднимались и спускались по лестницам. В вестибюле Благовещенского подъезда Орановский остановил своего спутника возле огромного дощатого ящика:

— Знаменитый «Вольтер» Гудона. Здесь много вещей из петербургского Эрмитажа.

Промерзшее и безлюдное здание Судебных установлений осматривали целой комиссией. Из ее состава особенно запомнился Орановскому невысокого роста человек в пенсне, с подстриженной клином темной бородкой, с ног до головы одетый в черную блестящую кожу. «Я не знал, кто он, и по тогдашнему обычаю не интересовался. „Товарищ из центра“ — это исчерпывало все. Однако вскоре нам пришлось встретиться вновь. И только тогда я узнал, что обходивший со мною здание Судебных установлений человек в пенсне, в кожаной тужурке... Яков Михайлович Свердлов!» После того как правительство обосновалось в Москве, Яков Михайлович, по свидетельству Орановского, оказывал неоценимую помощь делу охраны памятников искусства и старины. «Забегаю вперед, — пишет Орановский, — надо сказать, что он принял самое живое участие в нашей работе. Очень часто Я. М. Свердлов заходил к нам утром, когда еще никого не было, подсаживался, и целый ряд метких и точных указаний облегчал нам выполнение секретнейших, сложных и ответственных заданий. Сколько раз он брал письменный пропуск и осматривал музеи, внимательно обсуждая возникавшие у него вопросы».

Квартиру, в которой мог бы хотя бы временно поселиться Владимир Ильич, присмотрели в Кавалерском корпусе, на втором этаже того самого здания, где работала моссоветовская Комиссия по охране произведений искусства и памятников старины.

«Еще после первой встречи с Я. М. Свердловым мне было конфиденциально сообщено, что в Кремле должна быть подготовлена квартира для Владимира Ильича. Задача была не из легких. Мы жили и работали в тесном окружении „чужих“, чаявших скорого конца власти „проклятых большевиков“. Осмотром двух комиссий — тов. Чегодаева от ВЧК и Комиссией с участием „товарища в пенсне“, как я называл мысленно Я. М. Свердлова, — было установлено место для Совнаркома и для квартиры Владимира Ильича. Она находилась во втором этаже Кавалерского корпуса, ближе к Большому дворцу. Из нее сразу по лестнице можно было попасть вниз в первый этаж корпуса с непосредственным выходом во внутренний дворик и на Дворцовую улицу, которая шла от Троицких ворот к переходу Зимнего сада. Отсюда же можно было подняться во внутренние помещения Большого дворца. Коридор второго этажа выходил на среднее крыльцо Кавалерского корпуса, также имевшего выход во внутренний дворик. Топография хотя и была сложной для охранения, но зато удобная стратегически, на случай всяких осложнений... На их возможность никто не закрывал тогда глаза».

Вечером 11 марта к платформе Николаевского вокзала в Москве подошел правительственный поезд из Петрограда. Владимира Ильича и его спутников во дворе вокзала ожидали автомобили, присланные Московским Советом по условленной телеграмме Бонч-Бруевича. На первых порах члены Совнаркома разместились в гостинице «Националь» — поблизости от Кремля, на углу Тверской и Охотного ряда, против здания Исторического музея. Владимиру Ильичу и Надежде Константиновне был предоставлен номер на третьем этаже.

В Кремль Ленин поехал на следующий день около полудня. Владимира Ильича и Надежду Константиновну сопровождали Яков Михайлович Свердлов и Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич.

— Вот он и Кремль, — сказал Ленин, когда машина прошла Троицкие ворота, и добавил: — Здесь должна совершенно укрепиться рабоче-крестьянская власть.

Машина остановилась у здания Судебных установлений. Обойдя предназначенные для Совета Народных Комиссаров шесть смежных комнат, Ленин одобрил выбор помещения.

С утра ждали Ленина и в Кавалерском корпусе.

«Приезд Владимира Ильича в Кремль,— вспоминает Вера Кундиус, тогдашний секретарь моссветовской комиссии,— не был определен точным временем. Но накануне Орановский передал мне распоряжение Малиновского о том, чтобы как можно больше сократить в этот день прием посетителей. От себя он добавил, что меня назначают дежурной по комиссии.

Мы сидели за своими столами и выполняли обычную текущую работу, когда Владимир Ильич вошел в Кавалерский корпус. По комнате шепотом пронеслось: „Приехал Ленин“. Почти все присутствовавшие вышли из комнаты. Но мне пришлось остаться. Нет слов описать мое огорчение. Встречали Владимира Ильича Малиновский, Орановский и другие.

Как потом мне рассказывали, Владимир Ильич некоторое время находился на втором этаже в намечавшейся для него временной квартире... Осмотрев ее, Ленин попросил выбросить всю лишнюю обстановку. Затем Ильич пошел осматривать Кремль.

Через несколько дней Ленин обратил внимание на работу нашей комиссии. Он принял Малиновского, Орановского и других членов комиссии и долго беседовал с ними».

Ко времени переезда рабоче-крестьянского правительства в Москву состав комиссии, обеспечивавшей сбережение и охрану национальных художественных ценностей советского народа, значительно расширился— в ее работу включилась большая группа известных московских живописцев, скульпторов, графиков, архитекторов. Впоследствии Е. В. Орановский с гордостью напишет:

«Мы, художники-реалисты, сохранили вам, молодые правонаследники Октября, сокровища Кремля и Эрмитажа».

И еще раз вспомнит он ту огромную помощь и повседневную поддержку, которую ему и его товарищам оказывал Ленин уже в первые дни своего пребывания в Москве. «По распоряжению Владимира Ильича,— вспомнит Орановский,— с плана Кремля сняли кальку в двух экземплярах и на ней закрыли условной краской помещения Кремля, куда запретили допускать жильцов и других посетителей, как в помещения, приспособленные под художественные хранилища. Помню, Владимир Ильич со своей обычной в этих случаях улыб-

кой, простой и ясной, говорил, что если даже он попросит стул, имеющий художественную ценность,— не давать!»

Рассказывали, что на Каменноостровском уже появились дворники в белых фартуках и с начищенными, как встарь, бляхами — скалывают лед с тротуаров, сметают снег. Болтовня! Проходя по Каменноостровскому, ни блях, ни фартуков, ни вообще дворников Толстой нигде не обнаружил. А по правде говоря, в последние дни он с особым пристрастием поглядывал вокруг, стараясь не упустить чего-то нового в облике города, что могло бы послужить хотя бы косвенным подтверждением ожидаемых больших перемен. Господи, сотвори чудо, не дай нам окончательно разувериться в надеждах своих!

В те мартовские дни «Красная газета» писала:

«По городу пошел слух о том, что Петербург будет объявлен вольным городом. В публике — на улицах, в трамвае, в кафе — можно многое услышать о будущем „вольном“ Петербурге. Так называемая „чистая публика“ строит свою веру в этот приятный ее сердцу слух на эвакуации столицы и выезде правительства в Москву: „— Уехали ведь они не даром, говорят, есть такой тайный пункт в мирном договоре, чтобы Петроград стал международным городом...“ Буржуазия строит свои самые фантастические надежды на нелепых слухах, и всюду, где собирается сытая публика, говорят об этих надеждах. Да это и понятно: что осталось делать разбитой на всех позициях буржуазии, как не мечтать о неосуществимом?»

Слухам об объявлении Петрограда «вольным городом» верили в Эрмитаже безоговорочно. Обсуждали с Толстым — каков будет статус «Петрополиса» и как сконструируется законодательная и исполнительная власть; тревожились, не приведет ли обособление Петербурга от большевистской России к расчленению эрмитажных коллекций, и гадали — в которой из столиц ценностям музея грозит сегодня наибольшая опасность: в Москве ли, где каждую минуту возможен противобольшевистский переворот, или в Петербурге, где какое-то время, очевидно, будет переходным и произойти может все что угодно.

Словоговорение, бессмысленные дебаты! Один только Ленц представил Толстому конкретные рекомендации — в письменном виде, в форме конфиденциального рапорта:

«...Необходимо безотлагательно приступить к разведкам, стараться разузнать у компетентных лиц их личные взгляды и суждения об относительной безопасности в имущественном отношении той или иной столицы в ближайшем будущем; в число таких интервьюируемых лиц должны бы войти, кроме представителей наших высших осведомленных кругов, элементы нейтральные, как, например, посланник Брендстрем, члены шведской миссии и другие дипломаты и — по моему крайнему убеждению — не следовало бы даже пренебрегать сведениями из враждебного лагеря от лиц, как, например, графа Мирбаха, Луциуса, Вольфа, Бирмана и других, имевших за время своего пребывания в Петрограде до войны немало добрых знакомых и друзей среди здешнего общества...»

К разведкам в дипломатических кругах Толстой пока не приступал и отнюдь не потому, что отрицал их целесообразность. Напротив, о рекомендациях Эдуарда Эдуардовича он вспоминал всякий раз, когда размышлял о том, что называл «большой политикой». Думал он о советах Ленца и сейчас, выходя с Каменноостровского к Троицкому мосту. Конечно, советник германского посольства барон Гельмут фон Луциус и генеральный консул Германии в Петербурге милейший Макс Бирман — люди безупречной репутации и до несчастной войны он поддерживал с ними самые прекрасные отношения. Ленц называет и Мирбаха. Конечно же, граф Вильгельм Мирбах, в декабре прибывший в Петербург во главе германской миссии, мог бы стать первоклассным источником информации. С Мирбахом — это абсолютно достоверно! — установили негласные связи такие истые патриоты, как барон Александр Андреевич Будберг и барон Дмитрий Борисович Нейдгарт. Можно не сомневаться, что гофмейстер Нейдгарт и обер-егермейстер Будберг охотно представят графу Мирбаху обер-церемониймейстера императорского двора... Свергнутый император томится в тобольской ссылке, а бывший обер-церемониймейстер в прохудившихся

валенках утопает в снежных сугробах на Троицком мосту... Конечно, не эти нелепые валенки удерживают его от визита, открытого или тайного, в германскую миссию или, допустим, в нейтральное шведское консульство; удерживает совсем другое — боязнь снова оказаться в дураках. Нет, ему никогда не забыть унижения, которому в роковой день 25 октября подверг его сэр Джордж Бьюкенен. А ведь к Бьюкенену он полез тоже по совету Ленца!

Сворачивая с Троицкого моста на Дворцовую набережную, Толстой кинул свирепый взгляд на здание английского посольства.

В канцелярии музея Толстого ожидал комиссар Ятманов. Приход Ятманова всегда связан с какой-нибудь неприятностью. С чем сегодня явился этот мужлан? Эвакуация Эрмитажа? — эвакуационная проблема должна была отпасть для большевиков сама собой после ратификации Германией мирного договора. Или большевики — в связи с предполагаемым объявлением Петрограда вольным городом — все-таки намерены вывезти в Москву все музейное имущество? Терпение — сейчас разъяснится.

Ятманов начал с того, что спросил, своевременно ли получены музеем дензнаки для выплаты жалованья служащим. — С дензнаками в казначействе туго, — признался он Толстому. Потом он сказал, что нарком товарищ Луначарский просил его, Ятманова, специально разузнать поподробнее о планах переустройства музея, которые как будто имеются у хранителя Шмидта и, может быть, еще кое у кого из хранителей. — А то у нас воз ни с места, гражданин Толстой. — Попутно он осведомился, дошло ли до гражданина Толстого письмо, вчера направленное в Эрмитаж из Наркомпроса.

Письмо, подписанное тем же Ятмановым, правительственным комиссаром по охране дворцов и музеев, Толстой нашел у делопроизводителя.

«Эрмитаж.
Директору Д. И. Толстому

При Комиссаре по просвещению организуется Коллегия по охране памятников старины и по делам музеев. Вследствие спеш-

ности этого дела прошу Эрмитаж в скорейшем времени прислать для постоянного участия в работах Коллегии двух делегатов...»¹

— Я не вправе, господин комиссар, решать такие вопросы единолично,— сказал Толстой, дочитав письмо. — У нас теперь, видите ли, демократия. Господа хранители обсудят ваше предложение.

Спросить или не спросить комиссара об ожидаемых переменах в Петербурге? Сегодня Ятманов, как никогда, разговорчив. Плетет, плетет, а об единственно существенном — о секретном пункте в мирном договоре — и не заикнется! Внезапно у Толстого засосало под ложечкой: он вдруг отчетливо понял — по самому тону Ятманова, по его спокойной уверенности, — что у большевиков и в мыслях нет оставлять Петербург, что никуда большевики из Петербурга не денутся — ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, что светлая мечта о «вольном городе» всего-навсего очередной пучок. «Вольный город», «вольный город» — комбинация из трех пальцев!

Было названо несколько имен, но только два хранителя не отвели свои кандидатуры — Сергей Николаевич Тройницкий и Джемс Альфредович Шмидт, — их-то и избрали полномочными делегатами Эрмитажа в наркомпросовскую Коллегию по делам музеев. Закрывая собрание, Толстой коротко поблагодарил господина Тройницкого и господина Шмидта за всегдашнюю го-

¹ В автобиографии «Моя жизнь» И. Э. Грабарь относит создание этой коллегии чуть ли не к первым дням существования Советской власти: «По мысли В. И. Ленина, еще во время пребывания первого Советского правительства в Петербурге, бывшем уже тогда Петроградом, А. В. Луначарский организовал в ноябре 1917 года при Наркомпросе Коллегию по делам музеев и охране памятников искусства и старины. Возглавлял ее Г. С. Ятманов...» Вслед за академиком И. Э. Грабарем ту же дату создания Музейной коллегии Наркомпроса называют и некоторые авторы трудов по истории строительства советской культуры, в частности музейного. Датировка эта неточна. Действительно, А. В. Луначарский и его сотрудники, выполняя указания В. И. Ленина, уже в ноябре 1917 года настойчиво изыскивали наиболее соответствующую поставленной задаче структуру демократических органов для руководства музеями. Однако Музейная коллегия при Наркомпросе, о которой идет речь, была организована лишь весной 1918 года, что неоспоримо подтверждает приводимый выше документ, подписанный самим Г. С. Ятмановым и датированный 18 марта 1918 года.

товность, он бы сказал — *жертвенную* готовность «служить высшим целям музейной администрации».

Стоя за полуотворенной дверью, барон Коскуль прислушивался к голосу Толстого. Он вовремя догадался выйти, сумел уклониться от голосования, не принял участия в этом позорном флирте с большевиками. Получалось так, что он и присутствовал на собрании и отсутствовал на нем, так сказать, одновременно. А с хроническим флюсом он тоже недурно придумал — флюса давно уже нет, но повязка во всю щеку осталась. Забинтованный, он выглядит немощным и убогим. Убогих жалеют, убогих не тронут. Плевать ему на насмешки — в душе он горд и независим, и еще неизвестно, подаст ли он завтра руку тому же Тройницкому, тому же Шмидту. Падение Тройницкого закономерно — принципы для него не существуют, лишен чести и идеалов. С жаром устраивал выставку к трехсотлетию дома Романовых, а через пару лет с не меньшим пылом уже разрабатывал проект республиканского герба и флага. И еще отшучивался: это прадед, декабрист Якушкин, берет в нем верх над верноподданными Тройницкими — губернаторами, сенаторами *et cetera*¹. Циник, каких мало. Но Шмидт, Джемс Альфредович Шмидт... *Du auch, Brutus!*² Чума проникла и в Эрмитаж. Надо бежать — вон из Эрмитажа, вон из Петербурга, вон из России. Бежать, но куда? Все равно куда — в Курляндию, Эстляндию, Лифляндию, — род баронов Коскуль внесен в дворянский матрикул всех трех прибалтийских губерний!

...Собрание кончилось, и когда хранители стали расходиться, барон Коскуль остановил Шмидта: — *Ein Augenblick!*³ — Торопливо, сбивчиво, путаясь в словах, он принялся высказывать вероломному коллеге свое крайнее недоумение, свое величайшее негодование, свое глубочайшее возмущение: как может человек, принадлежащий к благородному обществу, дворянин, доктор философии, дойти до такой степени сервилизма, что готов сесть за один стол с большевистскими комиссарами? Коскуль молот и молот свое, без удержу, все с большей ажитацией, — Шмидту даже показалось, что барон заложил лишнее за галстук, этого с ним прежде не бывало. — Вы слишком возбуждены, Гарольд Александрович, объяснимся в другой раз, — сказал он и, вы-

¹ И так далее (*франц.*).

² И ты, Брут! (*Нем.*)

³ На минутку! (*Нем.*)

свободив рукав своего пальто из цепких пальцев Коскуля, пошел вниз, к выходу. А в самом деле — завтра придется сесть за один стол с комиссарами. Что побуждает его к этому? Должно быть, то же, что и Сергея Николаевича, — Эрмитаж, будущее Эрмитажа.

О косности и рутинерстве, о тягостных путях пресловутого музейного консерватизма Джеймс Альфредович Шмидт размышлял еще эрмитажным неопитом, еще тогда, когда ему, молодому ученому, в виде особой милости было предоставлено место «писца по вольному найму» в чопорном Императорском Эрмитаже. Потом, заняв классную должность и став хранителем Картинной галереи, он много путешествовал и, посещая крупнейшие европейские музеи, не только изучал произведения искусства, но и старался постигнуть новые, более современные принципы организации музейного дела. У него складывались собственные концепции, и время от времени он представлял графу Толстому письменные доклады, касавшиеся тех или иных преобразований в жизни музея. В том, что его доклады оставались обычно без последствий, он винил не графа Толстого, Толстой — надо отдать ему должное! — не раз поддерживал его предложения и рекомендации, с Толстым у него не было недоразумений, — все упиралось в графа Фредерикса — министерство двора глушило любое новшество, тормозило любое нововведение.

Вскоре после свержения самодержавия, когда бывшим министерством двора стал управлять кадет Головин, Шмидту показалось, что пора реформ наступила и для бывшего императорского музея. Он засел за составление подробной записки, в которой задумал прямо и откровенно обрисовать новому правительству России плачевное положение Эрмитажа и наметить какие-то самые первоначальные меры, способные вывести из тупика наш величайший художественный музей.

Глубоко ошибочно мнение, утверждал Шмидт, что последние пять-шесть лет до начала всемирной войны Эрмитаж якобы зажил какой-то новой жизнью и что только обстоятельства военного времени помешали дальнейшему благополучному ходу дел. «К сожалению, — писал он, — такой оптимистический взгляд оказывается чистейшей иллюзией. Если вспомнить состояние Эрмитажа накануне войны... надо сказать, что в общем это состояние оставалось по-старому весьма не-

удовлетворительным. Все затеянное и исполненное носило характер недоделанного, характер компромисса. Это сильнее и горше всех чувствовали те хранители Эрмитажа, которые несли ответственность за разработку и проведение реформ перед обществом и художественным миром. Для них это было чувством тем более тягостным и горьким, что они сознавали, что там, где могли иметься неограниченные возможности, всем их стремлениям и трудам придется разбиться о невозможные ограничения... Министерство двора и отдельные установления интересовались вовсе не Эрмитажем, как целым, а только его Картинной галереей, да разве еще Галереей драгоценностей, серебра и фарфора. Это ведь самый вульгарный и, увы, очень распространенный взгляд, что Эрмитаж есть картины и драгоценности, т. е. золото и бриллианты на неисчислимые миллионы, плюс многое ненужное и скучное».

Да и с Картинной галереей далеко не все обстояло благополучно. «Нынешний облик галереи,— констатировал Шмидт,— результат не доведенных до конца компромиссов, созданных, с одной стороны, условиями места, т. е. типом всего здания, и, с другой,— непоследовательностью в исполнении программы последней перевески (1912 года)... Главный недостаток нынешнего строя эрмитажной галереи — непоследовательность ее устройства... колебания между художественными и историческими взглядами, которые привели к тому, что ныне эрмитажная галерея есть ни собрание художественных жемчужин, ни выражение исторической эволюции».

Горестный перечень эрмитажных бед. «Жизнь эрмитажного Кабинета рисунков и гравюр за последние пятнадцать лет превратилась в притчу во языцах до того даже, что забывалось то многое, хотя и скромное, что в Кабинете было сделано»... Под безличным названием Отделения Средних веков и эпохи Возрождения объединены самые разнородные и несовместимые вещи... Запущенность эрмитажных инвентарей приводит в отчаяние. Число ученых хранителей ничтожно мало... Эрмитаж задыхается от тесноты: полезная площадь стен Картинной галереи давно уже исчерпала себя. Столь же остро стоит вопрос о помещениях для других отделений... И так далее, и так далее...

Шмидт писал:

«Жизнь всякого музея протекает нормально и целесообразно лишь при условии налич-

ности сочувствия и интереса к музею со стороны общества. Особенно это относится к такому центральному художественному музею, каким является Эрмитаж.

Нужно сознаться, что до сих пор Эрмитаж таким сочувствием не пользовался. Причины этого кроются, главным образом, в тех ненормальных условиях, о которых говорилось раньше. Действительно, музей, не только лишенный возможности планомерно и постоянно расширяться и пополняться, но даже не могущий привести в порядок и использовать имеющиеся в нем богатства и не питавший никаких надежд на более светлое будущее, естественно находился в том полумертвом состоянии, которое было так характерно для Эрмитажа. Всякие попытки как служебного персонала Эрмитажа, так и немногочисленной группы деятелей искусства, интересующихся Эрмитажем, внести некоторое оживление в жизнь Эрмитажа, неминуемо разбивались о преграды, создаваемые бывшим министерством двора.

В какую бы форму ни вылились будущие отношения государства к Эрмитажу, одно несомненно: необходимо наладить прочные отношения между обществом и Эрмитажем».

...Пространная записка Шмидта в черновом варианте заняла около ста страниц. «Чемоданисто!» — сказал Тройницкий и тем не менее прочел в один присест. Академик Смирнов тоже одобрил каждый пункт в отдельности и весь манускрипт в целом, но выразил опасение, как бы старательный труд Джемса Альфредовича не пропал втуне: когда думают о Дарданеллах, не думают об Эрмитаже.

Толстой держал у себя записку долго — читал, потом «вентилировал» в сферах. Результат оказался для Шмидта обескураживающим. — Соваться нам к Головину дело бесполезное, — подвел итог Толстой. — Господин Головин чрезвычайно занят, и, говоря между нами, он за сохранение в Эрмитаже полного статус-кво.

Примириться с этим Шмидт не мог. «Эрмитажу, — пишет он в одном из последующих вариантов своей записки, — угрожает эстетическое реакционерство: „оставить Эрмитаж так, каков он был и есть“. Такой де-

крет о мумификации Эрмитажа оказался бы весьма смелым и неслыханным опытом в музейной истории,— на наших глазах самые консервативные музеи, как, например, Венский придворный музей и Ватиканская пинаотека, чуя веяния времени, за последние годы вполне преобразовались, так как понятно было и там, что музей есть живой организм, который питается жизнью народа, страны, государства, духовной и культурной жизнью всего мира и поэтому не может быть исключен из общей эволюции духа, из всеобщего обмена интеллектуальных и культурных веществ. Только при этом условии музей перестает быть „могилой искусств“».

Так и оставшуюся в ящике письменного стола, свою никому и никуда не переданную записку Джемс Альфредович Шмидт извлек на свет божий в марте восемнадцатого года. Он понимал, разумеется, что по нынешним временам нечего рассчитывать на какие-либо практические результаты, но сам факт, что его соображениями о желательных преобразованиях в Эрмитаже интересуются в верхах, пусть даже и большевистских, был почему-то ему приятен.

Многое в записке устарело; прежде чем передать ее в наркомпросовскую Коллегию по делам музеев, он сделает необходимые поправки.

Это Тройницкий убедил его, что, войдя делегатами в новую Коллегию, они как бы станут у самого кормила,— Эрмитажу от этого только польза, чистый профит, и что вообще всегда лучше быть на борту, чем за бортом. Тройницкий совершенно уверен, что именно теперь, пока идет весь этот тарарам, некоторые музейные проблемы можно решить незамедлительно: ну что стоит большевикам уже сегодня прирезать Эрмитажу хоть ту же Седьмую запасную половину?

Ничего, конечно, не стоит — было бы желание. Рискнем, попытаемся, вреда во всяком случае не будет.

Все перипетии многолетних и неизменно безуспешных хлопот, ходатайств, переговоров с министерством императорского двора по поводу Седьмой запасной половины Зимнего дворца были вкратце изложены Шмидтом на общем собрании служащих музея 25 марта:

«Д. А. Шмидт указывает на необходимость теперь же просить Коллегию передать Эрмитажу 7-ю запасную половину, на что собрание и уполномочивает г. г. делегатов».

Коллегия по делам музеев проводила свои заседания в Зимнем дворце, в комнатах Детской половины. Председательствовал комиссар Ятманов. Вопрос, поставленный делегатами Эрмитажа, рассматривался в заседании 15 апреля. Слово взял Шмидт. Давно назревшую необходимость передачи музею Седьмой запасной половины он обосновывал в тех же осторожных, обходительно-ненастойчивых выражениях, в которые привык облекать свои всепокорнейшие доклады по тому же кругу вопросов его сиятельству обер-гофмаршалу графу Бенкендорфу. Такое окольное красноречие раздражало Ятманова: слова в простоте не скажет. — Понятно, — кивнул он, когда Шмидт наконец закончил. — В принципе, дело ясное. — И продолжил, чуть помолчав: — Решать, однако, подождем. Покамест давайте запишем: «Предоставить Эрмитажу для разработки вопроса о расширении его помещений за счет Зимнего дворца планы соответствующих частей дворца (7-й запасной половины)...»

Ятманов намеренно оттягивал принятие решения. Если мерить новыми мерками, то надолго ли хватит Эрмитажу залов Седьмой запасной? Он хотел посоветоваться с Луначарским.

На следующем заседании Коллегии, через неделю, Ятманов ошеломил делегатов Эрмитажа:

— Седьмая половина — Седьмой половиной, а надо еще, товарищи, и вперед глядеть...

В протоколе заседания Коллегии значится:

«Для расширения помещений Эрмитажа признать необходимой передачу ему всего Зимнего дворца...»

7

В апреле Яков Иванович Смирнов снова побывал в Москве и опять же по эрмитажным делам. Необходимость его поездки стала очевидной после того, как в Эрмитаж на имя графа Толстого поступил пакет из Академии художеств:

«Имею честь препроводить при сем для Вашего сведения копию заявления члена Академии А. В. Шусева

относительно неудовлетворительного состояния охраны сокровищ Академии Художеств и Эрмитажа, эвакуированных в Москву и хранимых в Кремле»¹.

Письмо Щусева было давнее, писалось оно в первых числах февраля, автор его находился под впечатлением только что открывшегося и потрясшего художественную Москву дерзкого ограбления Патриаршей ризницы².

«...Что касается прочих хранимых в Кремле сокровищ Эрмитажа, Академии и пр.,—писал А. В. Щусев,—то ввиду малого количества специалистов по делам музеев, контролирующих целостность и сохранность сокровищ,—для коллекций также является опасность расхищения, и, дабы предотвратить это несчастье, необходимы дежурства и ревизии из Петрограда специалистов, что и следует организовать немедленно».

С Алексеем Викторовичем Щусевым, человеком весьма уважаемым, Толстой встречался на ежегодных собраниях Академии художеств, но знакомство было шапочным и ограничивалось обоюдным вежливым поклоном или беглым рукопожатием; в последние годы вовсе не виделись—с тех пор, как в 1913 году, незадолго до войны, по проекту Алексея Викторовича в Москве началось строительство нового вокзала, Казанского, на Каланчевской площади.

К донесшемуся из Москвы тревожному голосу Щусева нельзя было не прислушаться.

В Музейной коллегии Наркомпроса тоже обеспокоились. Ятманов доложил о письме Луначарскому. С мандатом наркома—«органам власти и военным организациям оказывать содействие предъявителю сего»—Яков Иванович выехал в Москву.

Отчитываясь в своей поездке (отчет по-прежнему адресован «Его Сиятельству Господину Директору Эрмитажа»), Я. И. Смирнов пишет:

«Имею честь представить краткий рапорт о командировании меня г. Народным Комиссаром по заведыванию Дворцами и музеями Республики в Москву для осмотра вывезен-

¹ А. В. Щусев (1873—1949)—один из крупнейших архитекторов нашего времени. Особенно плодотворным и многообразным было его творчество в советские годы. Выдающимся творением архитектора явился Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади.

² Ограбление Патриаршей ризницы было совершено в конце января 1918 года проникшими в Кремль профессиональными церковными ворами.

ных туда осенью прошлого года ящиков с эрмитажным имуществом и выяснения условий и степени безопасности их там хранения. Одновременно со мною командирован был и отчасти с подобным же поручением по Русскому музею Александра III и хранитель его К. К. Романов, совместно с которым я и выехал из Петрограда 8 апреля нового стиля, сего, 1918 года.

Прибыв во вторник, 9-го, утром в Москву, мы прежде всего посетили Ал. В. Щусева в его рабочем кабинете на строящемся Казанском вокзале, дабы узнать от него те фактические данные, на которых обосновывалось мнение его о ненадежности положения хранимых в Кремле художественных сокровищ, однако из беседы с ним выяснилось, что мнение это у него уже значительно, по-видимому, изменилось в оптимистическом направлении со времени написания им известного Вашему Сиятельству письма; зато мы получили от него точные указания, практического характера, о путях и способах скорейшего и удобнейшего сношения с нужными нам для исполнения поручения лицами, а именно Павлом Петровичем Малиновским и помощником его Евгением Владимировичем Орановским».

В двух маленьких комнатках первого этажа Кавалерского корпуса, где дневали и ночевали Малиновский и Орановский, теперь разместился и Комиссариат Кремля¹. Его возглавляли тот же Малиновский и тот же Орановский. В распоряжении по Кремлю, отданном П. П. Малиновским 1 апреля 1918 года, было сказано:

«§ 1

Постановлением Совета Народных Комиссаров от 18 марта 1918 г. за № 809 я назначен исполняющим

¹ Комиссариат Кремля — один из вновь созданных отделов Народного комиссариата имуществ Республики. В обязанности этого комиссариата входило обеспечение сохранности (совместно с военным комендантом) исторических и художественных памятников Кремля и всего музейного имущества, находящегося на его территории.

обязанности Народного Комиссара Имуществ Республики с возложением на меня в то же время обязанностей Комиссара Кремля.

§ 2

Официальными представителями Комиссариата Кремля в мое отсутствие считать моего помощника т. Орановского и заведующего административно-хозяйственным отделом Комиссариата т. Хвалько.

§ 3

Военная охрана Кремля, ее организация и несение военно-охранной службы внутри Кремля возложена на коменданта Кремля т. Малькова...»

Балтийский матрос Павел Мальков, сыгравший впоследствии как комендант Кремля немалую роль в охране национальных художественных сокровищ, прибыл из Петрограда в двадцатых числах марта, как только сдал своему преемнику комендантство в Смольном.

Вступая в новую должность, подробные инструкции он получил от Якова Михайловича Свердлова:

«...Обсудите все с Аванесовым¹, посоветуйтесь с Дзержинским. С Дзержинским обязательно. С ЧК вам постоянно придется иметь дело. Нести охрану будут латыши, как и в Смольном, только теперь это будет не отряд, а батальон или полк...

Ознакомьтесь получше с Кремлем. Сами лично все обойдите и осмотрите. Продумайте схему расстановки постов. Постами надо обеспечить не только ворота, но и стены...

Присмотритесь к населению Кремля. Народу тут живет много, в значительной части не имеющего к Кремлю никакого отношения. Кое-кого, как видно, придется выселить».

К концу разговора Яков Михайлович сказал:

— Да, когда будете оборудовать квартиры — а мы в ближайшее время ряд товарищей из «Националя», «Мстрополя» переселим в Кремль, — на дворцовое имущество особо не рассчитывайте, лучше берите из гостиниц, из того же «Националя». Дворцы надо сохранить

¹ В. А. Аванесов был с 1917 по 1919 год членом Президиума и секретарем ВЦИК.

в неприкосновенности, со временем мы там музеи организуем и откроем самый широкий доступ народу. Вообще дворцы будут не в вашей власти. Ими распоряжается Управление дворцового имущества, товарищ Малиновский, человек знающий...

Уже первый, внешний осмотр Кремля убедил Малькова, что его предшественники по комендатуре допустили множество огрехов. К примеру — система выдачи пропусков. Правом заказа разовых пропусков пользовалось не только большинство сотрудников ВЦИК и Совнаркома, но почти все разномастные жители Кремля, в том числе, к безмерному удивлению нового коменданта, и монахи-черноризцы: «Мало того, что они сами не внушали никакого доверия, что в гости к ним ходила самая подозрительная публика, они и того хуже удумали: организовали розничную торговлю пропусками в Кремль... Да ведь как торговали! Совершенно открыто, прямо возле Троицких ворот, по пять рублей за пропуск. Подходи и покупай, кто хочет»¹. Весь порядок заказа и выдачи пропусков был пересмотрен. «Если и раньше мы стремились ограничить выписку пропусков,— вспоминает Вера Кундиус, секретарь моссоевтовской Комиссии по охране памятников старины,—то теперь ввели просто жесткие меры. Пропуска выписывались в военной комендатуре после строгой проверки. В этих делах у комиссии и нового коменданта Кремля Малькова установился тесный контакт».

Пропускной режим стал намного строже, но вдруг выяснилось, что при злом желании не так уж сложно проникнуть в Кремль вообще без пропусков — минуя посты и караулы: возле Спасской и Никольской башен кремлевские стены возвышались всего на несколько метров над землей, и влезть там на стену не представляло большого труда,— однажды Мальков сам видел, как по веревке, спущенной мальчишками, взбирался на стену здоровенный верзила. «Чтобы предотвратить подобные случаи, пришлось усилить подвижные посты по всей Кремлевской стене, а вблизи Спасских и Никольских ворот установить на стене постоянных часовых».

Наибольшие строгости были приняты для охраны тех кремлевских помещений, которые Орановский после встречи с Лениным обозначил условной краской на

¹ Некоторое время спустя монахи были переселены из Кремля (преимущественно в Троицкое подворье).

кальке, снятой с плана Кремля. «Согласно распоряжения Совета Народных Комиссаров, ни одно помещение, имеющее особо секретный характер, не может быть показываемым иначе, как по ордеру за подписью Председателя <Совета> Народных Комиссаров В. И. Ленина»,—говорится в приказе, отданном 23 марта 1918 года исполняющим обязанности комиссара Кремля Е. В. Орановским. Комендант Мальков поставил у этих помещений усиленные караулы латышских стрелков.

...Утром 9 апреля Орановский позвонил в военную комендатуру и предупредил Малькова, оказавшегося у телефона, что в ближайший час к Троицким воротам подойдут два петроградских товарища—пропуск им нужно выдать без всякой задержки. Он попросил записать фамилии приезжих: Смирнов Яков Иванович, старший хранитель Эрмитажа, и Романов Константин Константинович, не великий князь, само собой, а однофамилец, хранитель Русского музея. Дежурный в бюро пропусков пометил себе на бумажке, что двух ученых, приехавших из Петрограда, следует направить в Кавалерский корпус, нижний этаж,—их там ожидают комиссары Малиновский и Орановский.

«В Кремле, тщательно и, по-видимому, надежно охраняемом латышскими стрелками,—пишет в своем рапорте Я. И. Смирнов,—мы и нашли обоих названных лиц, оказавших нам должное внимание и содействие к исполнению нашего дела... Встретили мы также и хранителей Оружейной Палаты В. К. Трутовского и Ю. К. Арсеньева, от которых, равно как и от вышеуказанных лиц, тогда же узнали, что ящики в Большом Кремлевском дворце и в Оружейной Палате находятся в тех же самых помещениях, где они были экспедированными их нашими служащими сложены, никаким переносам в иные помещения не подвергались и никакого ущерба не потерпели. Но желание наше убедиться в том воочию самим встретило для немедленного его осуществления препятствия в тех строгих условиях внешней военной охраны кремлевских зданий, в которых они ныне находятся, и в необходимости иметь для нас специальное разрешение Комендатуры, добыть которое нам и было обещано г. г. комиссарами на следующий день, чего, однако, устроить им не удалось, и мы смогли проникнуть во внутренность Большого

Кремлевского дворца лишь на третий день нашего пребывания в Москве; такое же особое разрешение Командатуры да еще и присутствие разводящего для снятия часового потребовалось и для посещения нами Оружейной Палаты, вход в которую охранялся часовым, латышским стрелком, вооруженным не только винтовкой, но и ручною гранатой, каковыми снабжены были и часовые при входе в единственные открытые для доступа в Кремль ворота».

8

Весна в Петрограде по обыкновению запаздывала, но в середине апреля, когда Яков Иванович возвратился из Москвы, где было по-летнему тепло, весеннее солнце уже успело растопить слежавшийся снег и на Невском, и на Миллионной, и на Дворцовой набережной. Бурая зыбкая жижа покрывала асфальт тротуаров и торцы мостовых; вылетая из-под колес шальных автомобилей, она обдавала комьями грязи и без того замызганные стены цокольных этажей, сплошь залепленные объявлениями, воззваниями, прокламациями. Эрмитаж не избежал участи других петербургских зданий — грязные потоки уродовали его прекрасный портик, а бумажная короста покрывала гранитные тела эрмитажных атлантов до самых набедренных поясков¹.

Эрмитажный подъезд на Миллионной похож бог весть на что, но у главного входа в Зимний дворец, у Иорданского подъезда на Дворцовой набережной, тротуар уже расчистили от грязного месива, отскребли двери, промыли окна в вестибюле. Так уж вышло, что задолго до возобновления музейной жизни в Эрмитаже, еще весной восемнадцатого года, в Зимнем дворце началась та новая и необыкновенная жизнь, которая позволила Луначарскому дать бывшей царской резиденции когда-то придуманное им название — Дворец искусств.

¹ В журнале заседаний общего собрания служащих Эрмитажа 18 марта 1918 года содержится такая запись:

«О. Ф. Вальдгауер, указывая на постоянно продолжающуюся наклею афиш и объявлений на здание Эрмитажа, а в последнее время и на атлантов, предлагает вменить в обязанность дежурным или службителю охраны срывать эти афиши.

Собрание при настоящих условиях признает осуществление предлагаемой меры невозможным»

Во Дворце искусств, в громадных залах с великолепной акустикой, трудовому люду Красного Питера предстояло, по мысли Луначарского, приобщаться к искусству во всех его проявлениях — к музыке, к театру, к литературе. Такое широкое и многообразное использование дворцовых помещений на первый взгляд противоречило решению о присоединении всего Зимнего дворца к Эрмитажу. Но в том-то и дело, что по обстоятельствам времени никто и в самом Эрмитаже не стал бы настаивать на немедленном вступлении музея во владение даже давно облюбованной Седьмой запасной половиной: к чему сегодня музею новые помещения, если и в старых стены, шкафы, витрины зияют пустотой; то, что не вывезено в Москву, так и лежит, упакованное в ящики. Безусловно, и ученые, входившие в Музейную коллегию, и Ятманов, председатель Коллегии, и народный комиссар Луначарский отдавали себе ясный отчет, что решение о передаче Эрмитажу всего Зимнего дворца имеет чисто декларативный характер, но им было также ясно и то, что принципиальное решение, принятое 24 апреля 1918 года, четко определяет магистральную перспективу или, как сказали бы десятилетие спустя, *генеральный план* развития величайшего советского музея.

Итак, в перспективе — Эрмитаж заполняет собой Зимний дворец от края до края, от Зимней канавки до Адмиралтейского проезда. В восемнадцатом году эта заманчивая перспектива казалась одним достаточно близкой, другим — бесконечно далекой. Но Дворец искусств, такой, каким питерские пролетарии увидели его весной восемнадцатого года, уже был живой реальностью.

...«Петроградская правда» 3 апреля 1918 года опубликовала большую статью, подписанную «Дм. Л-о». Нетрудно разгадать, кто автор этой статьи — Дмитрий Лещенко, один из ближайших сотрудников Луначарского по Наркомпросу, тот самый Дмитрий Ильич Лещенко, у которого — в пору первой революции — как-то заночевал Ленин, заночевал, но не спал, всю ночь листал монографии о великих художниках, а утром сказал Луначарскому: «Какая увлекательная область история искусства. Сколько здесь работы для коммуниста!»

«Из области искусств» — называлась статья Д. И. Лещенко в «Петроградской правде». Подзаголовок гласил: «Вчера в Зимнем дворце».

В статье говорилось, что дворец, сооруженный зна-

менитым Растрелли, на протяжении полутора столетий оставался совершенно закрытым для народа: «До революции — кроме придворной клики да кучки художников — доступ в Зимний дворец был невозможен для обыкновенного смертного». «С ноября месяца и по настоящее время, — сообщает Д. И. Лещенко, — дворец приводится в порядок и, по мысли народного комиссара тов. Луначарского, должен быть превращен в Народный Дворец-Музей, доступный для самых широких масс; его обширные и величественные залы и комнаты явятся чудесным местом для устройства больших народных концертов, рефератов, лекций и т. п. и, прежде всего, для устройства народных празднеств, подобных тем, которые устраивались во время Великой Французской революции».

Далее Лещенко указывает, что во дворце надо еще многое сделать. «К сожалению, большая часть картин и других художественных ценностей частью эвакуирована еще при Керенском, частью убрана и хранится в упакованном виде. Кроме того, необходима еще большая работа для полного приведения дворца в порядок... Пока явилась возможность показать народу только очень небольшую его часть...» «Благодаря энергии комиссара дворца художника тов. Г. С. Ятманова эти помещения удалось привести до некоторой степени в надлежащий вид». «Для входа открыт так называемый Иорданский подъезд (с набережной Невы); грандиозные сени и Иорданская лестница, ведущая в Николаевский зал, — один из шедевров Растрелли...»

«Открытую часть Зимнего дворца на первых порах предполагается использовать как аудиторию для устройства целой серии вечеров научно-художественного характера»; намечен и «ряд лекций по истории искусства и, что особенно важно для настоящего момента, специальные лекции для ознакомления с художественными и историческими сокровищами Петербурга и окрестностей: Царского Села, Павловска, Гатчины и др., где имеются произведения искусства, составляющие гордость русского народа».

Ничто из намеченного не останется пустым обещанием: будут в Зимнем дворце и популярные лекции, и бурные диспуты, и симфонические концерты, и театральные представления, и художественные выставки невиданного масштаба, но началось все с серии вечеров под общим названием — несколько неожиданным — «Чудеса цветной фотографии».

В «Петроградской правде» Д. И. Лещенко с воодушевлением пишет:

«Первый такой вечер, посвященный фотографии в натуральных цветах,—исключительный по своему интересу и оригинальности,—состоялся во вторник 12 марта в Николаевском зале Зимнего дворца и прошел с таким громадным успехом, что его пришлось через неделю повторить при переполненном зале».

...Полвека спустя, перелистывая ветхие номера «Петроградской правды» и остановив взгляд на приведенных строках, невольно вспоминаешь слова Мишле, историка Великой Французской революции, сказанные о первой, так называемой «повстанческой» Парижской коммуне:

«Сколько трогательных, счастливых идей... Какое правительство может в такое короткое время проявить в таком количестве фактов столь глубокий интерес к человеческому роду, такие заботы обо всем, относящемся к цивилизации, даже о таких предметах, о которых, казалось бы, следовало думать меньше в эти дни тревог...»

Дни тревог позади, дни тревог впереди, но среди дней, преисполненных тревоги, все-таки выдался в петроградской жизни Луначарского один по-настоящему праздничный день, радостно-беспокойный, незабываемо-упоительный, прожитый им, как в волшебной сказке.

Накануне его серьезно взволновало небо — тяжелые серые тучи нависали над Петроградом. Он запросил метеорологов, и те ответили, что идет полоса циклонов, дожди потянутся теперь непрерывной чередой. Не испортит ли погода завтрашний праздник? Ночь на первое мая он спал плохо.

«Признаюсь, я встал в 4 часа посмотреть, насколько враждебна к нашему празднику погода.

Небо было ясно. И большая луна, чуть ущербленная, бледнела при лучах восходящего солнца».

Празднества готовили две недели — срок до невозможности короткий. Всеми работами по украшению города командовал Ятманов. Он раздобыл ветхозаветный автомобиль — с мятым кузовом, латаной резиной и чихающим мотором; с утра до ночи он разъезжал на своей дребезжащей колымаге то в штаб военного округа, то в Коллегию морского ведомства, то к комисса-

ру Мариинского дворца, то в городское бюро распределения тканей, накладывая хозяйскую руку на всю красную материю, что была в наличии, на все красные флаги, древки, цветные фонари, тросы, веревки, бревна, гвозди. Многосаженные куски кумача кроили и сшивали по эскизам художников в швейной мастерской Петроградского военного округа.

Что первое мая, что первое апреля — для эрмитажных все едино. Кого-кого, а Эрмитажа большевистские праздники не касаются — музей автономен, и вообще время сейчас не для праздников, скорее — для панихид. Читая газетные сообщения о предстоящих праздничных манифестациях, эрмитажные дивились наглости футуристов, взявшихся «украсить» своей бесстыжей мазней державный град Петра. И вдруг — как снег на голову: оказывается, что к балаганным затеям, которые готовит комиссар Ятманов по случаю Первого мая, причастен один из служащих Эрмитажа, господин Шервуд, абсолютно порядочный человек. М-да! Чего не бывает — и курица лает!

Ко времени, о котором идет речь, скульптор Леонид Владимирович Шервуд был давно сложившимся мастером, известным в Петербурге, автором памятника адмиралу Макарову, в 1913 году установленного в Кронштадте, и ряда других работ, обращавших на себя внимание художественной критики. «Свои работы, — рассказывает Л. В. Шервуд, — я выставлял в большинстве случаев на выставке Нового общества художников, которое держалось в стороне и от художников академического направления, и от так называемых „левых“, ушедших в разрешение чисто формальных задач». Война с Германией внесла сумятицу в художественную жизнь, заказы на скульптуру совсем прекратились. «Друзья-художники оказывали мне поддержку и устроили реставратором в Эрмитаж»¹.

¹ Вспоминая о своей работе в Эрмитаже, Л. В. Шервуд пишет: «Я был принципиальным врагом приклеивания носов, рук, пальцев и т. п., что всегда заставляет скульптора прочекаивать место приклейки, искажая тем самым работу великого мастера». На этой почве у Шервуда не раз возникали конфликты с хранителем английской скульптуры Оскаром Фердинандовичем Вальдгауером, придерживавшимся общепринятых методов в реставрационном деле. Время рассудило друзей-противников: «Когда я встретил двадцать лет спустя О. Ф. Вальдгауера, он сказал мне: „Как вы были дальновидны! Мы теперь отказались от такой реставрации“».

Неблаговидное поведение подчиненного, который еще вчера пользовался его расположением, возмущало Толстого еще и потому, что означенному Шервуду вакантную должность реставратора-скульптора он исколотал лично, незадолго до Февральской революции, используя свои дворцовые связи. Проводя кандидатуру Шервуда через канцелярию министерства императорского двора, он расписывал на все лады достоинства своего протеже: скульптор из заметных, а по реставрационной части просто виртуоз, для Эрмитажа сущая находка. Он упомянул, что господин Шервуд приходится сыном известному архитектору, строителю Исторического музея в Москве; что по окончании курса Академии художеств, где его занятиями руководил сам Беклемишев, молодой скульптор совершенствовал свое мастерство за границей, работал в студии знаменитого Родена. Если бы Толстой только мог предположить, что всего через полтора года симпатичнейший господин Шервуд вступит в постыдный альянс с этим истуканом Ятмановым, он бы язык проглотил, но не стал бы в министерстве двора поминать всуе имя маститого Беклемишева и ссылаться на Огюста Родена.

Знакомство Шервуда с Ятмановым началось, однако, гораздо раньше, чем полагал Толстой. «Ятманов был моим учеником по школе Бернштейна и как художник и ученик школы знал меня», — замечает в своих воспоминаниях заслуженный деятель искусств РСФСР Л. В. Шервуд¹. В апреле восемнадцатого года он позволил своему бывшему ученику уговорить себя и согласился, хотя и не очень охотно, принять участие в художественном оформлении первомайского праздника. Но постепенно и он увлекся идеей театрализовать праздничное шествие. Задумано с размахом: в колоннах манифестантов движется вереница декорированных колесниц, символизирующих старый и новый мир. Шесть, восемь, десять колесниц! В каждую колесницу впряжено по четверке белых лошадей; впереди — военные оркестры и трубачи на конях...

...М-да, чего не бывает... В Эрмитаже господина Шервуда теперь почти и не видно, а когда и соблаговолит заглянуть, то в каком виде! — даже не удосужит-

¹ Организованная М. Д. Бернштейном Школа рисования, живописи и скульптуры (руководители М. Д. Бернштейн, А. И. Савинов, Л. В. Шервуд) существовала в Петербурге с 1912 по 1916 год. При школе имелась воскресная группа «для учащихся и лиц занятых».

ся отмыть руки от краски, от гипса, от столярного клея. Но что Шервуд! — есть казусы и почище. Первого мая, если верить Тройницкому, в Зимнем дворце дадут концерт для уличной публики Придворный симфонический оркестр и Придворная капелла. А дирижировать будет Коутс — Альберт Коутс, который полгода назад, показывая пример другим маэстро, публично заявил, что тотчас же захлопнет партитуру и покинет дирижерский пульт, если увидит Луначарского в ложе или в партере Мариинского театра¹. Коутс, как утверждает Сергей Николаевич, первого мая будет дирижировать в Зимнем дворце, а вступительное слово перед концертом скажет Луначарский. М-да!

Ранним утром первого мая улицы еще были пустынные, но, начисто вымытые вчерашним дождем, они сверкали в лучах веселого весеннего солнца. Направляясь к Марсову полю, которому, по заранее разработанному церемониалу, предстояло стать центром первомайских демонстраций и митингов, Луначарский едва поспевал поворачивать голову, чтобы ничего не упустить из агитационного убранства города. Вся одета в кумач башня Городской думы. Огромные холсты на зданиях — великан-рабочий, великан-крестьянин, «Вся власть Советам!», «Не отдадим Красного Петрограда!». Яркие, броские плакаты.

«Плакаты!

Конечно, я совершенно убежден, что на плакаты будут нарекания.

Ведь это так легко — ругать футуристов.

По существу же — от кубизма и футуризма остались только четкость и мощность общей формы да яркость, столь необходимые для живописи под открытым небом, рассчитанной на гиганта-зрителя о сотнях тысяч голов».

Первый Первомайский праздник после Октябрьской победы!

¹ Вспоминая об этом эпизоде, А. В. Луначарский писал: «Находящийся со мной ныне в чрезвычайно хороших отношениях дирижер Альберт Коутс — тогда он работал в Мариинском театре, очень быстро потом ставший в ряду дружественных Советской власти деятелей, оказавший нам крупнейшие услуги в организации музыкальной жизни в тогдашнем взволнованном революцией, трагически великольном и убогом Петрограде, был настроен вначале так, что просил предупредить меня о своем решительном нежелании войти в какие бы то ни было официальные отношения с властью. «Если народный комиссар Луначарский, — заявлял он, — войдет в Мариинский театр во время спектакля, я немедленно кладу свою дирижерскую палочку и прекращаю работу»».

Стоя на задрапированном алой тканью грузовом автомобиле, он обращался с призывными речами к манифестантам, проходившим по Марсову полю, к рабочим и работницам, к солдатам Красной Армии. Нет, не впоследствии, а тогда же, днем 1 мая 1918 года, Луначарский сказал на митинге: «Легко праздновать, говорю я, когда все спорится и судьба гладит нас по головке, но то, что мы — голодный Петроград, полуосаженный, с врагами, таящимися внутри него, — мы, несущие на плечах своих такое бремя безработицы и страданий, гордо и торжественно празднуем, — это по чести — настоящая заслуга». С трибуны он видел перед собой бледных исхудалых женщин, солдатские шинели, трудовые лица, обрамленные подчас седыми бородами...

Где только он не выступал в этот дивный день! В битком набитом Доме Рабоче-крестьянской армии, со ступеней Фондовой биржи на Стрелке Васильевского острова, и опять же с автомобиля — на Лафонской площади у Смольного. Потом его попросили сказать речь у пожарных — отказать он не смог. «Пожарные собрались в какой-то аудитории, и когда я вошел, они сидели в амфитеатре, круто поднимаясь вверх. Все они были в ярко начищенных шлемах, и в первую минуту мне показалось, что я на каком-то собрании гомеровских героев. Такое неожиданное впечатление производила эта тысяча шлемоблещущих человек».

От пожарных (или откуда-то еще) он заторопился на Дворцовую набережную.

«...Ничего нельзя представить себе торжественнее, чем исполнение „Реквиема“ Моцарта в одной из прелестнейших зал Растреллиева Зимнего дворца государственной капеллой и оркестром под управлением высокоталантливого Коутса.

Я сказал несколько слов о „Реквиеме“ вообще, о Моцарте и о том, как мы теперь воспринимаем вопросы смерти, суда над личностью человеческой и ее триумфа в историческом торжестве идеи человечности.

Я не могу не говорить торжественно, видя это море голов и предчувствуя уже несравненную по глубине и красоте заупокойную поэму Моцарта.

Мы поминаем жертвы революции поистине достойным образом.

Благоговейно играют и поют артисты. Благоговейно внемлет толпа. Маленький мальчик в первом ряду слушателей, вообразив, что он в церкви, опустил на колени и так простоял все полтора часа.

Обнажив головы, народ внимает задумчиво и серьезно.

Тут шесть или семь тысяч слушателей, бесплатно и свободно впущенных в царские хоромы. Из залы одна дверь, но по окончании концерта, медленно и осторожно, в прекрасном порядке расходятся все и удостаивают меня уже на улице выражением благодарности, как наградили они громом аплодисментов артистов-исполнителей».

Выйдя из дворца, все, в том числе и он, остались на набережной. Между Николаевским и Троицким мостами протянулась по водной глади непрерывная линия больших судов, шлюпок, баркасов. На палубах играли военно-морские оркестры. «Когда свечерело, в сизоватых жемчужных сумерках Невы эти суда расцвели бледными огнями, музыка плыла, смягчаясь дальностью расстояния, и казалась какой-то сказочной баркаролой». Затем, когда еще более стемнело, «началась изумительная борьба света и тьмы. Десятки прожекторов бросали световые столбы и белыми мечами скользили в воздухе. Их яркий луч ложился на дворцы, крепость и корабли, мосты и вырывал у ночи то одну, то другую красу нашего пленительного Северного Рима. Взвились ракеты, падали разноцветные звезды».

Поздно вечером он снова увидел пожарных, тех же, перед которыми выступал днем.

«...Длинная лента людей в сверкающих касках шла, высоко подняв сотни факелов; пляшущие желтые блики, черные тени скакали вокруг них по фасадам домов. Живое пламя факелов отражалось и играло на их шлемах, из-под которых выступали какие-то суровые и вместе радостные лица, жесткие усы, сверкал то там, то здесь зоркий глаз, и вся картина казалась великолепной и живописной фантазией в духе Рембрандта».

Шел бы, как вчера, проливной дождь, никто из эрмитажных, кроме обреченных дежурить, не притащился бы сегодня с утра в музей. Но погода была столь хороша, они так истосковались по солнцу, что даже семидесятилетний Эрнест Карлович Липгарт, выйдя на улицу погреться, шаг за шагом добрал до Зимней канавки. Сюрприз — в музее оказались почти все сослуживцы.

В залах Отделения Средних веков окна выходят на Неву — придвинули к окнам стулья и кресла: будто в

Нище или в Неаполе — глядишь на пестрый карнавал с арендованного на неделю балкона. Весь день провели у окон, вспоминали бесшабашное карнавальное веселье на улицах и площадях Рима, Севильи, Парижа — дождь цветов, серпантин, конфетти. Разве сравнишь феерический калейдоскоп южных карнавалов со степенным гуляньем петербургского простонародья — туда и обратно вдоль набережной? Ни искрометной тарантеллы, ни масок, ни дурашливых Арлекинов, ни лукавых Коломбин, — помните маскарады на Корсо? А карнавалы в Венеции? в Лиссабоне? на Мальборке?

Зажглись лампы на кораблях — трепещущие цветные огни нежной пастелью легли на матовую поверхность Невы.

Тройницкий продекламировал:

...пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на желтой заре — фонари.

— Карнавалы в Венеции великолепны, — сказал Эрнест Карлович, — но сейчас я понял, чего им не хватает: очарованья петербургских белых ночей.

Разошлись по домам, когда было уже совсем темно. Липгарту повезло — на пути домой ему повстречалось факельное шествие пожарных. Удивительно (впрочем, если подумать, ничего удивительного в этом нет), ассоциации, возникшие у Луначарского, мгновенно возникли и у Эрнеста Карловича: Рембрандт! В его записной книжке помечено: «1/V ...Fackelzug („Die Nachtwache“!)»¹.

9

Весной восемнадцатого года никто в Эрмитаже не поверил бы, что — когда этот год кончится — в отчете о деятельности музея будет напечатано:

«1918 год может быть отмечен, прежде всего, как период коренного переустройства внутренней организации Эрмитажа и вызванных этим больших перемен в личном составе его служащих».

Начало года не предвещало существенных изменений в вялом течении внутримузейной жизни, тем более — ее коренного переустройства. О реформах, разу-

¹ Факельное шествие («Ночной дозор!») (нем.).

меется, говорили и весной, время от времени излагали свои взгляды даже в письменном виде. «Дальнейшее развитие всего Отделения картин,— писал Д. А. Шмидт,— настоятельно требует расширения его программы за пределы XVIII века и устройства в нем нового отдела европейской живописи и скульптуры XIX и XX веков». Шмидту возражал обеспокоенный Липгарт: «Современные картины, а тем более новейших школ со своими световыми пестрыми задачами настолько существенно и резко отличаются от старого письма, что расширение в пределах западного искусства до наших дней в залах Эрмитажа, я полагаю, не может иметь места, так как эта мера вызвала бы полную дисгармонию». Тем эрмитажным «эстетам», которые настаивали на изъятии из состава музейных коллекций археологических памятников, лишенных чисто художественных достоинств, горячо возражали археологи-античники: «Необходимо раз навсегда отказаться от принципа приобретения и выставления лишь изящных предметов, брезгуя, например, черепками хотя бы высокой научной важности». Не оставался в стороне от дебатов и Эдуард Эдуардович Ленц. Он составил записку — «Соображения о желательных реформах в Эрмитаже». Его соображения сводились к тому, что какие-либо реформы в Эрмитаже вообще нежелательны: «Дворцовое древлехранилище» — чем же еще может быть Эрмитаж? «Музей — чертог!» Ни в коем случае не следует отклоняться от этой «исходной точки», «выходить из этих пределов ради систематической полноты и научно-педагогических целей».

О реформах говорить-то говорили, порой исступленно спорили, а потом сами же посмеивались над собой: слишком зыбко все вокруг, шатко, неустойчиво, неопределенно, чтобы придавать мало-мальски серьезное значение тем или иным, даже самым заманчивым, проектам переустройства эрмитажного бытия.

В конце мая, находясь в Москве, Анатолий Васильевич Луначарский поставил в правительстве вопрос об объявлении государственной собственностью Московской городской художественной галереи П. и С. Третьяковых. Декрет о национализации Третьяковской галереи был подписан Лениным 3 июня 1918 года. В этом декрете нашла четкое выражение ленинская мысль о том, что музеи должны выполнять важные «общегосударст-

венные просветительные функции». Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Народном комиссариате просвещения предписывалось срочно выработать и ввести в действие новое положение об управлении Третьяковской галереей и ее деятельности «в соответствии с современными музейными потребностями и задачами демократизации художественно-просветительных учреждений Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». Речь в декрете шла о Третьяковской галерее, но не вызывало сомнений, что государственная задача просвещения народных масс выдвинута перед всеми художественными музеями страны. Вернувшись в Петроград, Луначарский 6 июня направил письмо в Эрмитаж, директору музея Толстому:

«...На очереди поставлено ныне рассмотрение программы дальнейшей деятельности Эрмитажа с рядом серьезных вопросов, касающихся преобразований некоторых Отделений Эрмитажа».

Сколько бы ни дискутировали между собой эрмитажные хранители о потребности тех или иных реформ (а граф Толстой, демонстрируя свою лояльность, даже зачитал на заседании Музейной коллегии кем-то написанный для него вполне толковый доклад), к июню восемнадцатого года во всех пяти отделениях Эрмитажа решительно ничего не изменилось; не претерпел никаких изменений и состав служащих музея, утвержденных в своих «классных» и «неклассных» должностях еще министерством императорского двора; «демократические новшества» сказались, пожалуй, только на структуре музейной администрации — уступка духу времени: хозяйственно-административными делами ведал теперь исполнительный комитет, в который входили делегаты от курий старших и младших служащих (директор музея располагал здесь лишь совещательным голосом), а научно-художественными вопросами должен был заниматься представительный Совет Эрмитажа — помимо эрмитажных ученых, так сказать «своих», к участию в нем предполагалось привлечь видных деятелей науки и искусства, «избираемых со стороны».

О письме, присланном народным комиссаром Луначарским, Толстой доложил на заседании Исполнительного комитета, а затем и на заседании Совета Эрмита-

жа. «Ввиду предстоящих работ по реорганизации Эрмитажа,—говорится в протоколе,—г. председателем <Д. И. Толстым> поставлен вопрос о спешности выбора новых членов Совета». Были избраны известные историки античного мира С. А. Жебелев и М. И. Ростовцев — оба профессора Петербургского университета, а от художественных кругов — Александр Бенуа. Кандидатуру Бенуа демонстративно поддержал сам Толстой: к Александру Николаевичу расположен Луначарский, это всем известно, а в июне восемнадцатого года Толстой был чрезвычайно заинтересован в благосклонности большевистского наркома по причинам сугубо личного свойства, о которых он не упоминал даже в доверительных беседах с Ленцем.

О вновь избранных членах Совета оповестили Коллегию по делам музеев, и этим пока ограничились. Довлеет дневи злоба его — проблемы внутримузейной жизни отступали на задний план под напором стремительного потока политических событий: изо дня в день газеты сообщали о возрастающей активности антибольшевистских сил — заговорах, мятежах, восстаниях. Генерал Краснов, бежавший из Петрограда, действует на Дону. Англичане высадили десант в Мурманске. Взбунтовавшиеся чехословацкие пленные заняли Самару, Уфу. В Москве убит германский посол граф Мирбах. Левые эсеры подняли мятеж в Москве.

С Кремлевских стен еще не были убраны пулеметы, установленные в дни левоэсеровского мятежа, когда в Москве снова, в третий раз, оказался академик Смирнов. В Москву он поехал по просьбе эрмитажного Совета «ввиду появившихся в газетах в последние дни известий о вновь происшедшем ружейном и орудийном обстреле Московского Кремля», «дабы на месте убедиться, не отразился ли упомянутый обстрел чем-либо на целостности эвакуированных в Кремль и Исторический музей сокровищ Эрмитажа». На вокзале он выпил стакан жидкого чая без сахара; подсевший к его столику молодой человек в ситцевой косоворотке, перехваченной офицерским ремнем, довольно осведомленно рассказал кое-какие подробности восстания и между прочим заметил, что есть строгий приказ никого, кроме главных большевиков, не пускать в Кремль — там, видите ли, вздым разорены все соборы и дворцы. К подобным

вракам Яков Иванович уже по привычке, но, распрощавшись со словоохотливым незнакомцем, все-таки с некоторым беспокойством направился привычной дорогой в центр города, к Кутафьей башне, в деревянную будочку, где выдают пропуска.

Пропуск Яков Иванович получил без всякой канители — дежурный посмотрел документы, куда-то позвонил, выписал квиток — и вся недолга.

«Вчера, 15 июля, посетил я г. Москву для проверки на месте газетных известий о повреждениях Кремлю, причиненных во время последнего вооруженного столкновения социалистических партий,— напишет Я. И. Смирнов в своем рапорте. — Ныне счастливым долгом приемлю сообщить, что и сами по себе известия эти оказались сильно преувеличенными, а относительно эрмитажного имущества не имеется никаких оснований опасаться какого-либо его повреждения... хотя мне и в самой Москве приходилось слышать алармистские рассказы — о полном недопущении посетителей в Кремль, о разорении и разграблении кремлевских соборов и т. п.»

Как и в прошлые приезды, Яков Иванович заглянул в Кавалерский корпус, где ему был оказан недавно такой радушный прием, но с огорчением узнал, что Малиновский перебрался со своими сотрудниками за пределы Кремля. Повидаться ему удалось только с Орановским.

«<Комиссия Малиновского> в Кремле ныне уже не помещается,— в прежнем же ее помещении (Кавалерский корпус, бывш. Министерский подъезд) я нашел лишь одного Евгения Владимировича Орановского в новой уже его должности... обозначаемой официально, как заведующий контролем по делам искусств и художественно-исторических ценностей Народного комиссариата государственного контроля»¹.

Орановский расспросил Смирнова о положении в пригородных дворцах Петрограда — в Царском Селе,

¹ В «Инструкции о работе фактических контролеров по делам искусств и художественно-исторических ценностей Наркомата государственного контроля» пункт 6-й гласил: «Все, что мешает научно-правильному развитию художественной жизни Республики, все то, что не способствует пролетариату полно и широко пользоваться всеми благами художественной культуры в настоящем, все, что закрывает доступ к художественно-историческим сокровищам и грозит им порчей, разрушением или гибелью, подлежит обследованию, ревизии и самому энергичному пресечению путем привлечения к ответственности виновных».

Гатчине, Петергофе, Павловске. Вспомнив, что Яков Иванович имеет какое-то отношение к Клинскому уезду, он стал советоваться, кто из заслуживающих доверия местных людей может быть привлечен к охране дома Чайковского, а равно и находящихся в том же Клину рукописей и библиотеки Танеева.

— Пожалуй — мои кузены, — сказал, подумав, Яков Иванович¹.

Он вернул разговор к вопросу об эрмитажном имуществе и остался вполне удовлетворен полученной информацией:

«...Во время продолжительной беседы своей с Евгением Владимировичем Орановским... по прямому содержанию вопроса, привлечшего меня в Москву, я получил успокоительные сообщения и утверждения, что все хранимое в Кремле имущество Эрмитажа находится по-прежнему в полной неприкосновенности и сохранности и что прежняя охрана дворца и помещений, где сложены ящики, не оставляет и ныне желать ничего лучшего».

Свой рапорт о посещении Кремля академик Смирнов адресовал на этот раз не «его сиятельству графу Толстому», а «Совету хранителей Эрмитажа».

Графа Толстого в Эрмитаже уже не было.

Провожая в дальнюю дорогу друзей и знакомых, все в большем числе покидавших большевистский Петроград, Толстой не переставал удивляться собственному мужеству. Его тоже упорно звали в Киев, уговаривали, убеждали, но каждый раз он находил в себе силу воли, чтобы подавлять все соблазны, все искушения. И только тогда, когда Украину оккупировали австро-германские войска и письма Елены Михайловны стали приходить из освобожденного от большевиков Киева,

¹ В письме на имя помощника народного комиссара имуществ Республики Н. Д. Виноградова 18 июля 1918 года Е. В. Орановский писал:

«Андрей Александрович Смирнов и брат его Иван Александрович могут быть полезны при обследовании дела о домике Чайковского и библиотеки Танеева в Клинском уезде как жители этого уезда, лично рекомендованные ординарным академиком Российской Академии наук Я. И. Смирновым».

его воля сломилась, он ощутил страшную душевную усталость и незаметно для себя начал всерьез подумывать об отдохновении под сенью киевских каштанов.

«Трещат наши латифундии не на шутку», — писала ему в январе Елена Михайловна о Кагарлыке, а на следующий же день после занятия немцами Киева, 2 марта 1918 года, поторопилась сообщить: «Приходил Моисеев¹, полный надежд на восстановление собственности».

Слава богу — письма Елены Михайловны окрашены теперь в оптимистические тона. «Начала свое утро с банка, чтобы вернуть в сейф часть вовремя вынутого перед большевиками, завтра снесу туда драгоценности». «Ваник собирается в Кагарлык, как только выяснится обстановка, а мы с Ириной уже мечтаем поехать в середине апреля туда же...»

В Кагарлыке весна прекрасна. Ваник привык в Кагарлыке играть в теннис, а хватит ли Ваника на большее — очень, очень сомнительно. Надо ехать в Киев, надо возрождать Кагарлык, — с его стороны просто свинство устраниваться от дела, необходимого для благополучия семьи.

И еще этот полковник Бойль... Какой-то канадец. Все от него в восхищении — и Елена Михайловна, и Ваник. «Он миллиардер, сам сделал состояние на золотых приисках в Клондайке, где живет», — захлебываясь от восторга, пишет Елена Михайловна. В Ванিকে он принимает горячее участие, Ваник успел уже съездить с ним в Румынию. «Он отлично ехал туда и назад в вагоне Bouly и в Яссах жил две недели тоже в вагоне... В Яссах Ваник познакомился с Братиано, который, узнав, что он твой сын, поручил тебе кланяться и сказал, *qu'il soit content de savoir que votre père se porte bien*². Все деятели Румынии, как Братиано и другие, были на обеде с Ваником, и он служил переводчиком»³. Все это мило, все это прекрасно... «Bouly предложил Ванику купить у нас сахар и заплатить с потерей курса иностранными деньгами. Он покупает

¹ Управляющий сахарными заводами Е. М. и Д. И. Толстых.

² «Он счастлив узнать, что ваш отец находится в добром здравии» (франц.).

³ Братиано Йон (1864 — 1927), румынский буржуазный политический деятель. В 1918 году был одним из инициаторов и организаторов захвата советской Бессарабии.

Имя полковника Бойля встречается в некоторых дипломатических документах той поры.

массу сахара для Румынии... Ваник очень стоит за это и говорит, что канадец такой человек, что он сумеет этот сахар вырвать у крестьян в Кагарлыке». Вероятно, есть резон принять предложение этого Бойля и продать ему сахар. Но, оказывается, Бойль промышляет не только сахаром. «Boyl предлагает Ванику повезти за границу наши деньги и бриллианты». Как бы Елена Михайловна при всем уме не обманилась — кто знает, может быть, этот Бойль и вполне достойный человек, а вдруг — международный авантюрист, современный Калиостро?! Одного Бойля достаточно, чтобы очертя голову помчаться в Киев. И с младшим сыном Андреем надо что-то предпринять — совсем ополоумел Андрик, ни с того, ни с сего прикатил из сытого Киева в голодный Петербург, свалился как снег на голову и без отца ехать обратно категорически отказывается.

Сборы в дорогу по нынешним временам дело нелегкое, нанять ломового извозчика — и то проблема, без Андрика он бы пропал. Сравнительно быстро — на протяжении апреля — удалось ликвидировать квартиру в Ламотовом павильоне: то, что в ней еще находилось — остатки мебели, картины, бронзу, — перевезли в два приема на Калашниковский проспект, в складское помещение, арендованное еще осенью. Толстому попало старое письмо Елены Михайловны: «С грустью думаю, что красная гостиная, в которой большая часть жизни прошла с нашей молодости, больше не будет существовать... Хорошая страница из жизни еще перевернута. Я отчего-то думаю, что с этой ликвидацией ликвидируется для нас жизнь в Петрограде». Он тогда же ответил и продолжает на том стоять, что ничего еще не кончено, что жизнь им еще улыбнется, что из окон Ламотова павильона они еще будут любоваться закатами на Неве. Красную гостиную, разумеется, можно было бы и не перевозить в Успенский двор на Калашниковском проспекте; и мебель, и картины, и все прочее было бы всего проще оставить под расписку в Эрмитаже — по примеру графини Паниной и других благоразумных людей, на время покидавших большевистский Петроград, но он предпочел складское помещение на окраине: никому из эрмитажных, даже ближайшим сотрудникам не следует знать, что он уезжает из Петрограда на неопределенный срок, — он едет в отпуск, только в отпуск, на три, четыре, от силы на шесть недель. В Исполнительном комитете Эрмитажа и в Совете хранителей ему

сочувствуют — он единственный из старых служащих музея, кто разлучен с семьей!

Последние дни месяца выдались холодными и дождливыми. Толстой любил тепло. Утром 30 апреля он, промокший и продрогший, еле дотянул до Эрмитажа. Он еще не успел отдышаться, посидеть немного в покое, как его разволновал скульптор Шервуд. Нашел о чем докладывать — не поспевает со своими дурацкими колесницами к завтрашней манифестации! При чем тут Эрмитаж и при чем тут он, граф Толстой? С несвойственной ему резкостью он оборвал Шервуда на полуслове и ушел в канцелярию. Здесь он попросил у переписчика несколько листов бумаги и принялся составлять прошение об отпуске.

Простение он адресовал: «Г. Народному Комиссару А. В. Луначарскому». Он написал: «Расстроенное состояние моего здоровья», но, вспомнив, что по его же совету именно так мотивировал свое прошение об отпуске Могилянский из Русского музея, досадливо зачеркнул эти слова. Начал сызнова:

«Положение моих личных и семейных дел требует моей поездки в г. Киев, посему позволяю себе, с согласия Совета и Исполнительного Комитета Эрмитажа, обратиться к Вам, г. Комиссар, с просьбой о разрешении мне воспользоваться шестинедельным отпуском по семейным обстоятельствам в г. Киев...»

На этом прошении, сохранившемся в архиве Эрмитажа, имеется пометка: «Отправлено не было».

Своего прошения Толстой не отослал Луначарскому, потому что первые числа мая были объявлены неприступными днями, а затем в газетах появились противоречивые сообщения о политическом перевороте в Киеве, совершенном германцами.

Письмо Елены Михайловны пришло с оказией:

«16/29 апреля 1918 г. Дорогой мой, родименький! У нас невероятное событие: Рада вчера вечером была арестована немцами и назначен гетманом Скоропадский, составляется новое министерство и уничтожаются все земельные комитеты...»

О том, что Рада — не жилища, он подозревал давно, — хохлацкий парламент! А немцам нужна не игра в демократию, им подай хлеб, мясо, руду. «Wir werden Ordnung schaffen!»¹ — сказал немецкий полковник Елене Михайловне на приеме у княгини Кочубей.

¹ «Мы наведем порядок» (нем.).

(Из майских писем Е. М. Толстой:

«Кагарлык признан самым беспокойным пунктом в уезде»... «Уездный начальник сказал, что в Кагарлык 7-го послан карательный отряд. Оттуда известий не имею....» «Сегодня, наконец, получила письмо, что немцы появились в Кагарлыке. Сначала появилось несколько человек, а потом подъехали еще с пулеметом. Крестьяне расклеили афиши, призывающие «гнать врагов вон» и не сдавать оружие, тогда немедленно были арестованы председатели спилки и земельного комитета»... «Говорила с очевидцем прихода немцев в Кагарлык. Село точно вымерло. Приказано было прежней администрации завода его снова взять, и она им сейчас управляет. Мы слушали этот рассказ с трепетным интересом, как ты можешь себе вообразить»... «Начинаю думать, что лучше идти с немцами к устройению России, чем с союзниками к дальнейшему поддержанию развала»¹.

Толстой ощутил прилив энергии. Он составил новый текст прошения на имя Луначарского — теперь уже не о шестинедельном, а о двухмесячном отпуске; к мотивам семейного характера он, не удержавшись, все-таки присоединил и ссылку на свое расстроенное здоровье. Короткий телефонный разговор, и Андрик, съездив по его поручению в Обуховскую больницу, принес бумажку, удостоверяющую, что Д. И. Толстой «нуждается для лечения соответствующими грязями и ваннами в отъезде на юг России».

В те дни Луначарский находился в Москве. Он возвратился в Петроград только в июне, и на второй же день Дмитрий Иванович уже был у него в приемной — в Зимнем дворце, на Детской половине. От Луначарского Толстой ушел в приподнятом настроении: хотя ему и пришлось битый час толковать о демократизации музейного дела в новой России, но к концу разговора он изловчился и ввернул словечко о цели своего визита.

— Непременно, Дмитрий Иванович, поезжайте. Обязательно. Воспаление суставов, вероятно, мучительная штука.

Некоторое время Толстой еще продолжал ходить в Эрмитаж, хотя в его бумажнике давно лежали все нужные документы, все пропуска для проезда в Киев и для обратного проезда в Петроград. Он неоднократно прощался с сослуживцами, но отъезд почему-то откладывал со дня на день, с недели на неделю. И вот од-

¹ В начале 1918 года перестало быть тайной секретное соглашение между Англией и Францией о разделе России на «зоны влияния», заключенное в декабре 1917 года.

нажды, в июле, никому не сказавшись, Толстой исчез. Правда, в том же июле, поближе к августу, один галерейный служитель божился, что видел их сиятельство в рядах Андреевского рынка, но служитель был стар и подслеповат, мог и обознасться.

Готовясь к отъезду, Толстой привел в порядок свой архив и оставил его на сохранение в верном месте. Объемистый пакет составили письма из Киева. Последнее из этих сохранившихся писем было не от Елены Михайловны, а от сына Ивана:

«Дорогой папа! Следующей, второй оказией будет послан пропуск, по получении которого придется тебе действовать следующим образом: надо поехать в Москву и там предъявить этот документ... Тебе и Андрику будет оказано всяческое содействие. Поедешь ты не обыкновенным, а должностным поездом российской мирной делегации на Украине... — по-видимому, этот способ переезда даст максимум гарантии от обысков и т. п. До скорого свидания»¹.

Письмо датировано 15 июля 1918 года.

Время, когда Толстой очутился в Киеве, белоэмигрантские мемуаристы будут впоследствии считать блаженной порой своего беженского существования:

«Сравнительное благополучие Киева в гетманское время резко оттенялось быстрым обнищанием Петрограда и Москвы. На севере начинался уже голод, который был нам еще совершенно незнаком... Все, кто только как-нибудь мог, устремились на юг, в Киев... К нам переехали правления всех банков, крупные промышленники и финансисты, представители аристократии, придворных и бюрократических кругов... В эти несколько месяцев, с августа по декабрь 1918 года, у нас, можно сказать, перебивал „весь Петроград“ и „вся Москва“».

Толстой ожил, воспрял духом, послал в Петроград прошение с просьбой пролонгировать ему отпуск на один месяц — «для продолжения лечения». Когда и этот месяц прошел, он счел неприличным долее морочить голову сослуживцам и опустил в почтовый ящик еще одно письмо:

¹ Мирные переговоры между Советским правительством и националистическим правительством Украины были обусловлены Брест-Литовским мирным договором. Они тянулись вплоть до ноября 1918 года, когда в связи с революцией в Германии ВЦИК аннулировал Брестский договор в целом.

«Считаю своим долгом доложить Совету Эрмитажа, что в силу сложившихся обстоятельств я не имею возможности в настоящее время вернуться в Петроград и потому исполнять обязанности директора Эрмитажа не могу, о чем прошу не отказать сообщить кому следует».

В декабре, сразу после бегства Скоропадского, начался повальный исход петербургского и московского бомонда из Киева за границу. «Переселившиеся к нам при гетмане „вся Москва“ и „весь Петроград“, — пишет тот же белоэмигрантский мемуарист, — двинулись в путь к следующему этапу своего беженства».

Толстой — в конце концов — обосновался где-то на Лазурном берегу, не то в Каннах, не то в Ницце, — он всегда любил тепло. Первое время он еще ожидал перемен в России и думал об Эрмитаже. Потом ждать перемен он перестал: не Россия теперь — Советский Союз, не Петербург — Ленинград.

«Prince Dimitri Tolstoi. Ex-directeur de l'Hermitage Imperial»¹.

Эр-ми-таж! Да был ли вообще Эрмитаж?

Вслед за графом Толстым покинул Эрмитаж и барон Коскуль. Он бежал не на юг, а в оккупированную немцами Эстляндию.

Прежде, на протяжении долгого десятилетия, отбывая в отпуск внутри империи или за границу, Толстой обычно оставлял за себя в Эрмитаже старшего хранителя Ленца; покидая Петроград в восемнадцатом году, он не изменил своему правилу. «Хранитель Ленц, — сказано в годовом отчете музея, — с 20 июня по 23 августа 1918 года исполнял обязанности директора Эрмитажа». Сложил с себя эти обязанности Эдуард Эдуардович по собственному побуждению, в силу обстоятельств, ввергших его в состояние яростного гнева.

Сыр-бор разгорелся из-за того, что Коллегия по делам музеев 2 августа признала работу Эрмитажа «недостаточной и несоответствующей» и потребовала от

¹ «Граф Дмитрий Толстой. Экс-директор Императорского Эрмитажа» (франц.).

его хранителей произвести коренную реформу всего уклада музейной жизни. Ленц вознегодовал. Собрав членов Совета, он, не вдаваясь в существо предъявленных требований, напомнил эрмитажному снεδриону, что «в январе Эрмитажем было получено письмо комиссара Луначарского с обещанием не вмешиваться во внутреннюю жизнь Эрмитажа, ежели Эрмитаж будет спокойно продолжать свою работу»; ныне же господин Ятманов и его Коллегия, денонсируя предоставленные Эрмитажу письменные гарантии, позволяют себе вмешиваться во внутренние дела музея.

«Сообщив все вышеизложенное,— значитсЯ в протоколе,— Э. Э. Ленц поставил вопрос о том, реагировать ли на такое нарушение автономии Эрмитажа, и если реагировать, то каким образом? Можно выразить протест с указанием, что все подчиняются по причинам материального свойства, и можно просто подать в отставку».

— Мое мнение — подать в отставку,— сказал Ленц,— сообща, in согре, в полном составе.

Никто его не поддержал, напротив — ему возразили. «Я. И. Смирнов полагает,— записал протоколист,— что письмо Луначарского (январское) сейчас значения не имеет, так как Коллегия, ведающая музейными делами, создавалась позже и с согласия Эрмитажа, пославшего в нее своих делегатов». В том же духе, но еще более твердо высказался Тройницкий. Он указал, что «Музейная коллегия с самого своего возникновения предназначена была играть роль высшего органа по музейному делу, объединяющего и направляющего деятельность музеев».

Ленц не нашел, что ответить. Решение пришло лишь к концу месяца. «23 августа,— говорится в документе,— Э. Э. Ленц по болезненному своему состоянию сложил с себя председательствование в Совете и функции заместителя директора».

В августе Толстой еще числился в отпуске и до его ожидаемого возвращения обязанности директора музея стал с общего согласия временно исполнять Сергей Николаевич Тройницкий.

Список научных трудов, приложенный Тройницким к служебной автобиографии, вполне отчетливо характеризует общее направление дореволюционных исследо-

вательских интересов Сергея Николаевича. «О гербах Ечилинов, королей венгерских Анжуйского дома и герцогов Бургундских второй линии», «Гербовые девизы русского, польского, финляндского и прибалтийского дворянства», «Гербы князей Щербатовых» и еще многое другое в подобном же роде. Сюда, в этот перечень геральдических изысканий, вроде бы совсем не к месту затесалось упоминание и такой работы, совершенно неожиданной для ученого-гербоведа:

«Отдельное издание оды «Вольность» А. Н. Радищева, впервые напечатанной полностью».

Однако нет ничего странного в том, что радищевскую оду «Вольность» — полный текст, без всяких цензурных купюр — в 1906 году напечатал именно Тройницкий; в те же годы он готовит к изданию «Записки» декабриста И. Д. Якушкина, своего прадеда по материнской линии, редактирует записки другого декабриста — Сергея Трубецкого и еще воспоминания Пушкина о Пушкине. Эти литературные занятия не были в его жизни проходным эпизодом: перед Якушкиным, перед всеми героями декабрьского восстания он с юных лет благоговел. А ведь Радищев был родоначальником декабристов!

Говоря о себе, Тройницкий сам находил, что факты его пестрой биографии разбегаются порой в разные стороны. Но юношеская пылкость не оставляла Сергея Николаевича и в зрелом возрасте: в восемнадцатом году он искренне был убежден, что его духовная генеалогия восходит к декабристам, а если к декабристам, то и к Радищеву.

О том, что именно он первым полностью напечатал знаменитую оду «Вольность», Сергей Николаевич охотно напоминал, если подвергивался случай. Но не только поэтому пришел он вместе с Луначарским в воскресенье 22 сентября около двух часов дня на Дворцовую набережную к ограде, окружающей садик перед Зимним дворцом: предстояло небывалое торжество в честь «первого пророка и мученика революции», и Эрмитаж некоторым образом участвовал в этом торжестве — скульптор Леонид Владимирович Шервуд являлся автором памятника Радищеву, который сегодня должен был быть публично открыт возле дворца Растрелли.

...Декрет «О памятниках Республики» был принят Советом Народных Комиссаров по докладу А. В. Луначарского и опубликован за подписью В. И. Ленина

14 апреля в газете «Известия»¹. Незадолго перед тем в кремлевском кабинете Ленина между Владимиром Ильичем и приехавшим из Петрограда Анатолием Васильевичем Луначарским состоялась продолжительная беседа, общий смысл которой передает Луначарский в своих воспоминаниях «Ленин и искусство» и «Ленин о монументальной пропаганде».

— Давно уже передо мною носилась эта идея, которую я вам сейчас изложу,— сказал Ленин, обращаясь к Луначарскому. — Вы помните, что Кампанелла в своем «Солнечном государстве» говорит о том, что на стенах его фантастического социалистического города нарисованы фрески, которые служат для молодежи наглядным уроком по естествознанию, истории, возбуждают гражданское чувство — словом, участвуют в деле образования, воспитания новых поколений. Мне кажется, что это далеко не наивно и с известным изменением могло бы быть нами усвоено и осуществлено теперь же... Я назвал бы то, о чем я думаю, монументальной пропагандой.

Ленин продолжал:

— Наш климат вряд ли позволит фрески, о которых мечтает Кампанелла. Вот почему я говорю, главным образом, о скульпторах и поэтах...

О поэтах Ленин упомянул, имея в виду, что монументальную пропаганду следует проектировать в нескольких направлениях. По его мысли, на стенах общественных зданий, в разных видных местах наших городов должны быть сделаны революционные надписи, краткие, но выразительные, лозунги, цитаты. «Второй проект,— вспоминает Луначарский,— относился к постановке памятников великим революционерам в чрезвычайно широком масштабе, памятников временных, из гипса, как в Петербурге, так и в Москве».

К работе, которая была призвана «двинуть вперед искусство, как агитационное средство», приглашались все художники Москвы и Петрограда. В июльском номере петроградского журнала «Пламя» появилась статья А. В. Луначарского:

¹ «В Собрании Указаний и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства» этот декрет напечатан под заглавием «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции». Тот же декрет при публикации 16 апреля 1918 года в петроградской «Красной газете» был озаглавлен: «Уничтожение памятников позора и создание памятников славы».

«Комиссариат просвещения, по инициативе председателя Совета Народных Комиссаров т. Ленина, приступит скоро к агитации нового образца, к агитации и пропаганде монументальной.

Для этого, во-первых, в самом близком будущем будет сделан выбор многочисленных цитат,—плодов ли народной мудрости, или изречений великих умов всех стран и наций,—которые отвечают миросозерцанию и настроению новой, социалистической России.

Изречения эти будут вырезаны на каменных досках или отлиты из бронзы и поставлены на видных местах в Петрограде, Москве и всюду, где Совдепам угодно будет вступить на этот путь.

...Одновременно с этим мы начинаем ставить в садах и удобных уголках столицы памятники великим, особенно перед революцией заслужившим людям России и мира небольшие художественные памятники, преследующие скорее именно цели широкой пропаганды, чем цели увековечения.

Мы будем гнаться не за внешней пышностью, не за ценностью материала, а за количеством и выразительностью этих памятников.

Мы твердо надеемся, что в более спокойное время многие из этих памятников превратятся в вечные мраморы и бронзы.

Пока этим гипсам и терракотам предстоит, прежде всего, сыграть живую роль в живой действительности.

Памятники будут открываться по воскресеньям...

...Общее руководство работой по изготовлению и постановке этих памятников поручено известному скульптору Шервуду, но к работе будут привлечены все желающие самым широким образом».

О скульпторе Шервуде напомнил Луначарскому комиссар Ятманов. Кандидатуру Леонида Владимировича нарком одобрил.

«Анатолий Васильевич Луначарский,—рассказывает Л. В. Шервуд,—знал меня по многим памятникам на Литераторских мостках Волкова кладбища — Глебу Успенскому, Бунакову, Гарину-Михайловскому. Я предполагаю, что и В. И. Ленин слышал обо мне, так как я еще студентом Академии художеств одновременно с Надеждой Константиновной Крупской работал за Невской заставой в селе Смоленском в школах попечительства Варгунина».

Со «Списком лиц, коим предположено поставить монументы», ознакомил Шервуда сам Луначарский. Одним из первых в списке стоял Радищев.

— Если не возражаете, Анатолий Васильевич, Радищева выполняю я.

Луначарский предупредил, что сроки даются минимальные — два-три месяца.

«За отсутствием многих материалов работа моя затянулась. В. И. Ленин торопил меня через А. В. Луначарского скорее закончить скульптуру».

Ленинские документы свидетельствуют о том, что Владимир Ильич постоянно — и в июне, и в июле, и в августе — с настойчивым интересом проверял, как претворяется в жизнь увлекшая его идея монументальной пропаганды; сердился и негодовал, когда сталкивался с медлительностью, нерадением, ротозейством. Известно, что 30 августа В. И. Ленин был тяжело ранен эсеркой-террористкой; после ранения он впервые председательствовал в Совнаркоме 17 сентября, а на следующий день, 18 сентября, телеграфировал Луначарскому в Петроград:

«Сегодня выслушал доклад Виноградова о бюстах и памятниках, возмущен до глубины души; месяцами ничего не делается; до сих пор ни единого бюста. <...>»

Наконец 20 сентября, в пятницу, Луначарский составил телеграмму Владимиру Ильичу:

«Москва. Совнарком. Ленину.

...Петрограде памятник Радищеву открывается в воскресенье...»

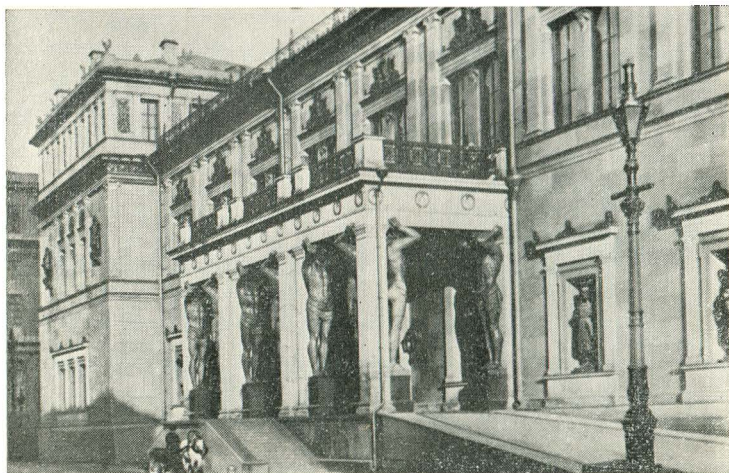
Население Петрограда было оповещено через газеты:

«В воскресенье, 22 сентября, в 2 часа дня, на Дворцовой набережной (уг. Зимнего дворца, против Дворцового моста и Адмиралтейства) состоится, согласно постановления Совета Народных Комиссаров, торжественное открытие 1-го агитационного памятника революционеру Радищеву работы скульптора тов. Л. В. Шервуда».

Все кругом запружено народом — и набережная, и Адмиралтейский проезд, и дворцовый садик. К участию в торжестве приглашены рабочие, культурно-просветительные организации и все учебные заведения. Прибыли красноармейские части — колышутся знамена, под солнечными лучами сверкает медь духовых оркестров. В проломе ограды дворцового садика высится памятник — невидимый еще, закрытый красной тканью.

Эрмитажный подъезд
с гранитными атлантами.
Дореволюционная фотография.

В закрытом для публики
Эрмитаже эвакуационные
работы ведутся уже второй
месяц.
Упаковка картин в сентябре
1917 года.



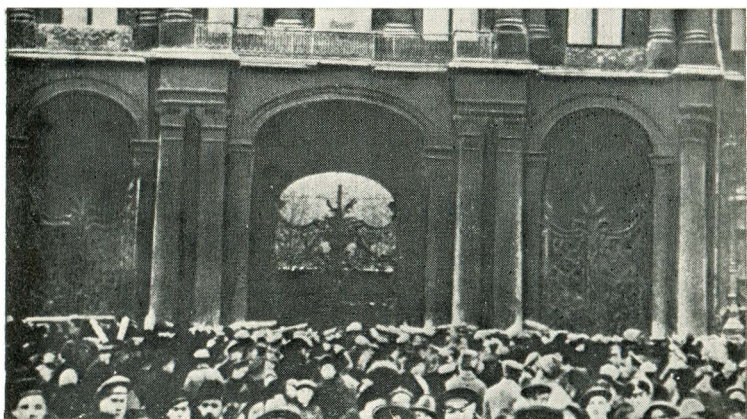
Здесь, в лоджиях Рафаэля,
эрмитажные хранители провели
весь день 25 октября.
Лоджии Рафаэля.
Акварель К. Ухтомского. 1860.

Черное небо над стеклянным
потолком вдруг осветилось
как бы зарницей...
Зал итальянской живописи.
Дореволюционная фотография.



Чуть ли не полгорода побывало
в это утро подле взятого с бою
Зимнего дворца.
Дворцовая площадь 26 октября
(8 ноября) 1917 года.

Прапорщик черкнул на листке
бумаги...



Пропуск
разрешаю входить в
квартиру Момсману
и обратно 26/10/17
Директ. Управления
За Комиссариата
прапорщ. Рудник

Параграф 104 параграф 104
Начальнику Главного Артиллерийского Управления
пункту с пунктом 104

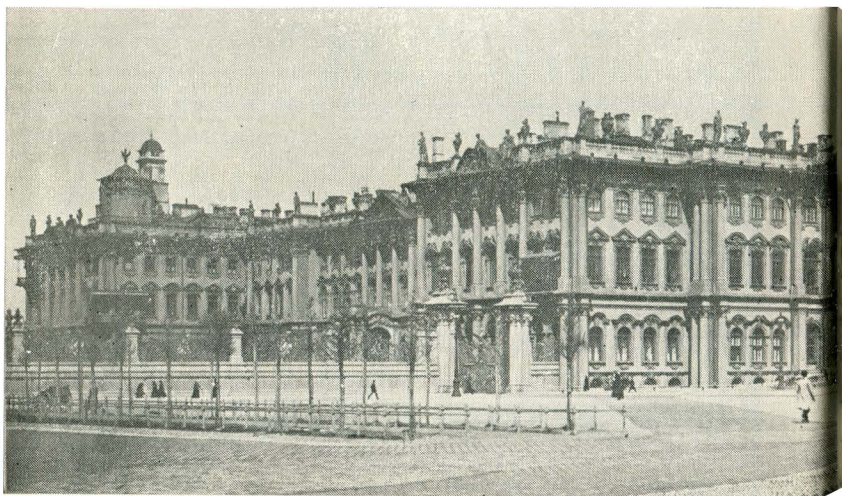
Джон Рид: «...все письменные столы и бюро были перерыты, на полу валялись разбросанные бумаги...»

Дворцовые комнаты после штурма.



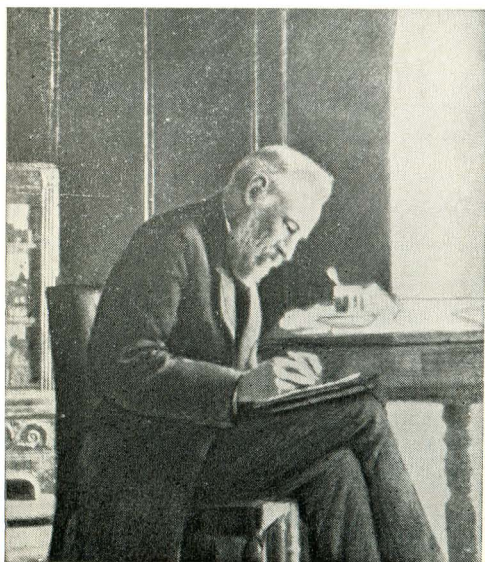
Лариса Рейснер: «...не будь Керенского во дворце, народный гнев не тронул бы ни одной безделушки».

«...Объявить Зимний дворец государственным музеем наравне с Эрмитажем». Зимний дворец. Вид с Дворцовой площади. Дореволюционная фотография.



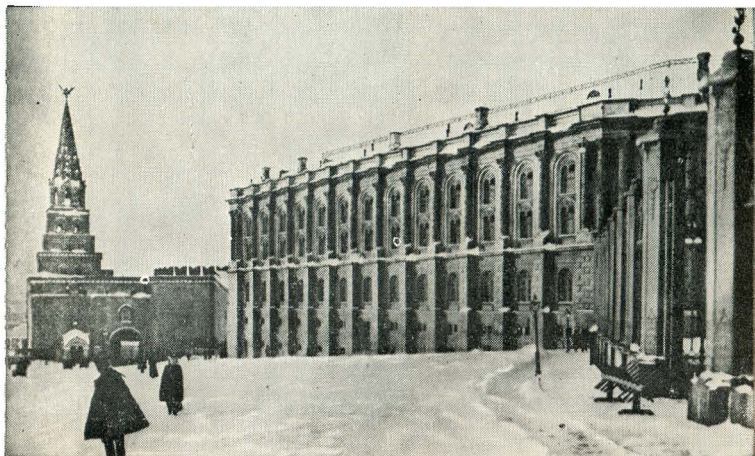
Выяснить участь вывезенных
в Москву эрмитажных
коллекций поручили Якову
Ивановичу Смирнову.
Академик Я. И. Смирнов.

Я. И. Смирнов: «...я мог воочию
убедиться в целостности ящиков
Эрмитажа в сенях Большого
дворца...»
Большой Кремлевский дворец.
Дореволюционная фотография.



«...Неприкосновенны и большие ящики с картинами Эрмитажа, стоящие в вестибюле музея». Исторический музей в Москве. Дореволюционная фотография.

Ящики Эрмитажа, сложенные в Оружейной палате, никаким повреждениям не подвергались. Оружейная палата в Кремле. Дореволюционная фотография.



Правительственный
комиссар по делам
дворцов и музеев
Г. С. Ятманов.
Фотография
1920-х годов.

Революционные
матросы и солдаты
величали его
«товарищ князь»...
Портрет князя
И. Д. Ратнева.
Беккер (?)



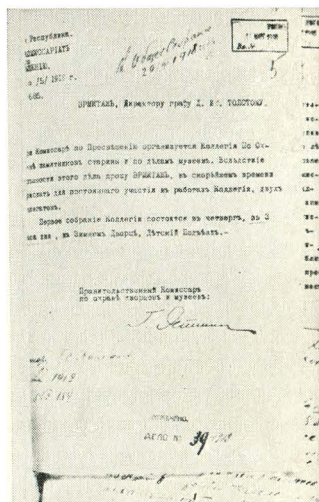
Письмо,
подписанное
Ятмановым, нашли
в папке
с входящими
бумагами.

Полномочными делегатами Эрмитажа
в наркомпросовскую Коллегию по делам
музеев были избраны Тройницкий
и Шмидт.

Г. С. Верейский.
Портрет С. Н. Тройницкого. 1927.

Александр Бенва.


Портрет Д. А. Шмидта. 1921.



Первый Первомайский праздник
после Октябрьской победы.
Стоя на грузовике,
А. В. Луначарский
приветствует манифестантов.

Брошюра с речью
А. В. Луначарского,
произнесенной на открытии
памятника Радищеву.





А. В. Луначарский


Александр Николаевич

РАДИЩЕВ

ПЕРВЫЙ ПРОРОК и МУЧЕНИК РЕВОЛЮЦИИ

Речь, произнесенная на открытии памятника в Петрограде 22 сентября народным комиссаром А. Луначарским. С приложением снимка с памятника Радищеву работы Шервуа, его портрета и избранных страниц из книги его: „Путешествие из Петербурга в Москву“.

Цена 1 р. 20 к.



ИЗДАНИЕ
Петроградского Совета Рабочих и Красновар. Депутатов
1919

Памятник А. Н. Радищеву,
установленный перед Зимним
дворцом осенью 1918 года.



Статья
А. М. Горького
«Американские
миллионы».

Изо дня в день,
из номера
в номер —
20 000 000
долларов.

Американские миллионы.

На страницах «Нового Времени» печатается объявление о том, что анимированное американское общество ассигновало 20 миллионов долларов для покупки в России старинных художественных вещей из золота и серебра, а также же картин, бронзы, фарфора и вообще предметов искусства.

20 миллионов долларов — это, кажется, больше 75-ти миллионов рублей; как видите, дело поставлено «по-американски» широко. Принаاستоры этого начинания глупо угадывать смысл таковых намерений, как разгром, воровство картин горного Лейхтенбергского, возможность погнать знатнейших старинных дворянских усадьб и все прочее в этом духе.

Угали они так же и общую некультурность и даже слепоту населения страны, общую весть нам низкую оценку значения искусства и дешевизну русских денег и всю силу тех трагических условий, в которых мы живем.

Лавина американских денег, несомненно, вызовет великое соблазнение не только у темных людей Александровского рынка, но и у людей более грамотных, более культурных. Не будет ничего удивительного в том, если разные авантюристы сораздумают шайку воров специально для разгрома частных и государственных коллекций художественных предметов.

Еще меньше можно будет удивляться и негодности, если напуганные «паникой» усложненно разнимаемой ловкими политиками из соображений «тактических», обладаючи художественных коллекций напугут сами обывать из Америки национальные сокровища России, прекрасные памятники ее художественного творчества.

При всей силе наших кризисов о любви к родной, эти любовь редко высвобождаются, особенно, вать очень подоснованным аномом.

Американское предприятие, это, конечно, поведут сь американской энергией. Это предприятие грабят нашей страны, не думая о последствиях, оно вызовет из России массу прекрасных вещей, исторических и художественных ценностей, которых выше всяких миллионов.

Оно вызовет из жизни темный и скитный жадности и, возможно, что мы будем свидетелями историй, пред которыми потускнеть фантастическая история похищения из Лувра бессмертной картины Леонардо да Винчи.

20.000.000 дол.

ассигновано крупным американским обществом для покупки античных вещей в России.

Не прожайте ничего раньше, чем показать ваши драгоценные камни, золото, серебро, миниатюры, табакерки, гобелены, мебель, фарфор, бронзу, гравюры и пр.,

представителю фирмы П. ГОРВИЦУ.

Преображенская, 21, кв. 2, тел. 215-33.

Принимать от 11 ч. утра до 2 ч. дня.

АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО

с капиталом 20.000.000 дол.

прислало своего представителя специально для покупки бриллиантов, частных камней и всевозможных старых вещей из золота и серебра, табакерки, фарфора, мебели, гобеленов, картин, миниатюр, гравюр, бронзы и т. п.

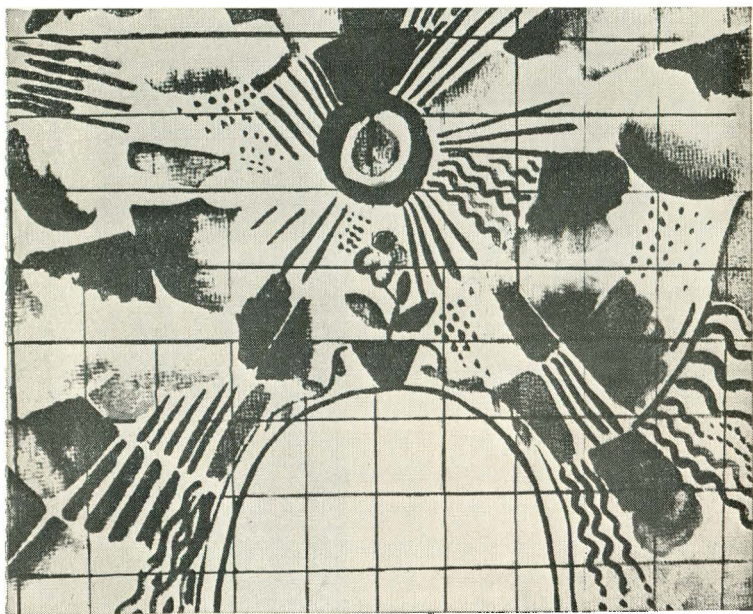
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ РОССИИ:

П. ГОРВИЦЪ,

Преображенская, 21, кв. 2, тел. 215-33. Принимать от 11 ч. у до 2 ч. дня.

О. Ф. Вальдгауер.
Рисунок Александра Бенуа.
Сентябрь, 1920.

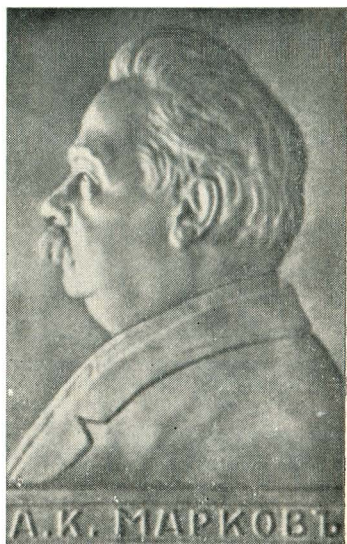
К первой годовщине Октября
на эрмитажном здании
развесили раскрашенные
холстины.
Д. П. Штеренберг.
Солнце свободы.
Эскиз центрального панно
для Эрмитажа.



Г. С. Верейский.
Портрет
С. А. Жебелева.
1926.

Г. С. Верейский.
Портрет
Э. К. Липгарта.
1921.

Плакетка,
отчеканенная
в честь
А. К. Маркова.

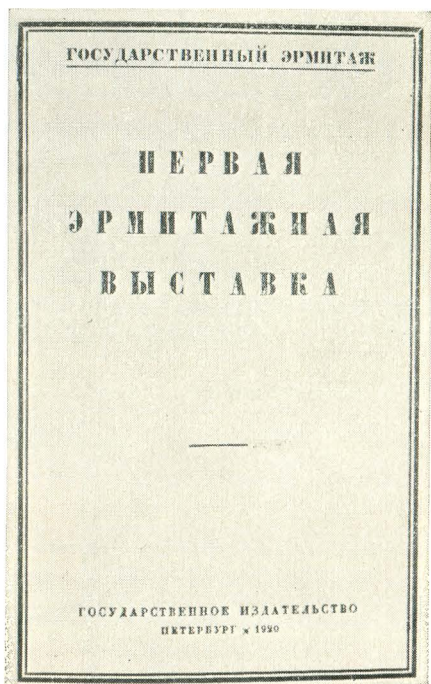


Г. С. Верейский. Портрет
Александра Бенуа. 1922.



Открытие Первой
государственной свободной
выставки произведений
искусства состоялось 13 апреля
1919 года.

В рабочей библиотеке
В. И. Ленина в Кремле
среди книг, посвященных
искусству, находился
и путеводитель «Первая
Эрмитажная выставка».



В те времена не было ни микрофонов, ни репродукторов, но голос Луначарского был слышен всем. Коротко, в словах возвышенных — о прекрасной жизни Радищева, с горечью — о мученической его судьбе; по памяти — строки из великой книги «Путешествие из Петербурга в Москву», тираноборческие цитаты из оды «Вольность»; с гордостью большевика-революционера — о предтече революции, восславившем грозный суд народный над царями.

Широким взмахом руки Луначарский указал на застывшую рядом громаду дворца — бурую, цвета бычьей крови:

— Вы видите, товарищи: мы заставили для Радищева посторониться Зимний дворец, бывшее жилище царей. Вы видите: памятник поставлен в брешу, проломанной в ограде дворцового сада. Пусть эта брешь является собой для вас знамение той двери, которую сломал народ богатырской рукой, прокладывая себе дорогу во дворцы. Памятнику первого пророка и мученика революции не стыдно будет стоять здесь, словно стражу у Зимнего дворца, ибо мы превращаем его во дворец народа: в его кухнях будем готовить для трудящихся пищу телесную, в его Эрмитаже, в его театре и великолепных залах обильно дадим пищу духовную.

«После этих слов, вызвавших бурные аплодисменты,— писала «Петроградская правда» в отчете об открытии памятника,— красная завеса с бюста была сдернута, военные оркестры грянули „Интернационал“ и все обнажили головы».

— Теперь смотрите,— продолжал Луначарский,— на величественное и гордое, смелое, полное огня лицо нашего предвестника, как создал его скульптор Шервуд. В нем живет нечто смятенное, вы чувствуете, что бунт шевелится в сердце этого величаво откинувшего орлиную голову человека... Товарищи! Пусть искра великого огня, который горел в сердце Радищева и отсвет которого ярко освещает вдохновенное лицо его, упадет в сердце каждому из вас, присутствующих на этом открытии, и в сердце всех тех многочисленных прохожих, которые в этом людном месте Петербурга остановятся перед бюстом и на минуту задумаются перед доблестным предком.

Леонид Владимирович Шервуд вспоминает:

«Памятник открылся блестящей речью Луначарского, парадом войск и массовой рабочей демонстрацией».

Отзвучали марши, разошлась публика. Тройницкий все время держался рядом с Шервудом. Он не мог не признаться себе, что только что окончившаяся церемония задела его за живое. Приятно и то, что Луначарскому и без подсказки было известно, когда и где вышла первым полным текстом радищевская ода «Вольность» — в шестом году, в принадлежавшей Тройницкому типографии «Сириус». Какая память, какая эрудиция, какой оратор!

К памятнику подходили разные люди — поглядят, постоят. Тут же, в дворцовом садике, Тройницкий рассказал Шервуду любопытные подробности из жизни Радищева, связанные с Эрмитажем. Когда юный Радищев, пожалованный в пажі Екатерины, очутился в Зимнем, еще не были возведены ни Фельтенев дом, ни даже Ламотов павильон, и екатерининский «Ермитаж» занимал всего несколько покоев Растреллиева дворца. Там давались и театральные представления — пети-пьесы, люстшпили, балеты. Их содержание обычно излагалось в кратких либретто или, как тогда говорили, «экстрактах», вручаемых гостям императрицы перед началом спектакля. Так вот, составление подобных «экстрактов» для эрмитажных представлений входило в обязанность пятнадцатилетнего пажа Александра Радищева. «*Ecrit par le seigneur Radichoff*», — указывалось на обложках¹.

По правде говоря, Тройницкий приготовил этот свой рассказ о Радищеве в Эрмитаже специально для Луначарского — хотел удивить. Но с Луначарским он сумел перекинуться несколькими словами лишь в короткие минуты до открытия памятника, а потом матросы быстро увезли Анатолия Васильевича куда-то на митинг.

...В понедельник Луначарский телеграфировал Ленину:

«Вчера торжественно открыли памятник Радищеву. Воскресенье открываем Лассалю»².

¹ «Написано господином Радищевым» (франц.).

² Гипсовый бюст работы Л. В. Шервуда недолго простоял на Дворцовой набережной. «Весною (месяца точно назвать не могу), — рассказывает А. В. Луначарский, — буря на Неве сбросила памятник Радищева, который разбился в куски. Стоявший неподалеку часовой, как мне потом докладывали, придя к коменданту Зимнего дворца, сделал такой колоритный доклад: «Товарищ Радищев, не выдержавши сильного ветра, упал и разбился...» К счастью, прекрасный бюст цел и поныне, так как другая его копия была воздвигнута в Москве...» (Бюст этот в настоящее время находится в Музее архитектуры имени А. В. Шусева.)

Все лето эрмитажные хранители Тройницкий и Шмидт, как члены Коллегии по делам музеев, принимали живейшее участие в разработке законодательного акта, которому предстояло положить конец вывозу за границу произведений искусства и старины, приобретавшему все более угрожающие масштабы. Оба они, и Тройницкий, и Шмидт, регулярно заседали в комнатах Детской половины Зимнего дворца, выступали со своими соображениями по каждой статье будущего декрета, уточняли формулировки и при этом не раз ловили себя на стеснительной мысли, что, в сущности, помогают большевикам готовить закон, нарушающий неотъемлемые права частного владения. Но, с другой стороны, закон этот следовало издать еще год тому назад, еще до всяких большевиков.

Бойкая распродажа частных художественных коллекций началась сразу же после Февральской революции. «В дни Керенского,— вспоминает И. Э. Грабарь,— увозили целыми поездами обстановку, картины, скульптуру, драгоценности». Огромные ящики, обитые рогожей, кованные сундуки громадных размеров, элегантные кофры и чемоданы, набитые предметами искусства, транзитом через Финляндию отправлялись в нейтральные скандинавские страны, а оттуда, перегруженные в трюмы и перенесенные в каюты, продолжали свой безвозвратный вояж за океан. С тревогой наблюдая за тем, как из России уплывают — и в прямом и в переносном смысле слова — действительно уникальные произведения искусства, эрмитажный хранитель Д. А. Шмидт предавался тогда тягостным размышлениям: Эрмитаж, разумеется, богат и славен, но он будет бессилен «преследовать программу, достойную его мирового положения», если не станет постоянно и систематично пополнять свои собрания; сколько же средств потребуются ему для самых необходимых приобретений при нынешней необузданной спекуляции предметами искусства, при растущей опасности американской конкуренции... «Надо предвидеть,— писал Д. А. Шмидт,— что вывоз художественных сокровищ после окончания войны разрастется до неслыханных размеров в связи с полным переустройством экономической жизни, помня

знаменательный факт, какое количество художественных произведений было выброшено на рынок после 1861 года»¹.

Говорить и писать об «американской конкуренции» у Шмидта было достаточно поводов — в июне 1917 года у него на столе лежали номера нескольких петербургских газет с такими искуственными объявлениями на первых страницах:

«20. 000. 000 долл.

ассигновано крупным американским обществом для покупки античных вещей в России.

Не продавайте ничего раньше, чем показать ваши драгоценные камни, золото, серебро, миниатюры, табакерки, гобелены, мебель, фарфор, бронзу, гравюры и пр. представителю фирмы П. Горвицу
Преображенская, 21, кв. 2, тел. 215-33
Прием от 11 ч. утра до 2 ч. дня».

Изо дня в день, из номера в номер — двадцать миллионов долларов, двадцать миллионов долларов!

«Анонимное общество с капиталом 20. 000. 000 долл. прислало своего представителя специально для покупки бриллиантов, цветных камней и всевозможных старин. вещей из золота и серебра, табакерок, фарфора, мебели, гобеленов, картин, миниатюр, гравюр, бронзы и т. под.

Представитель для России: П. Горвиц».

Раньше других — 7 июня 1917 года — рекламу заокеанских скупщиков антикварного добра поместило на самом видном месте суворинское «Новое время», и в тот же день Алексей Максимович Горький написал негодующую статью «Американские миллионы». Он предостерегал: «Лавина американских денег, несомненно, вызовет великие соблазны не только у темных людей Александровского рынка, но и у людей более грамотных, более культурных. Не будет ничего удивительного

¹ После отмены крепостного права многие разорвавшиеся помещики вынуждены были расставаться со своими коллекциями. Современники свидетельствуют, что в шестидесятые годы из оскудевших «дворянских гнезд» свозились в Петербург на Андреевский и Апраксин рынки возы с картинами, золоченой бронзой и всевозможной художественной утварью; все это навалом скупали старьевщики и маклаки.

в том, если разные авантюристы организуют шайки воров специально для разгрома частных и государственных коллекций художественных предметов». «Еще менее можно будет удивляться и негодовать, если напуганные „паникой“, усиленно развиваемой ловкими политиками из соображений „тактических“, обладатели художественных коллекций начнут сами сбывать в Америку национальные сокровища России, прекрасные цветы ее художественного творчества».

«Американское предприятие,— писал Горький,— его, конечно, поведут с американской энергией— это предприятие грозит нашей стране великим опустошением, оно выносит из России массу прекрасных вещей, историческая и художественная ценность которых выше всяких миллионов. Оно вызовет к жизни темный инстинкт жадности, и возможно, что мы будем свидетелями историй, перед которыми потускнеет фантастическая история похищения из Лувра бессмертной картины Леонардо да Винчи. Мне кажется, что во избежание разврата, который обязательно будет внесен в русскую жизнь потоком долларов, во избежание расхищения национальных сокровищ страны... Правительство должно немедленно опубликовать акт о временном запрещении вывоза из России предметов искусства и о запрещении распродажи частных коллекций прежде, чем лица, уполномоченные Правительством, не оценят национального значения подобных коллекций».

Правительство молчало. Это было правительство русской буржуазии— Временное правительство помещиков и капиталистов.

Незадолго до Октябрьской революции Д. А. Шмидт писал:

«...С ассигнованием средств на приобретения для Эрмитажа необходимо спешить, ибо не только надвигается опасность, но уже настала беда, что наши частновладельческие сокровища усиленно вывозятся за границу, и, к сожалению, со стороны Временного правительства, несмотря на некоторые попытки частной инициативы, до сих пор не приняты никакие меры противодействия».

Спрос на антикварные ценности неуклонно рос, но еще более возрастало число предложений. Пролетарская революция повергла привилегированные классы старой России в ужас и отчаяние; по мере того как рушились надежды на скорое «избавление от большевизма», владельцы родовых усадеб и особняков, финансо-

вые и промышленные тузы все более поторапливались обратить падающие в цене произведения искусства в надежный заморский чистоган.

О том, как они распродавали в России свои коллекции, рассказывают многие белоэмигранты.

Взять хотя бы Врангелей.

(У барона и баронессы Врангель было два сына: один — Николай Николаевич, скончавшийся в 1915 году, талантливый писатель по вопросам искусства, промелькнул несколькими интересными работами в дореволюционной истории Эрмитажа и Русского музея; другой — генерал Врангель, «черный барон», оставил кровавый след в истории гражданской войны.)

Баронесса Врангель пишет:

«В начале 1918 года муж, убедившись, что в Петрограде жизнь становится все тяжелее, начал продавать все наше имущество: картины, фарфор, мебель, ковры, серебро... Муж решил переехать в Ревель, куда перевел и Спиртоочистительное общество, председателем которого он состоял».

Не только Товарищество спиртоочистительных заводов возглавлял барон Н. Е. Врангель — он был еще и председателем Амгунской золотопромышленной компании, и Биби-Эйбатского нефтяного общества, и членом правления акционерного общества «Сименс и Гальске». Деловой человек, ворочал миллионами, прогадывать не любил. В книге воспоминаний, изданной уже в Берлине, он горько жалуется, что даже ему пришлось за дешево отдавать в Петрограде картины, мебель, фарфор. «Так, за первоклассного Тинторетто, за которого мне прежде давали около двухсот тысяч, я едва-едва получил двадцать, а за коллекцию миниатюр, за которую теперь (в 1924 г.) по дешевой оценке можно получить не менее полумиллиона франков, я выручил лишь восемнадцать тысяч... Купил у меня вещей на много десятков тысяч и какой-то изящный господин, говорящий одинаково хорошо и на английском и на французском языках».

Некий человек, приехавший из-за границы (имя его Горький не называет), в мае 1918 года рассказывал Алексею Максимовичу:

«В Стокгольме открыто до шестидесяти антикварных магазинов, торгующих картинами, фарфором, бронзой, серебром, коврами и вообще предметами искусства, вывезенными из России. В Христиании я таких магазинов насчитал двенадцать, их очень много в Гетеборге и дру-

гих городах Швеции, Норвегии, Дании. На некоторых магазинах надписи: „Антикварные и художественные вещи из России“, „Русские древности“».

У Горького не было оснований сомневаться в достоверности услышанного им рассказа. «Чтобы убедиться в этой истине,— писал Горький,— стоит только посвятить два-три дня на обзор того, что творится в галереях Александровского рынка, в антикварных лавках Петрограда и бесчисленных комиссионных конторах, открытых на всех улицах города. Всюду неутомимо ходят хорошо выбритые, но плохо говорящие по-русски люди американской складки и — без конца покупают все, что имеет хотя бы ничтожное художественное значение».

Ажиотаж вокруг антиквариата, алчная погоня за художественной стариной захлестнула не один Петроград, но и Москву и другие русские города. В тайные сделки с темными дельцами из-за океана не брезговали вступать отпрыски знатных родов и громких некогда фамилий.

Статья Горького, направленная против разбазаривания национальных художественных ценностей России, была напечатана 28 мая 1918 года. «Время еще не ушло,— писал Горький в конце статьи,— и можно бы сохранить много ценного и необходимого для культуры России».

Через два дня, 30 мая, Советское правительство приняло постановление, которое определило в этом вопросе бескомпромиссную линию государства пролетарской диктатуры.

Незадолго до того советским властям стало известно, что княгиня Мещерская намеревается переправить за пределы страны великолепную картину итальянской школы — «Мадонну», приписываемую кисти Боттичелли, великого художника эпохи Возрождения. Торговал картину у княгини не какой-нибудь расторопный старьевщик, а германский посол граф Мирбах — собственной персоной; он неоднократно приезжал в Старо-Конюшенный переулок, дом 36, где у друзей Мещерской хранилось в тайнике тондо Боттичелли. Судьба этой картины рассматривалась 30 мая на заседании Совета Народных Комиссаров под председательством В. И. Ленина. Принятое решение гласило:

«Ввиду исключительного художественного значения картины Боттичелли (тондо), при-

надлежащей в настоящее время гр. Е. П. Мещерской, предполагающей, по имеющимся сведениям, вывезти картину за границу, Совет Народных Комиссаров постановляет: картину эту реквизировать, признать ее собственностью РСФСР и передать в один из национальных музеев РСФСР.

Исполнение сего постановления возложить на Комиссариат народного просвещения»¹.

Далее в постановлении Совнаркома говорилось:

«Поручить Народному комиссариату просвещения разработать в 3-дневный срок проект декрета о запрещении вывоза из пределов Российской Социалистической Федеративной Республики картин и вообще всяких высокохудожественных ценностей — и проект этот представить на рассмотрение Совета Народных Комиссаров».

Окончательная редакция декрета, утвержденного Совнаркомом, выглядела так:

«В целях прекращения вывоза за границу предметов особого художественного и исторического значения, угрожающего утратой культурных сокровищ народа, Совет Народных Комиссаров постановил:

1. Воспретить вывоз из всех мест Республики и продажу за границу кем бы то ни было предметов искусства и старины без разрешений, выдаваемых Коллегией по делам музеев и охране памятников искусства и старины в Петрограде и Москве при Народном Комиссариате Просвещения или органами, Коллегией на то уполномоченными. Комиссариат по Внешней Торговле может давать разрешение на вывоз за границу памятников старины и художественных произведений

¹ После постановления Совнаркома о национализации картины чекисты трижды приходили в квартиру, где княгиня Мещерская прятала свою коллекцию живописи старых мастеров. «Мадонны» Боттичелли среди картин не было. Она исчезла. Княгиня разводила руками, недоумевала, о чем, бишь, идет речь. И только тогда, когда ей был предъявлен ордер на арест, Е. П. Мещерская указала тайник. В настоящее время эта картина находится в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (Москва).

только после предварительного заключения и разрешения Народного Комиссариата Просвещения.

2. Все магазины, комиссионные конторы и отдельные лица, производящие торговлю предметами искусства и старины, или посредники по торговле ими, а также лица, производящие платную оценку или экспертизу подобных предметов, обязаны регистрироваться в течение трех дней со дня опубликования сего декрета в Коллегии по охране памятников искусства и старины в Петрограде и Москве при Народном Комиссариате Просвещения или в органах, Коллегией на то уполномоченных, а на местах — в Отделах по Народному Просвещению при Губернских Советах Рабочих и Крестьянских депутатов.

3. Виновные в невыполнении сего декрета подвергаются ответственности по всей строгости революционных законов вплоть до конфискации всего их имущества и тюремного заключения.

4. Декрет вступает в силу со дня его опубликования».

Этот декрет 19 сентября и подписал В. И. Ленин.

...В середине сентября листва в Тайницком саду еще не пожелтела. Здесь было тихо и безлюдно, и каждый день — иногда утром, иногда вечером, в зависимости от погоды — сюда, в Тайницкий сад, приходил человек в хорошо сшитой военной шинели иностранного образца. Он часами прогуливался по садовым дорожкам, и всегда не один, а в сопровождении двух спутников. Он свободно владел русским языком, этот иностранец в шинели цвета хаки, говорил без малейшего акцента, но еще в первую свою прогулку, когда он обратился к спутникам с каким-то вопросом, ответа не последовало: устав караульной службы воспрещал разговоры с конвоируемым заключенным, а кроме всего прочего латышские стрелки из охраны Кремля русский язык знали плохо.

Глава британской дипломатической миссии в Москве Роберт Гамильтон Брюс Локкарт, заменивший уехавшего из России сэра Джорджа Бьюкенена, был

арестован органами ВЧК в связи с известным «заговором послов», вошедшим в историю контрреволюции еще и под наименованием «заговора Локкарта». Заговор имел целью свержение Советской власти. Предполагалось захватить Кремль, Ленина — физически уничтожить, членов Советского правительства передать в руки английских интервентов, высадившихся на севере России. Его поймали с поличным, Локкарта, атамана заговорщиков, но дипломатия есть дипломатия, и некоторое время глава английской миссии содержался хотя и под стражей, но в Кремле. «Локкарта,— рассказывает комендант Кремля П. Д. Мальков,— я решил поместить в так называемых фрейлинских комнатах Большого Кремлевского дворца. Фрейлинские комнаты, как и почти весь дворец, тогда пустовали. Расположены они были в одном из крыльев дворца, несколько на отшибе, и организовать их охрану было сравнительно легко»¹.

По пути в Тайницкий сад или возвращаясь с прогулки в свои фрейлинские апартаменты, Роберт Гамильтон Брюс Локкарт непременно проходил мимо Оружейной палаты. «Московские древности», сосредоточенные в Кремле, были ему досконально известны не только по специальным справочникам Интеллидженс-сервис; множество раз он осматривал Кремль еще до войны, состоя помощником британского консула в Москве; заходил в кремлевские храмы, чтобы вновь и вновь любоваться в сумраке собора мерцанием драгоценных камней на ризах древних икон; а когда он однажды изъявил желание осмотреть парадные залы Большого Кремлевского дворца и знаменитую Оружейную палату, начальник Дворцового управления князь Одоевский-Маслов любезно предоставил в его распоряжение своего адъютанта. Позже, при правительстве Керенского, став уже генеральным консулом Великобритании в Петрограде, он сперва кратко, а потом с испрашиваемыми у него подробностями осведомлял Лондон о перевозимых в Москву петербургских ценностях, включая коллекции Императорского Эрмитажа и Музея Александра III. У Оружейной палаты и Кремлевского дворца теперь стоят на постах часовые, такие же фанатичные латыши, как и его молчаливые конвоиры,— непозволительным легкомыслием с его стороны, беспримерной глупостью, попросту кретинизмом было само допущение, что

¹ В октябре 1918 года Локкарта выслали в Англию в обмен на задержанного там в качестве заложника советского представителя М. М. Литвинова.

этих красных фанатиков можно купить толстыми пачками крупнокупюрных банкнот! ¹

Одиночество располагает к раздумьям. В тиши Тайницкого сада и в безлюдье фрейлинских комнат Локкарт раздумывал, вероятно, и над тем, как это все-таки могло случиться, что тщательно разработанная акция развалилась словно карточный домик, что британских профессионалов-разведчиков обвели вокруг пальца дилетанты из ВЧК. Думал он, вероятно, и о деньгах, выброшенных на ветер,— а ведь, если бы акция удалась, все затраты были бы с лихвой возмещены баснословными ценностями, захваченными в Кремле.

Так он, вероятно, и думал. Предположение, что Локкарт рассчитывал покрывать расходы по антисоветским акциям захватом и присвоением русских музейных сокровищ — отнюдь не беллетристический крен в документальном повествовании. Подручный Локкарта лейтенант английской службы Сидней Рейли, матерый шпион, причастный к немалому числу контрреволюционных заговоров и мятежей (включая и «заговор послов»), в одной из записок, адресованных белогвардейскому подполью, подобным образом наставляет свою агентуру:

«...В русских музеях имеется такое количество художественных ценностей, что изъять их на сумму в сотни тысяч фунтов не должно представлять особых затруднений...»

В обстоятельной инструкции, составленной Сиднеем Рейли для диверсантов, перечисляются ценности, имеющие неограниченный сбыт за границей:

«1. Офорты знаменитых голландских и фламандских мастеров, прежде всего Рембрандта.

2. Гравюры французских и английских мастеров XVIII века с необрезанными краями.

Миниатюры XVIII и начала XIX века.

3. Монеты античные, золотые, четкой чеканки.

¹ Командир артиллерийского дивизиона Латышской стрелковой дивизии Э. П. Берзинь, активно участвовавший в раскрытии «заговора послов», с ведома руководителей ВЧК, получил от Локкарта якобы для подкупа воинских частей, несших охрану Кремля, общим счетом один миллион двести тысяч рублей. Как вспоминает командант Кремля П. Д. Мальков, на эти деньги по указанию Я. М. Свердлова был создан фонд пособий семьям латышских стрелков, павших во время революции, и инвалидам — латышским стрелкам, получившим увечья в боях против контрреволюции.

4. Итальянские и фламандские примитивы.

5. Шедевры великих мастеров голландской, испанской, итальянской школ».

Международная контрреволюция, подготавливая очередную антисоветский заговор, никогда не считалась с финансовыми затратами, но наряду с расходными статьями обычно предусматривала и статьи дохода,— Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией это было хорошо известно. Соратник Дзержинского по работе в ВЧК, член партии с 1903 года, Р. П. Катанян рассказывает:

«В свое время мне пришлось выступать в Петрограде в качестве государственного обвинителя на процессе монархистов-террористов, одним из руководителей которых был небезызвестный белогвардейский генерал Кутепов. Я хорошо помню, что фон Андеракс и граф Сольский на допросе показали, что в числе полученных ими из-за рубежа диверсионных инструкций было задание вывезти за границу художественные ценности из Советской России».

Меч пролетарской диктатуры не раз пресекал попытки агентов внешней и внутренней контрреволюции лишить советский народ его национальных художественных сокровищ.

«От Всероссийской Чрезвычайной Комиссии. Циркуляр № 79». Циркуляр этот, опубликованный 5 ноября 1918 года в газете «Известия», был озаглавлен: «Меры против расхищения художественных ценностей». В нем говорилось, что «бывшие господа положения» собрали в своих руках колоссальное количество принадлежащих народу ценностей — картин, гравюр, редких книг — и что ныне все эти ценности объявлены Советским правительством народным достоянием, которое Комиссариат народного просвещения собирает, систематизирует и распределяет для общенародного пользования. Мешает этому, указывалось в циркуляре, целый ряд хищников и мародеров, которые расхищают, скрывают по домам и, что хуже всего, вывозят за границу эти нужные для молодой социалистической республики ценности. ВЧК предписывала «всем губернским, уездным и, в особенности, пограничным ЧК принять решительные меры борьбы против бессовестного хищения народного достояния». Циркуляр № 79 подчеркивал: «Пограничная Чрезвычайная Комиссия должна принять решительные меры в борьбе с провозом за границу этих вещей».

ВЧК, принимая жесткие меры против расхищения художественных ценностей, руководствовалась, конечно, декретом Совнаркома, воспрещавшим вывоз за границу предметов особого художественного и исторического значения. И еще на одном правительственном постановлении основывались меры, предписываемые циркуляром ВЧК от 5 ноября 1918 года: за месяц до того Совет Народных Комиссаров опубликовал декрет о регистрации, приеме на учет и охране памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, обществ и учреждений.

Декрет об учете и регистрации был издан «в целях сохранения, изучения и возможно более полного ознакомления широких народных масс населения с сокровищами искусства и старины, находящимися в России». В разработке и этого декрета участвовала Петроградская коллегия по делам музеев.

Пройдут наикратчайшие сроки, и оба декрета Совнаркома, четко определившие суверенные права советского народа на его национальные сокровища, позволят в невиданных масштабах преумножить музейные богатства рабоче-крестьянской республики, невероятно расширить состав коллекций и всю программу Эрмитажа, а заодно — восполнить множество досадных лакун, оказавшихся в эрмитажных собраниях, или, выражаясь словами Д. А. Шмидта, «исправить большое число огрехов прошлого». Однако летом восемнадцатого года, когда декрет, предусматривавший регистрацию и частных коллекций, обсуждался в Петроградской коллегии по делам музеев, делегаты Эрмитажа Шмидт и Тройницкий порой чувствовали себя не совсем в своей тарелке.

12

О Сергее Маковском, редакторе художественного и литературного журнала «Аполлон», мемуарист не без язвительности пишет:

«Из всех встречавшихся на моем жизненном пути снобов, несомненно, С. Маковский был наиболее снобичен. Особенно белые и крахмальные груди над особенно большим вырезом жилетов, особенно высокие двойные воротнички, особенно лакированные ботинки и особенно выглаженные складки брюк».

Экстра-сноб Сергей Маковский, прозванный у себя в редакции «папá Макó», всеми силами старался поддерживать в журнале, издаваемом на средства миллио-

нера-чаеоторговца Ушкова, утонченный дух аристократического салона. Культ дендизма царил здесь и после Октября, но «Аполлон» уже стал двулик, как Янус. Содержание художественно-критических разделов пореволюционных книжек журнала и теперь не выходило за рамки старопетербургского «аполитичного» эстетства, зато в другом разделе, в «Художественной летописи», в обзоре событий послеоктябрьских месяцев дендистская свита «папá Макó» уже не гарцевала и не грассировала, а самыми шаблонными приемами наемной буржуазной журналистики чернила всё и вся, подхватывала на лету пошлые слушки, выворачивала факты наизнанку, клеветала, иронизировала, глумилась.

Последняя книжка журнала «Аполлон» за 1917 год вышла с большим опозданием. «Исключительные трудности, связанные с печатаньем настоящей книжки „Аполлона“, — указано в редакционном примечании, — задержали ее выход на полгода. Редакция сочла по этому необходимым ввести в очередную „Художественную летопись“, поскольку это представлялось возможным, обзор событий за первые шесть месяцев 1918 года». В общем антисоветском контексте этого пространного обзора даже отдельные достоверные сообщения служили той же цели, что и надрывные стенания о «большевистском вандализме». Нервировать, запугивать, наводить страх на читателей журнала (а у «Аполлона» был *свой* круг читателей) должна была даже информация о том, что Коллегия по делам музеев наметила издание декретов об учете памятников искусства и старины, находящихся в частном владении, и о запрещении вывоза за границу предметов искусства. Сбережение художественных памятников? Охрана художественных сокровищ России? В доказательство того, что патетическим декларациям Луначарского не надо придавать слишком много веры, «папá Макó» распорядился тиснуть в «Художественной летописи» три-четыре строки с сообщением о том, что комиссар, приставленный Луначарским к Русскому музею, высказал «радикальное мнение о ненужности охраны старого буржуазного искусства».

Шла бы речь о комиссаре-партийце, о всамделишном большевике, у составителя «Летописи» нашлись бы в его адрес выражения покрепче. Но дело в том, что комиссаром Русского музея был назначен человек вовсе не чужой «Аполлону» — еще вчера петербургский художественный критик Николай Николаевич Пунин состо-

ял не последним валетом в свите «папá Макó». Чего больше: имя Пунина как постоянного сотрудника журнала еще и сегодня красовалось в рекламных проспектах, выпущенных «Аполлоном» на 1918 год. Проспекты, впрочем, были отпечатаны зря: в восемнадцатом году «Аполлон» прекратил свое существование, а что касается Пунина, то он покинул журнал и того раньше. «Папá Макó» потешался: сочинитель статей о древнерусской иконе впал в футуристическую ересь! И действительно, недавний аполлоновец стал теперь повсюду появляться с Маяковским, публично выступать с петербургскими футуристами.

Вместе с Маяковским появился Пунин и в комнатах Детской половины Зимнего дворца. «Ясно — при виде пяток улепетывающей интеллигенции, нас не очень спрашивали о наших эстетических верованиях», — вспоминает Маяковский. В каждом, кто выражал готовность участвовать в строительстве новой, социалистической культуры, Луначарский видел тогда желанного сотрудника Наркомпроса. В своей книге «Современники» Корней Иванович Чуковский пишет:

«Нужно только вспомнить, что такое был восемнадцатый год. Гражданская война, контрреволюционные заговоры, интервенция иностранных держав, изнемогающий от лютого голода Питер и злостный саботаж так называемых мастеров — и подмастерьев! — культуры.

Всякого, кто соглашался работать с Советами, объявляли предателем и подвергали бойкоту.

...Поэтому Анатолий Васильевич с величайшей радостью, шумно и дружественно встречал тех интеллигентов, очень редких в ту раннюю пору, которые считали своим долгом трудиться и при новом режиме».

Пунин согласился стать комиссаром Русского музея. В Эрмитаже комиссара все еще не было. Позже, когда специальный комиссар был назначен и в Эрмитаж, им оказался тот же Пунин.

Брошюра, написанная комиссаром Эрмитажа Н. Н. Пуниным и изданная в 1918 году, называлась «Долой цивилизацию». Пунин по старой памяти преподнес ее Сергею Маковскому:

— Папá Макó — от блудного сына...

— Caveant consules!

Как только Эдуард Эдуардович Ленц, еще исполнявший тогда обязанности директора, окольным путем

узнал, что над Эрмитажем будет поставлен особый комиссар, он принял твердое решение — музей без боя не отдавать. Вилять он не намерен. Он сегодня же соберет хранителей, придерживающихся его линии, соберет не у себя в Отделении Средних веков, а где-нибудь в Картинной галерее. Он предупредит их об опасности, угрожающей Эрмитажу:

— Пусть консулы будут бдительны!

Что в точности говорилось за закрытыми дверями Испанского зала Картинной галереи, установить сейчас невозможно. В протоколе следующего заседания Совета Эрмитажа, состоявшегося пять дней спустя, 6 августа, содержится такая запись:

«С. Н. Тройницкий выражает протест против устройства заседаний Совета, подобных собранию 1 августа, устроенному стоя в Испанской зале, без повестки и протокола».

В ожидании неизбежной встречи с комиссаром Эдуард Эдуардович пребывал в крайней нервозности. Его возбужденное состояние усугублялось еще и тем, что Музейная коллегия как раз в это время дала весьма негативную оценку деятельности Эрмитажа.

Вновь назначенный комиссар нагрянул в Эрмитаж именно в тот день, когда Эдуард Эдуардович — дабы не допустить стороннего вмешательства во внутренние дела музея — предложил всем хранителям *in согроге*, в полном составе, подать в отставку, и никто, как помнит читатель, решительно никто его тогда не поддержал.

Злосчастный день! У Эдуарда Эдуардовича дрожали губы. *Vae victis* — горе побежденным! Он чувствовал себя сейчас одиноким, никому не нужным, всеми покинутым стариком — дикая степь, король Лир, буря, гром, молнии... А вдобавок еще Тройницкий с его бестактным протестом по поводу собрания в Испанской зале — срамит Эрмитаж при постороннем. Господин Пунин сидит, слушает, мотает на ус...

Лучше, чем кто-либо другой из эрмитажных, знал Пунина, присланного комиссарствовать в музей, Сергей Николаевич Тройницкий. Знакомы они были миллион лет — постоянно встречались на вернисажах, концертах, премьерах, в петербургских литературных салонах, в артистическом кабаке «Бродячая собака». Успел Тройницкий побывать и на буйных митингах в Академии

художеств, где Николай Николаевич с его новыми приятелями устраивал громкие обструкции всем на свете Константинам Маковским и Рафаэлям Санцио. Поэтому-то, сидя сейчас в Рафаэлевых лоджиях рядом с мрачным-премрачным Ленцем, Сергей Николаевич выжидающе поглядывал на «товарища комиссара»: его не оставляла озорная мысль, что чинно заседающий Пунин вот-вот дернется, вскочит, гаркнет: «Долой культуру и цивилизацию!», выкинет еще какое-нибудь экстравагантное футуристическое коленце. Однако взявший слово бывший аполлоновец опять удивил Тройницкого искусством перевоплощения: и впрямь — начальствующее лицо! Ничего сколько-нибудь нового в его речи нет, пересказывает всем известные решения Музейной коллегии, но говорит жестко, безапелляционно, непререкаемым тоном первоприсутствующего в департаменте Правительствующего Сената.

Имя Пунина не было пустым звуком и для академика Смирнова. Сравнительно недавно, год или два тому назад, Якову Ивановичу повстречалась на страницах «Аполлона» любопытная статья об Андрее Рублеве и другая — об японской ксилографии. Обе статьи, принадлежавшие некоему Пунину, несомненно способному автору, он прочел не без интереса. Две статьи — это все, что он знал о Пунине, — текущая художественная жизнь с ее сутолокой, дрызгами, крикливыми манифестами в такой малой степени занимала Якова Ивановича, что разительные перемены во взглядах и вкусах одного из аполлоновцев просто не попали в поле его зрения. Вот почему, когда стало известно, что в комиссары Эрмитажа прочат автора запомнившихся ему статей, Смирнова это отнюдь не обеспокоило.

Впервые он увидел Пунина на заседании в Эрмитаже. Возможно, что сказалось чувство интеллектуальной симпатии к одаренному литератору, а может быть, очень уж раздосадовала Якова Ивановича нелепая истерика, устроенная Ленцем на этом же заседании, но так или иначе к комиссару, появившемуся в музее, Смирнов отнесся благожелательно, пожалуй — даже покровительственно: чуть-чуть рисуется, щеголяет властью, ну что ж — не всякому дано в молодые лета заделаться вершителем судеб мирового музея; слегка закружилась голова, попривыкнет.

А утром следующего дня Яков Иванович уже винил себя за то, что не стал вчера на сторону Ленца: от

десятка людей он узнал, что Пунин совсем не тот человек, за которого он его принимал, а футурист, и из самых отчаянных. Дыр-бул-щур! Прав был вчера или не прав Эдуард Эдуардович, но жизнь свою он посвятил Эрмитажу, а Пунин, кто есть Пунин? — забравшийся в музей динамитчик, футурист, громила культуры и цивилизации.

Дожили — Эрмитаж в руках футуристов!

«Мы слыли говорунами на тему: футуризм», — вспоминает Маяковский о временах, когда петроградских футуристов «прибой-революция вбросила в Зимний с кличкой странной — ИЗО». Пунин был одним из главных деятелей Отдела изобразительных искусств, цитадели футуризма в Наркомпросе, а как только Отдел ИЗО начнет выпускать газету «Искусство коммуны», он станет одним из редакторов этого многошумного органа футуристов Петрограда.

Стихотворение «Радоваться рано», принесенное в редакцию Маяковским, Пунин поместил на видном месте во втором номере новой газеты, вышедшем 15 декабря. Как он и предполагал, стихотворение привлекло общее внимание, вызвало бурную реакцию в самых различных читательских кругах. Но думал ли он об эффекте, который произведут стихи Маяковского на эрмитажных хранителей, когда, заглянув в канцелярию музея, оставил на столе — случайно или понарошке? — свежий номер «Искусства коммуны»?

В Эрмитаже газету передавали из рук в руки. Читали шепотом, пугаясь каждого слова:

Белогвардейца
найдете — и к стенке.
А Рафаэля забыли?
Забыли Растрелли вы?
Время
пулям
по стенкам музеев тенькать.
Стодюймовками глоток старье расстреливай!

Но что спрашивать с поэта-футуриста, прославившегося желтой кофтой и эпатирующими выходками, если к уничтожению бессмертных памятников искусства призывает ныне даже комиссар Эрмитажа!

Читали вслух статью Пунина:

«Для здорового и продуманного „футуристического“ мировоззрения разрушение старины — только метод

борьбы за свое существование. Только потому, что искусство прошлого претендует еще на влияние и на образование новых художественных форм, оно может стать предметом разрушения».

И опять возвращались к стихотворению Маяковского:

Старье охраняем искусства именем.
Или
зуб революций ступился о короны?
Скорее!
Дым развейте над Зимним —
фабрики макаронной!

Читали. Перечитывали. Ужасались.

Александр Блок тоже прочел стихотворение «Радоваться рано» и под его впечатлением набросал в дневнике несколько строк, обращенных к Маяковскому:

«Не так, товарищ!

Не меньше, чем вы, ненавижу Зимний дворец и музеи. Но разрушение так же старо, как строительство, и так же *традиционно*, как оно... Нарушение традиций та же традиция...»

Ленин уже знал о скандальных стихах в «Искусстве коммуны» — со слов Марии Федоровны Андреевой, друга А. М. Горького, выдающейся актрисы и общественного деятеля, давнего члена большевистской партии. Он был возмущен: газета «Искусство коммуны» — официальный орган Комиссариата по просвещению; при первой же встрече придется всерьез переговорить с Анатолием Васильевичем: политика Наркомпроса в области искусства строго определена.

А. А. Луначарская свидетельствует:

«После опубликования „Искусством коммуны“ стихотворения Маяковского „Радоваться рано“... М. Ф. Андреева, воспользовавшись разговором с Владимиром Ильичем, рассказала ему об этом стихотворении. Владимир Ильич в разговоре с Луначарским предложил ему пресечь выступления такого рода в органах Наркомпроса. Анатолий Васильевич написал статью „Ложка противоядия“...»

В статье «Ложка противоядия», напечатанной 29 декабря в «Искусстве коммуны» (№ 4), А. В. Луначарский писал:

«Мне говорят — политика Комиссариата в деле искусства строго определена. Не напрасно, говорят мне, потрачено столько порою героических усилий на сохранение всякой художественной старины; не напрасно

мы шли даже на нарекания, будто мы оберегаем „барское добро”, — и мы не можем позволить, чтобы официальный орган нашего же Комиссариата изображал все художественное достояние от Адама до Маяковского кучей хлама, подлежащей разрушению».

«Слишком часто, — продолжает Луначарский, — в истории человечества видели мы, как суетливая мода выдвигала новенькое, стремившееся как можно скорее превратить старое в руину, и как после этого плакало следующее поколение над развалинами красоты, пренебрежительно проходя мимо недавних царьков бысролетного успеха. Слишком часто также видали мы и обратное, когда какой-нибудь художественный Кощей бессмертный заедал чужие жизни и, заслонив солнце от молодого растения, обрекал его на гибель, калеча тем ход человеческого духа.

Не беда, если рабоче-крестьянская власть оказала значительную поддержку художникам-новаторам: их действительно жестоко отвергали старшие. Не говоря уже о том, что футуристы первые пришли на помощь революции, оказались среди всех интеллигентов наиболее ей родственными и к ней отзывчивыми, — они и на деле проявили себя во многом хорошими организаторами.. Но было бы бедой, если бы художники-новаторы окончательно вообразили бы себя *государственной* художественной школой, деятелями официального, хотя бы и революционного, но сверху диктуемого искусства...

Я хотел бы, однако, чтобы встревоженные газетой лица не придавали всему этому чрезмерного значения. Не напрасно воинственный футурист Пунин на задворках того журнала, портал которого украшен испуганными скульптурами Маяковского, изо всех сил потееет над тем, чтобы спасти традиции мстерской иконописи, и тревожится по поводу запрещения местной властью вывоза икон из Мстёры. Я могу уверить всех и каждого, что действительно талантливые среди новаторов великолепно чувствуют и даже осознают, как много чудесного и очаровательного заключается в старине...»

В архиве Государственного Эрмитажа среди документов, относящихся к первым советским годам, среди входящих и исходящих бумаг, протоколов заседаний и совещаний, циркуляров и докладных записок, сохра-

нился словно и не идущий к делу один-единственный номер газеты «Искусство коммуны». Обычная архивная папка (опись V, 1918 г., д. № 59), и в ней пожелтевший от времени, прохудившийся на сгибах газетный лист. За что ему такой почет? Не потому ли, что статья Луначарского «Ложка противоядия» была принята в Эрмитаже, как «охранная грамота», оберегающая музей от футуристической напасти? ¹

Рафаэля к стенке! Этот гиперболизированный образ, выражающий крайнюю степень нигилистического отрицания культуры прошлого, не мог, однако, при всей своей броскости претендовать на особую новизну. За год до Маяковского, в декабре 1917 года, поэт-пролеткультовец Владимир Кириллов возгласил с тем же нигилистическим пафосом:

Мы во власти мятежного, страстного хмеля;
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты»,
Во имя нашего Завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.

(Из автобиографии В. Кириллова известно, что Маяковский, подарив ему однажды книгу своих стихов, сделал на ней следующую надпись:

«Т. Кириллову. Однополчанин по битвам с Рафаэлями. Маяковский».)

«Битва с Рафаэлями» — это из области литературы и искусства. Кое-кто уже подхватывал в раже: а Ньютона забыли? Мелкобуржуазный нигилизм с его мнимореволюционной фразеологией и левацкими призывами выбросить за борт всю мировую культуру угрожал в ту пору даже таким столпам отечественной науки, как Российская Академия. Не секрет, что Ленин специально предупреждал Луначарского, чтобы кто-нибудь не «озорничал» вокруг Академии наук:

— Найдется у вас какой-нибудь смельчак, наскочит на Академию и перебьет там столько посуды, что потом с вас придется строго взыскать...

¹ А. В. Луначарский, как известно, многократно высказывался о Маяковском, всячески подчеркивая его огромное значение как революционного поэта и одновременно критикуя то, что в первые послеоктябрьские годы еще оставалось в творчестве Маяковского от футуристического нигилизма.

И профессору Покровскому — заместителю Луначарского, ведавшему в Наркомпросе высшей школой, — Владимир Ильич тоже говорил:

— Поменьше ломайте.

«Первый совет, который я от него услышал, — рассказывает М. Н. Покровский, — звучал совсем по-староверчески, до неприличия консервативно, можно сказать: „ломайте поменьше!“. Это было в те дни, когда количеством лома некоторые горячие товарищи мерили достоинство советского работника. А Ильич говорил: „Чем меньше наломаешь, тем лучше“...»

— Дожили — Эрмитаж в руках футуристов!

В августовские дни 1918 года, к которым возвращается сейчас наше повествование, у академика Смирнова снова окрепла прежняя убежденность в том, что понятие революция тождественно понятию разрушение. Очень обозлен был тогда Яков Иванович — отпетому футуристу препоручен Эрмитаж, музей в России единственный, неповторимый! И опять вспомнил он ночь, проведенную в осажденном Эрмитаже, когда рядом брали Зимний и из крепости палили по дворцу; первую свою поездку в Москву, когда он всеми правдами и неправдами пробрался в Кремль, дабы удостовериться в целостности эрмитажных коллекций; с берданкой в руках он дежурил сутки напролет в вестибюле музея, когда пьяные толпы громили царские винные погреба. Он не раз, когда этого требовали обстоятельства, брал на себя все бремя ответственности за участь Эрмитажа и где-то в глубине души таил надежды крохотный огадок, что Эрмитаж останется Эрмитажем — уцелеет, выживет. На чем основывалась его надежда? Отчасти — на легковерии: поддался проникновенным словесам господина Луначарского. А в итоге? Итог был predetermined в роковую октябрьскую ночь. Чему быть — того не миновать. Разрушительные силы революции представили Эрмитажу кратковременную отсрочку, и отсрочка эта уже истекает.

Где выход? Выхода нет.

«Sint ut sunt aut non sint», — твердит ему Ленц. — Пусть существует так, как есть, или пусть не существует вовсе. — Старая позиция Ленца: Эрмитаж был и есть дворцовое древлехранилище, и ничем иным быть не может. «Мумификация Эрмитажа» — так, кажется, назвал умница Шмидт упрямое стремление Ленца ог-

радить музей от процессов естественной эволюции. Но сейчас торжествует обратная крайность, поистине катастрофическая — радикальные тенденции футуристов. Памятники веков и тысячелетий, собранные в музейном зале, — что они в глазах футуриста? — отбросы истории. Ветошь, рухлядь, макулатура. Вилами — и на свалку.

Был Эрмитаж — и нет Эрмитажа. Вот и весь сказ. Сказание о граде Китеже.

«Ignavia est jacere, dum possis surgere», — твердит Ленц свою латынь. — Малодушные лежать, если можешь подняться. — А вот в этом-то Эдуард Эдуардович прав: не след до времени признавать себя побежденным. Трудно против рожна прати, а придется. Смирнов нетерпеливо стал ожидать новой встречи с Пуниным.

Пунин появлялся в Эрмитаже далеко не каждый день, и свидеться с ним академику Смирнову первое время никак не удавалось. Но 14 августа комиссар прибыл с утра и сразу же потребовал к себе весь персонал музея. Смирнов предупредил Ленца, опять рвавшегося в бой:

— Разговор с господином Пуниным я беру на себя. Думается, Эдуард Эдуардович, так для дела будет лучше.

Начал Пунин с общей постановки вопроса. «Комиссар Эрмитажа Н. Н. Пунин, — значит в протоколе, — от имени Коллегии развивает мысль о желательности ныне же приступить к выполнению срочной задачи дать направление работам Эрмитажа». Пунин говорил в ораторской манере, непривычной для эрмитажных ученых, и Яков Иванович вскоре почувствовал, что при всем внимании теряет нить, никак не может уследить за неожиданными и произвольными скачками мысли футуристического витии. Все вперемешку: то вполне здравые суждения о приведении деятельности Эрмитажа в соответствие с современными музейными потребностями, то футуристические бредни об абсолютной никчемности для пролетариата всего искусства прошлых эпох. «Р-р-революционная эпоха», «р-р-революционный момент», «р-р-революционные реформы». Реформы, вытекающие не из проникновения в сущность и связь вещей, а реформы ради реформ — лишь бы все наоборот, все вверх дном, шиворот-навыворот. Фейер-

верк слов, одно «р-р-революционнее» другого, императивно-категорическая речь, притом произносимая от лица власти, Музейной коллегии Наркомпроса, чуть ли не от имени правительства...

(Сохранившийся «Протокол собрания хранителей, созванного по инициативе комиссара Н. Н. Пунина 14 августа 1918 года», не дает возможности установить, в чем конкретно выражалась та программа преобразований, которая в тот день была предложена научному персоналу музея. Речь Н. Н. Пунина зафиксирована в протоколе весьма кратко и в суммарном виде. Однако следует полагать, что в ней отчетливо проявились тенденции, которые несколько позже будут охарактеризованы А. В. Луначарским как «разрушительные наклонности по отношению к прошлому и стремление, говоря от лица определенной школы, говорить в то же время от лица власти». Такое предположение подтверждают дебаты, развернувшиеся после речи Н. Н. Пунина, и прежде всего — ответное выступление академика Смирнова.)

— Дозвольте сказать мне,— произнес Смирнов, когда Пунин закончил.

В протокол занесено:

«Я. И. Смирнов находит, что во взглядах Коллегии и самого Правительства часто не замечается, по-видимому, точного разграничения понятий о реформе и революции. Под реформой мы должны понимать эволюционные улучшения, органическое усовершенствование учреждения по законам его естественного роста; совершенно иное дело так называемые реформы „революционные“, стремящиеся заменить существующее, каково бы оно ни было, на что-то совершенно новое, насаждаемое нередко вопреки традиции, не всегда в силу прогрессивного развития и нередко по чистому произволу эфемерной силы. Эрмитаж должен поэтому, прежде всего, спросить: о какого рода реформах идет речь... Конечно, развитие реформационной деятельности музея должно энергично идти вперед, и при новом, более вольном и живом его положении будет подвигаться вперед успешнее и скорее, но все же эволюционное движение это должно быть уравновешенным, основан-

ным на хладнокровных доводах, а не на одной „революционной“ спешке и желании показать себя. От реформ никто из нас не отказывается, но не нужно, бесполезно и даже вредно для такого учреждения, как Эрмитаж, пускать для вида только какой-то блестящий, скоросгорающий фейерверк во славу революционного момента. Эрмитаж должен идти по своему естественному пути эволюционных улучшений, не слишком спеша, твердо и уверенно».

Оно было самым резким и самым аргументированным, это выступление академика Смирнова, предостерегавшее от непродуманного и легкомысленного подхода к переустройству музея, от опасных попыток покурлесить в Эрмитаже. И Пунин-оратор, Пунин-полемист, который обычно за словом в карман не лез, на этот раз почему-то промолчал.

(Из протокола видно, что на собрании 14 августа без реплик Н. Н. Пунина не протекало ни одно выступление — исключение составили только речь Я. И. Смирнова и краткое слово С. Н. Тройницкого: «С. Н. Тройницкий констатирует, что существование Эрмитажа, каким оно было до сих пор, невозможно; он надеется, что эволюционным путем Эрмитаж исполнит необходимые реформы и таким образом устранил опасности квази-революционных тенденций».)

Дебаты завершены. Надо подводить итоги. Председательствующий Ленц попросил Тройницкого выполнить за него эту задачу.

«С. Н. Тройницкий,— записал протоколист,— формулирует вопросы:

1. Считает ли Эрмитаж нужными реформы?

Собрание отвечает на это единогласно — да.

2. Считает ли Эрмитаж нынешний состав Эрмитажа достаточным для обсуждения и решения реформенных вопросов или Эрмитаж желает привлечь к этим работам и чужих лиц?

Собрание высказывается единогласно за привлечение чужих лиц.

3. Каждое Отделение представляет свои желания относительно реформ и указывает на тех лиц, которых оно намерено пригласить к реформенным работам.

Собрание единогласно принимает это предложение».

Короткое петербургское лето шло к концу. Трудное, голодное лето.

«Вы знаете, товарищи,— говорил Ленин еще в мае,— что после мучительнейшей войны, в которую ввел нас царский режим и соглашатели с Керенским во главе, нам непосредственно достались в наследство разложение и крайняя разруха. Теперь подходит самый критический момент, когда голод и безработица стучатся в дверь все большего числа рабочих, когда сотни и тысячи людей терпят муки голода, когда положение обострено тем, что хлеба нет, но он мог бы быть, когда мы знаем, что правильное распределение его зависит от правильного подвоза. Недостаток топлива, после того как от нас отрезан богатый топливом край, катастрофа железных дорог, которым, может быть, грозит приостановка движения,— вот те положения, которые создают трудности для революции, вот положения, которые наполняют ликованием сердца корниловцев всех сортов и всех цветов. Они сейчас ежедневно, может быть, ежедневно, сталкиваются, как бы использовать трудности Советской республики и пролетарской власти, чтобы снова возвести на престол Корнилова. Спор у них идет о том, какой национальности будет этот Корнилов, но он должен быть таким, который выгоден для буржуазии,— с короной ли на голове или Корнилов-республиканец... Но сила рабочей организации, рабочей революции заключается в том, чтобы, не закрывая глаз на правду, давать себе самый точный отчет в положении дел»¹.

Тогда же, весной, 22 мая, в письме к питерским рабочим «О голоде» В. И. Ленин писал: «За непомерно тяжелым маем идут еще более тяжелые июнь, июль и август»².

В августе восемнадцатого года все более широкий контингент петроградцев испытывал на себе цепкую хватку голода.

В старые времена эрмитажный вахтер Алексей Алексеевич Счастнев никогда бы не отважился на такое самовольство — рыбачить на Дворцовой набереж-

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 365 — 366.

² Там же, с. 359.

ной. Теперь же он что ни день — когда утром, а когда и под вечер — с удочками и ведерком располагался на гранитных ступенях, спускающихся к невиской воде. Рыбешка неказистая, все больше мелочь, плотвичка, но Алексей Алексеевич и ей был рад: не коту угощение, а себе в котелок.

Тридцать лет с лишкóм, дольше, чем кто-либо другой, прослужил Счастнев в Эрмитаже. Едва скинул солдатскую шинель, тотчас надел ливрею галерейного служителя и только под конец вышел в гоф-фурьеры — так должность его именовалась прежде. Ни прибавить, ни убавить — тридцать три годочка.

Однажды Тройницкий, коротая на дежурстве время за разговором, осведомился у Алексея Алексеевича, при ком из директоров тот начал свою службу в музее, неужто еще при Трубецком? — Никак нет, — ответил Счастнев, — их сиятельство князь Трубецкой уже при мне вступили в должность. — Тогда-то Тройницкий и пустил свое «mot»¹: оказывается, господа, все мы заступали в должность не при князе Трубецком, не при обергофмейстере Всеволожском, не при оберцеремоний-мейстере графе Толстом, а при гоф-фурьере Счастневе, — сам Алексей Алексеевич изволили сие подтвердить.

В чем была соль этой шутки, Счастнев никак не мог уразуметь: ведь правда же, истинная правда — из старослужащих Эрмитажа он самый что ни на есть коренной, кореннее нельзя. Когда его определяли в Отделение древностей, Сергей Николаевич, поди, еще пешком под стол ходил...

В деревне, откуда Счастнев родом, у всех тамошних Счастневых заделаны под стекло или просто булавкой приколоты к стене выцветшие карточки, когда-то присланные из Питера, одна и та же фотография — Алексей Алексеевич стоямя, в рост, при парадной ливрее с золотым позументом, — генерал! Из деревни родственники пишут Алексею Алексеевичу, что, покуда в Питере голодуха, пусть зря не томится, приезжает на побывку — в деревне всегда прокормиться можно. Алексей Алексеевич отписывал родственникам благодарности да поклоны, но в деревню не уезжал. Оно, конечно, у галерейных служителей, над которыми он за старшего, особых дел сейчас вроде бы и не предвидится — какие уж дела, если музей на запоре, — а ехать все одно нельзя, мало ли что, ненароком возвратятся вещи

¹ Острое слово (франц.).

в его отсутствие, господ хранители туда-сюда — где Счастнев? — а Счастлива-то и нет... Это было больше, чем сознание своей нужности Эрмитажу: за долгие годы службы Алексей Алексеевич настолько свикся с музеем, что не мыслил своего существования без Эрмитажа, как, впрочем, и существования Эрмитажа без себя.

Подле Счастлива, с удочкой в руке просиживавшего часами на Дворцовой набережной, частенько останавливался по пути из Эрмитажа домой Яков Иванович Смирнов. Облокотится о парапет, Счастнев оглянется, и каждый раз та же мысль у обоих: «ох, и отошал же Яков Иванович», «сдает Счастнев, сдает»...

К плотвичке, трепыхавшейся на дне ведерка, Яков Иванович относился теперь уважительно — всякое даяние благо есть. С упоением рассказывал, какие лещи попадают у них в Клинском уезде, какие окуни, какие чудо-судаки. У его братьев в Боблове неплохое хозяйство, свое молоко, свои куры, в лесу — грибы, ягоды. Обождет он еще чуть-чуть, поглядит, как повернутся дела, и лишь пойдут дела на лад — мигом махнет в Боблово, отдохнет в деревне, поест досыта.

Время шло, а Яков Иванович не уезжал; в Эрмитаже прибавилось народу — разные люди, большей частью незнакомые Счастливу, заседали вместе с хранителями во всех отделениях музея; время шло и шло, а шли ли дела на лад или, напротив, застопорились и совсем не шли — этого Счастнев не знал. Примечал только, что Яков Иванович сутулился все больше, совсем человек высох, кожа да кости.

Никак невозможно было им покинуть Эрмитаж — академику Смирнову и вахтеру Счастливу. Одно вервие, невидимое постороннему глазу, держало их в голлом Петрограде.

Итак, пора реформ...

— Наконец-то мы перестанем вариться в собственном соку, — сказал хранитель Вальдгауер, когда на собрании 14 августа было принято предложение «привлечь чужих лиц к обсуждению реформенных вопросов». И действительно, уже в августе, а затем и в сентябре восемнадцатого года новая структура и новая программа музея стали обсуждаться не в привычном узком кругу эрмитажных хранителей, а с широким участием представителей научных и художественных кругов Петрограда.

Строгое деление на «своих» и «чужих» неукоснительно соблюдалось в протоколах при перечислении присутствующих на том или ином заседании, но, по сути дела, и «свои» и «чужие» были давным-давно связаны друг с другом перекрещивающимися научными интересами и наилучшим образом знакомы между собой — по Академии наук, Археологической комиссии, университету, Институту истории искусств. Дважды в неделю, а то и трижды, в разных отделениях музея вместе с научным персоналом Эрмитажа теперь подолгу заседали Сергей Федорович Ольденбург, непременный секретарь Академии наук, и Александр Николаевич Бенуа, художник Осип Браз и академик Николай Яковлевич Марр, археологи Жебелев, Ростовцев, Фармаковский, ряд видных музейных деятелей. Появился тогда в Эрмитаже, тоже в числе «чужих», и молодой востоковед Иосиф Орбели, ученый секретарь Петроградской коллегии по делам музеев. Из эрмитажных хранителей наиболее близок ему был академик Яков Иванович Смирнов, его недавний университетский учитель. Сейчас, за столом заседаний в Отделении Средних веков, оба они — учитель и ученик — всегда сидели рядом.

В кратком печатном отчете «Эрмитаж за десять лет (1917—1927)» несколько страниц уделено первым реформам, осуществленным в музее после революции. Нелегкое это дело — реформировать Эрмитаж, тем более что принципы, методы, масштабы реформации еще не были достаточно ясны самим «реформаторам». Составители отчета, естественно, не ставили перед собой задачу отобразить драматические коллизии, предшествовавшие и сопутствовавшие начальному этапу внутримuseumных преобразований, и все же документ этот дает определенное представление о трудностях, объективных и субъективных, которые необходимо было преодолеть, чтобы по-новому организовать колоссальный эрмитажный материал — в соответствии с уровнем современной науки и современными музейными требованиями.

Теоретическое обоснование программы музея, особенно такого, как Эрмитаж, с огромным материалом, который наслаивался в течение полутора столетий и продолжал нести на себе следы вкусов, прихотей, капризов августейших хозяев Зимнего дворца, всегда представляет величайшую сложность. Музееведам приходит-

ся иметь дело не с отвлеченными понятиями, а с определенными вещественными памятниками, каждый из которых может изучаться и экспонироваться в различных плоскостях, с различных точек зрения. Известно также, что каждый памятник, какую бы индивидуальную ценность он ни имел, полное свое значение получает лишь в сопоставлении с той или иной группой памятников, взаимно дополняющих друг друга при освещении того или иного вопроса. Материал не редкий, встречающийся не в единичных образцах, может, конечно, экспонироваться в разных местах, в разных разделах, но при распределении вещей исключительного значения, уникальных, и особенно при решении судьбы целых комплексов, легко могут быть нарушены интересы одного или другого внутримузейного организма. Здесь необходим очень осторожный, строго продуманный подход. «Исходя из этого,—говорится в отчете,—Эрмитаж не произвел сразу коренной ломки, а выяснил сперва в общих чертах характерные особенности и состав своих собраний, выяснил и главнейшие нужды и затем установил те дисциплины, которые должны и могут быть представлены в общей программе Эрмитажа, и на основе этих дисциплин или их разветвлений построил Отделение, сведя их потом в Отделы».

Было образовано девятнадцать отделений, составивших четыре отдела¹. Лиха беда начало. Безостано-

¹ До революции Эрмитаж состоял из пяти отделений: 1) Отделение Картинной галереи, гравюр и рисунков; 2) Отделение древностей, в которое входили древности Ассирии, Египта, Греции, Рима, Юга России и Сибири; 3) Отделение Средних веков и эпохи Возрождения, включавшее восточные и христианские древности и Арсенал; 4) Отделение драгоценностей с галереями фарфора и серебра; 5) Отделение монет и медалей.

Осенью 1918 года при пересмотре структуры музея были образованы: 1) Отделение Древнего Востока, 2) Отделение греко-римского искусства, 3) Отделение археологии России с секциями древностей классической и христианской эпох, составившие *Отдел древностей*; 4) Отделение восточного искусства, 5) Отделение западного искусства Средних веков и эпохи Возрождения, 6) Отделение западного искусства Нового времени, 7) Отделение историческое, — эти четыре отделения составили *Отдел прикладного искусства*; 8) Отделение итальянской и испанской живописи, 9) Отделение фламандской, старонидерландской и старонемецкой живописи, 10) Отделение голландской живописи, 11) Отделение английской и французской живописи, 12) Отделение новой живописи, 13) Отделение рисунков, 14) Отделение гравюр, — такова стала теперь структура *Отдела Картинной галереи*; 15) Отделение классических монет, 16) Отделение западноевропейских монет, 17) Отделение восточных монет, 18) Отделение русских монет, 19) Отделение глиптики, — пять этих отделений составили теперь *Отдел нумизматики и глиптики*.

вочный процесс начавшегося переустройства музея уже вскоре потребовал от его хранителей дальнейших, более смелых шагов. «Музей иноземного, преимущественно западноевропейского искусства», каким представлялся им Эрмитаж в ранние советские годы, постепенно преобразовывался во всеобъемлющий музей истории мирового искусства и мировой культуры и соответственно на протяжении десятилетий видоизменялись программа и структура Государственного Эрмитажа. Однако и сегодня нельзя не отдать должного первым эрмитажным реформам восемнадцатого года — они сыграли роль исходного рубежа для всего последующего развития музея.

...Всю осень в музейных залах и кабинетах заседают ученые и художественные деятели — «свои» и «чужие». Определяется новая структура эрмитажных отделов и отделений. Уточняется программа. Существенны перемены в Эрмитаже, и впервые в его истории они совершаются не «по высочайшему повелению» и не «с высочайшего дозволения», а демократическим путем, ошеломляюще необычным для недавнего дворцового музея.

«Российской Академии Наук.

Совет Эрмитажа, в заседании своем от 18 сентября, постановил произвести выборы на должности ученых хранителей Эрмитажа при участии делегатов от некоторых ученых учреждений. Ввиду этого Совет обращается в Российскую Академию Наук с покорнейшей просьбой избрать по одному делегату от 1) Отдела русского языка, 2) Отдела исторических наук и филологии и 3) разряда изящной словесности — и не оставить Совет Эрмитажа уведомлением о результатах выборов...»

Письма аналогичного содержания галерейный служитель снес и в канцелярию Петербургского университета, и в Археологическую комиссию, и в управление Русского музея. Персональные приглашения участвовать своими голосами в избрании эрмитажных хранителей были направлены почтой нескольким петербургским художникам, близким к Эрмитажу.

Собственно говоря, выборы в Эрмитаже однажды уже производились — недавно, летом; еще до отъезда

Толстого, когда Музейная коллегия признала существующее членение ученого персонала Эрмитажа нелепым анахронизмом: старшие хранители, просто хранители, сверхштатные хранители, кандидаты на классную должность и, наконец, «причисленные к Эрмитажу». Графу Толстому, который одной ногой уже находился в Киеве, было все безразлично: пожалуйста, пожалуйста, он не противник, его вполне устраивает новая схема — хранители, ассистенты, научные сотрудники. «Нехай так, нехай сяк, нехай свитка буде фряк», — как поют парубки в Кагарлыке. Он согласился даже с тем, что отныне эрмитажные ассистенты и научные сотрудники будут не назначаться в административном порядке, а избираться Советом хранителей. Толстой укатил, и Ленц, в точности выполняя конфиденциальную инструкцию, быстро провернул порученное ему дело: по шпаргалке, оставленной графом, он переименовал упраздняемых «кандидатов» и «причисленных» — кого в научные сотрудники, кого в ассистенты, и, собрав служащих, тех, кто был под рукой, главным образом галерейных служителей, утвердил свой список абсолютным большинством голосов. Вошли в этот список и люди, не имевшие мало-мальски подобающего образовательного ценза — титулованные бездельники, годами делившие свой досуг между бриджем, ипподромом и Картинной галереей. Истинную им цену в музее, конечно же, знали, но были они определены в Эрмитаж высочайшим рескриптом, и Ленц обещал Толстому, что не даст их в обиду.

Маневр не удался. Он только обострил взаимоотношения внутри Эрмитажа, вызвал резкий протест Тройницкого и Шмидта и в итоге привел к конфликту с Музейной коллегией, аннулировавшей решение неправомочного собрания. Тогда-то и появился в Эрмитаже особый комиссар, а раздосадованный Ленц наотрез отказался нести ответственность за музей; вконец разувверившись в настоящем и будущем, он решил держаться своих Средних веков, где он чувствовал себя дома, где никто и ничто не могло поколебать его компетенцию и авторитет.

Не Ленц, а Тройницкий встречал 11 октября в вестибюле музея именитых гостей, которых и гостями-то не назовешь, потому что гостям, а не хозяевам предстояло сформировать эрмитажный «кабинет министров» — избрать девятнадцать хранителей, чтобы поставить их во главе девятнадцати вновь созданных отде-

ний. Так было обусловлено: коллегия по выборам будет состоять на две трети из «чужих» и лишь одна треть — «свои», члены старого Совета Эрмитажа.

Сходиться стали к полудню. Кое-кто из академиков, войдя в вестибюль, по привычке направлялся к вешалке, но Тройницкий успевал предупредить:

— В Эрмитаже у нас не топлено.

Заседали в пальто. Профессор Жебелев с согласия присутствующих попросил занять председательское кресло академика Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского, и тот поблагодарил достоуважаемых коллег за оказываемую ему честь.

Все внове, все не так, как было. Хранители уже не хранители, а соискатели-конкуренты. «К моменту выборов, — сказано в отчете, — весь старый хранительский состав подал заявление об отставке и конкурировал на общих с посторонними лицами основаниях, с представлением кратких жизнеописаний и списков научных трудов».

Nil admirari! Твердо решив оставаться ко всему безучастным, ничему более не удивляться, Эдуард Эдуардович задохнулся, однако, от возмущения, когда понял, что ему надо засесть за *succiculum vitae*¹ — будто он юнец, добивающийся хранительской должности, и это после двадцати лет беспорочной эрмитажной службы, прошедшей у всех на виду. Но требуемые бумаги безропотно подавали все без исключения, никто не заявлял претензий; окончательно остыл Эдуард Эдуардович, увидев, что в канцелярию зашел явно по тому же делу Алексей Константинович Марков — уж на что *persona grata*!²

Сведения о жизни и трудах хранителя Эрмитажа А. К. Маркова, выдающегося русского ученого-нумизмата, содержались в энциклопедических словарях еще в конце прошлого века. Он был очень известный ученый и вместе с тем принадлежал к числу тех музейных хранителей, которых в музее, казалось, не видно и не слышно, но чьи научные работы, построенные на эрмитажном материале, расширяли и углубляли исторический кругозор их современников. Его фундаментальные исследования, посвященные аршакидским, са-

¹ Жизнеописание (лат.).

² В данном случае лицо, пользующееся особым уважением (лат.).

санидским и куфическим монетам, раскрыли мировой науке бесчисленные фонды восточных монет Нумизматического отделения, история которого восходит к Минцкабинету екатерининских времен. «В создание нумизматических коллекций дореволюционного Эрмитажа,—будет отмечено уже в советские годы,—большой вклад внесли его хранители академики К. Келлер (1765—1837), М. И. Броссе (1812—1880), А. И. Кунник (1814—1899) и, в особенности, крупный медиевист А. К. Марков (1858—1920)».

Как всякий кабинетный ученый, Алексей Константинович чувствовал себя счастливым только за письменным столом. Он тщательно избегал всего, что могло помешать его научным занятиям. Он сторонился даже внутримузеевых совещаний, которые с середины лета созывались одно за другим и, по его мнению, приобрели политический характер,—он боялся быть втянутым в интригу. Однако осенью он весьма охотно, без колебаний вошел в состав коллегии по выборам и, судя по всему, стал придавать большое значение этим своим общественным обязанностям. Когда Ленц, встретив Маркова в канцелярии музея, прошелся насчет никчемной затеи с выборами, Алексей Константинович удивленно поднял брови: принцип выборности ученого персонала в научном учреждении следует признать вполне разумным.

Краткое жизнеописание, принесенное Алексеем Константиновичем в связи с предстоящей баллотировкой, состояло из перечня высших учебных заведений, в которых он обучался за границей и в России, и высших учебных заведений, в которых он читал будущим археологам курс древней нумизматики. Об Эрмитаже, заметил Ленц, одна строка: «С 1888 года хранитель Монетного отделения». Эдуард Эдуардович был чуть старше Маркова, но пришел в Эрмитаж одиннадцатью годами позже.

Ученые труды Ленца весьма ценились Марковым, и каталог эрмитажного собрания оружия, преподнесенный ему Эдуардом Эдуардовичем с авторской надписью, великолепный экземпляр на меловой бумаге в переплете Шнеля, стоял у него в домашнем кабинете на почетном месте среди важнейших справочников. Но душевное расположение Алексей Константинович питал к другому хранителю Средневекового отделения — Якову Ивановичу Смирнову, с давней поры частому гостю, можно сказать — навсегда Монетного зала.

Он помнил Смирнова еще без единого седого волоса, еще совсем молодым, когда тому только-только пришла на ум светлая мысль сопоставить изображения царей на сасанидских сосудах и на сасанидских монетах. Теперь все кажется просто, а ведь до Якова Ивановича никому не удавалось так доказательно и так остроумно установить по монетам хронологические группы сасанидских памятников.

Смирнова он не видел в Эрмитаже поди уже целую неделю, с 11 октября, с первого, предварительного заседания коллегии по выборам. — Не заболел ли Яков Иванович? — осведомился Марков у Ленца. — Очень уж он мне не понравился, какой-то раздражительный, глаза потухшие, словно подменили человека. — Ленц не ответил. Он был суеверен и не любил говорить о болезнях — еще накличешь беду.



О том, что Яков Иванович болен тяжелой и вряд ли излечимой болезнью, догадывался все больший круг его друзей. Они заклинали Якова Ивановича поберегаться, не испытывать судьбу, пересидеть дома эту сырую холодную осень, но Смирнов, как всегда, только отмахивался. «Я не видел человека, — писал потом М. И. Ростовцев, — который был бы столь равнодушен к себе и столь предан своей науке, своему делу».

У него появились отеки на ногах, ходить стало трудно, и все-таки он ходил, считая невозможным для себя пропустить хотя бы одну лекцию в университете, хотя бы одно заседание в Эрмитаже.

С каждым днем Смирнову становилось все хуже. «Больно было видеть, как таял Яков Иванович, но никому в голову не приходило, что развязка так близка, — рассказывает С. А. Жебелев. — В пятницу 18 октября 1918 года, в полдень, мы встретились с Яковым Ивановичем в университетском Музее древностей, побеседовали, стали собираться уходить. И вдруг, о ужас! Яков Иванович пробует подняться со стула и не может. С Иосифом Абгаровичем Орбели мы помогли ему встать. Пошли по нижней галерее университета, шли тихо, а Яков Иванович все просит меня убавить шаг. Дорогой, до Дворцового моста, он говорил мне, между прочим, что скоро поедет в деревню, где он рассчитывает „отъестся и отлежаться“. Так мы, еле-еле передвигая ноги, дошли до Дворцового моста...»

У моста остановились. Яков Иванович, отдышавшись, твердо заявил, что дальше, к себе на Петербургскую сторону, он пойдет один и что спорить с ним бесполезно.

— Я — сибиряк, — через силу улыбнулся он, — а сибиряки народ упрямый.

Пройдя несколько шагов, Жебелев и Орбели оглянулись — Яков Иванович стоял около здания Зоологического музея и рассматривал выставленные в витрине книги. Он тоже оглянулся и помахал им рукой: ступайте, ступайте...

Орбели направился в Зимний дворец, на Детскую половину, — об ухудшившемся состоянии здоровья академика Смирнова он сегодня же сообщит Ятманову, правительственному комиссару по делам музеев. Жебелев пошел в Эрмитаж.

В Эрмитаже всполошились. Тройницкий взялся хлопотать Якову Ивановичу длительный отпуск — пусть действительно поедет в Боблово (если только согласится поехать), пусть отдохнет, отлежится, подкормится.

Смерть всегда неожиданна. Приказ, подписанный 22 октября, гласил: «Разрешаю уволить в двухмесячный отпуск с сохранением содержания хранителя Я. И. Смирнова по болезни. Комиссар Эрмитажа Н. Пунин». Никто не предполагал, что уже завтра, 23 октября, наступит трагическая развязка.

Дождь лил и в день похорон, дождь льет и сегодня. В пальто, мокрых от дождя, «свои» и «чужие» сидят на привычных местах за столом заседаний — очередное, уже третье, заседание коллегии по выборам ученых хранителей Эрмитажа. «Открывая собрание, — указано в протоколе, — академик А. С. Лаппо-Данилевский охарактеризовал заслуги покойного Я. И. Смирнова перед русской наукой».

Кресло справа от Орбели плотно придвинуто к столу, — это кресло обычно занимал Яков Иванович. Слева от Орбели — профессор Жебелев, другой его университетский наставник. — Невозможно примириться, — тихо говорит Орбели профессору Жебелеву, — трудно осознать...

В некрологе они напишут:

«Все, кто входил с ним в близкое соприкосновение, проникались к нему уважением, и все они будут вспоминать о Якове Ивановиче с отрадным чувством и светлыми мыслями...»

...Год тысяча девятьсот сорок первый. Великая Отечественная война. Ленинград осажден гитлеровскими полчищами. Седой как лунь академик Жебелев и только начинающий сидеть академик Орбели — в рядах защитников города-героя.

Где-то на Васильевском рвутся снаряды, где-то неподалеку ухнула фугасная бомба. Преодолев Дворцовый мост, который раз от раза становится заметно длиннее, академик Жебелев бредет вдоль стен Зимнего дворца по натопанной в снегу узкой тропинке и наконец добирается к эрмитажному подъезду, что у Зимней канавки.

Слава богу, он не опоздал к началу заседания. Много знакомых. Сидят в шубах, как в годы гражданской войны. Нынешний директор Эрмитажа Иосиф Орбели — его ученик. Он гордится своим учеником, который — всем фашистам назло! — находит в себе энергию и мужество проводить такие вот ученые заседания в блокадном Эрмитаже.

После заседания Жебелев по обыкновению задерживается, и Орбели, как всегда, помогает ему спуститься по крутой лестнице в подвальную каморку — блокадный директорский кабинет. Ощупью находит подсвечник, зажигает свечу, усаживает Сергея Александровича на узкую койку, застланную солдатским одеялом. Сидя рядом на железной койке, они неспешно перебирают в памяти совместно пережитое в давние времена. Вспоминают восемнадцатый год — холодный, голодный Петроград, застуженный университет, застуженный Эрмитаж. И опять и опять вспоминают академика Смирнова, незабвенного Якова Ивановича: несмотря ни на что и вопреки всему он до конца выполнил свой долг русского ученого перед родной страной... Далекий-далекий восемнадцатый год!

В пальто, мокрых от дождя, сидят они, Жебелев и Орбели, на привычных местах за столом заседаний в Эрмитаже — очередное, третье по счету, заседание коллегии по выборам ученых хранителей. Академик Лаппо-Данилевский заканчивает скорбное прощальное слово:
— Вечная память Якову Ивановичу Смирнову...

Баллотировка происходила 11 ноября на последнем, заключительном заседании коллегии по выборам. Голо-

совали, подавая записки. Когда академик Лаппо-Данилевский объявил, что господин Ленц единодушно избран хранителем Отделения западного искусства Средних веков, Эдуард Эдуардович, который вообще-то говоря и не ожидал другого, все же вздохнул с облегчением: ведь пятью минутами раньше стало известно, что один из его многолетних сослуживцев, чуть ли не с начала века занимавший в Эрмитаже должность старшего хранителя по Отделению древностей, не собрал необходимого числа голосов. Забаллотировали и двух хранителей по Картинной галерее, но Липгарт, конечно, прошел с триумфом. «Липгарт, Марков, Шмидт,— записывает Эдуард Эдуардович себе в блокнот,— Тройницкий, Вальдгауер...» О результатах выборов он обещал оповестить Толстого. Неприятным сюрпризом для графа будет избрание Александра Бенуа хранителем Отделения французской и английской живописи. Да и вообще в Картинной галерее теперь сплошь варяги. У Яремича, нового хранителя Отделения гравюр, в *singulum vitae* прямо сказано, что он родился в крестьянской семье. Лучше не думать на эти темы, щадить свои нервы, ничему не удивляться — *nil admirari!*

— Надеюсь, что наши труды пойдут на благо Эрмитажу,— произнес академик Лаппо-Данилевский, объявляя, что деятельность выборной коллегии завершена. На завтра Луначарскому было доложено:

«11-го сего ноября в Эрмитаже состоялись выборы на должности ученых хранителей Эрмитажа. В состав Выборного Собрания входили как наличный состав Совета Эрмитажа, так и делегаты от Российской Академии Наук, Археологической комиссии, 1-го Петербургского университета и Русского музея, а также особо кооптированные лица из числа деятелей искусства, всего 28 человек... Прилагая при этом список избранных лиц, Эрмитаж просит Вас, товарищ комиссар, об их утверждении в должности...

Комиссар Эрмитажа *Н. Пунин*.
И. о. директора *С. Тройницкий*»

В печатном отчете Эрмитажа говорится:

«Вновь избранный состав хранителей, в который прежний состав вошел далеко не полностью, был утвержден Наркомом просвещения А. В. Луначарским»,

Одни выборы закончились, другие начались:

«Новый Совет Эрмитажа избрал директора музея, заведующих Отделами и перензбрал весь младший научный персонал».

...Что ни день — сенсация: кое-кто из забаллотированных хранителей вынужден удовлетвориться должностью ассистента; кое-кто из «причисленных» вовсе отчислен «за недостаточностью компетенции»; и, наконец, самое невероятное — в «Списке лиц, избранных на должности по научно-художественной части» значатся два женских имени. Неслыханно в истории Эрмитажа! Поздравляя Лидию Николаевну Углову с избранием научным сотрудником и Марию Ивановну Максимову, выбранную ассистентом по Отделу нумизматики и глиптики, Тройницкий так и сказал:

— Вы, милостивые государыни, первые женщины, кои будут хозяйничать в Эрмитаже, — если, разумеется, не считать матушку Екатерину.

«Самой сладкой мечтой обычно бывает мечта несбыточная. Помню, — рассказывает доктор исторических наук М. И. Максимова, — как мы, курсистки-бестужевки, мечтали о времени, когда женщинам в России будет открыт доступ на университетские кафедры. Что касается меня, то моей мечтой был Эрмитаж. Увы, в Императорском Эрмитаже среди ученого персонала женщин никогда не было да и по законам писаным и неписаным быть не могло. От мечты своей я, однако, не отказывалась».

По окончании Высших женских курсов, где я прошла основательную школу под руководством М. И. Ростовцева, я еще пять лет доучивалась в Бонне и в Берлине. Там, в Берлине, и застигла меня первая мировая война. С трудом — через нейтральные страны — мне удалось вернуться на родину.

Я привезла с собой рекомендательное письмо от доктора Лешке, у которого занималась в Бонне. Учениками Лешке были некоторые эрмитажные хранители. Другое рекомендательное письмо дал мне уже в Петербурге Ростовцев. С двумя этими письмами я и пошла проситься в Эрмитаж. Ни на что я не надеялась, но, как говорится, под лежащий камень вода не течет».

О том, чтобы предоставить просительнице штатную должность или хотя бы «причислить» ее к Эрмитажу, разговора даже не поднималось. Однако доктор Лешке все же сыграл свою роль: настойчивой и, видимо, высокообразованной барышне, к тому же жалованьем не

интересующейся, позволили составлять инвентарные карточки на античную керамику — неофициально, без ведома министерства двора, из уважения к научным светилам, рекомендовавшим мадемуазель Максимову.

«Целая проблема — где, в каком помещении мне работать. Научные кабинеты, в которых занимаются хранители музея, категорически исключались — появление здесь особы женского пола было попросту немыслимо. После долгих обсуждений меня устроили в музейном зале, открытом для посетителей, — поставили столик в уголке, свободном от витрин. Через некоторое время я перекочевала в Рафаэлевский зал — разбирать резные камни».

Свыше десяти тысяч гемм — камей и инталий — насчитывалось в Эрмитаже еще в екатерининскую пору. В одном из писем барону Гримму императрица писала: «Моя маленькая коллекция резных камней такова, что вчера четыре человека с трудом несли две корзины с ящичками, в которых заключалась едва половина собрания; во избежание недоразумения знайте, что это были те корзины, в которых у нас зимой носят дрова». Свою страсть к собиранию резных камней Екатерина прозвала «камейной болезнью».

«Камейная болезнь теперь передалась мне, — рассказывает М. И. Максимова. — В Рафаэлевском зале, где я обосновалась, резные камни были выставлены в застекленных пирамидах, густо-густо насаженные на бархат без какой-либо научной классификации. Бóльшая часть камей находилась в запасниках, а те, которые поступили в XIX веке, никто вообще еще не трогал, и они, неразобранные, лежали в коробках. Я приводила весь этот уникальный материал в порядок, располагая его в хронологической последовательности. Работала я, как и прежде, на птичьих правах».

Максимова могла работать и без жалованья — она принадлежала к весьма состоятельной семье. Иное дело — Лидия Николаевна Углова. «На птичьих правах» она проработала в Эрмитаже двадцать с лишним лет и все эти два десятилетия, с 1896 года, постоянно находилась в страхе, что не сегодня, так завтра прекратятся ее временные занятия в качестве писца по вольному найму, которому оговоренные тридцать рублей выплачивались не как всем — двадцатого числа, а лишь в конце месяца, каждый раз по заново подаваемому счету. «Постоянного места я получить не могла, — пишет Л. Н. Углова в автобиографии, — так как в министер-

стве двора, к которому принадлежал Эрмитаж, лица женского пола на эти места не допускались». Она стала опытным инвентаризатором и занималась составлением подвижного каталога собрания гравюр.

Ее работа чуть было не оборвалась в 1901 году, когда выяснилось, что министерство двора не отпустило необходимых ассигнований на каталогизацию, и Лидия Николаевна (ей не исполнилось и сорока!) в полном отчаянии стала хлопотать о том, чтобы ее взяли в дом призрения бедных: она была занесена в список кандидатов и предупреждена, что очередь дойдет не скоро. Через пять лет, в 1906 году, она опять оказалась на краю катастрофы, и перед попечителем дома призрения за нее ходатайствует теперь сам директор музея обер-гофмейстер Всеволожский.

«Предъявительница настоящего письма... Лидия Углова свыше десяти лет занималась в Императорском Эрмитаже каталогизацией его обширной коллекции гравюр, причем выказала образцовое усердие и редкую добросовестность. Ныне, ввиду скорого окончания означенной каталогизации и лишения через то получаемого вознаграждения, госпоже Угловой предстоит оказаться в весьма затруднительном материальном положении... Вследствие сего она желала бы поступить в Дом призрения бедных императрицы Александры Федоровны, кандидаткой коего числится с 1901 года. Принимая во внимание пользу, принесенную госпожой Угловой Эрмитажу, осмеливаюсь рекомендовать ее вниманию Вашего Превосходительства и покорнейше прошу Вас оказать возможное с Вашей стороны содействие к удовлетворению ее желания».

Его превосходительство действительный статский советник Олив ответил коротко: «Может быть принята по достижении очереди». Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба Л. Н. Угловой, если бы не добросердечие Андрея Ивановича Сомова, в то время старшего хранителя Картинной галереи: Угловой поручили составление карточного указателя собрания рисунков, и Лидия Николаевна, бесправный «писец по вольному найму» (тридцать рублей в месяц), возобновила свои временные занятия в музее.

После падения самодержавия, летом 1917 года, «женский вопрос в Эрмитаже» обсуждался в самых верхах — на заседании Временного правительства. Постановили: «Разрешить причисление к Эрмитажу лиц женского пола, оставив открытым вопрос о допущении

их к занятию штатных должностей в сем установлении»¹. Идею женского равноправия в установлениях бывшего министерства императорского двора члены Временного правительства, судя по всему, находили еще весьма спорной.

«Нас,— вспоминает М. И. Максимова,— „причислили“ к Эрмитажу, но ни мне, ни Лидии Николаевне Угловой это не давало никаких прав и ничего в нашем положении не изменило. Равноправными научными работниками музея мы стали уже в советское время, в ноябре 1918 года. К этому времени я успела защитить на публичном диспуте в Петербургском университете диссертацию „Античные фигурные вазы“ на соискание степени магистра теории и истории искусств, что позволило Алексею Константиновичу Маркову представить меня к избранию на должность ассистента по Отделу нумизматики и глиптики. Затем Совет Эрмитажа нашел возможным доверить мне Отделение глиптики — теперь уже как хранителю. А Лидия Николаевна, ставшая впоследствии старшим помощником хранителя собрания гравюр, проработала в Эрмитаже еще много-много лет, до глубокой старости. Сейчас, в 1964 году, когда в Эрмитаже женщины составляют более половины научных сотрудников, мой рассказ о первых „эрмитажных дамах“ может показаться молодому поколению невероятным».

Восемнадцатый год еще не пришел к концу — выборная страда в Эрмитаже продолжалась².

14

Весной это было в новинку, а к осени стало привычным: трудовой люд, переселенный из подвалов, лачуг и бараков в просторные буржуйские квартиры, не видел ничего диковинного в том, что для него всегда раскрыты и двери Зимнего дворца. «Народ полюбил пышный и стройный дворец, им завоеванный,— писал А. В. Лу-

¹ Выписка из журнала заседания Временного правительства от 7 июля 1917 года сохранилась в архиве Эрмитажа.

² Ученые хранители, как и весь научный персонал Эрмитажа, были избраны сроком на один год; осенью 1919 года выборная коллегия (на этот раз под председательством академика В. В. Бартольда) произвела новые выборы, причем в составе хранителей, ассистентов и научных сотрудников опять произошли некоторые изменения.

начарский осенью 1918 года. — Нигде рефераты, концерты, киносеансы не собирают столько публики».

Проекционный аппарат был установлен в Николаевском зале. Повесили и экран — большое белое полотнище. Петроградские газеты извещали: «В Зимнем дворце (вход с набережной, Иорданский подъезд) четыре кинематографических сеанса от 1 ч. до 9 ч. вечера. Пойдет инсценировка в 4 частях „Дон Кихот“ и хроника: „Первого мая 1918 года“. Перед началом сеанса будет прочитана лекция». «Зимний дворец: драма в 3-х частях по произведению Тургенева „Сон“ и научно-видовая картина „Лондон и его окрестности“. Перед началом сеанса — лекция». «Зимний дворец: драма в 3-х частях по произведению Л. Толстого „Много ли человеку земли нужно“ и научно-видовая картина „Как живут и работают японцы“. Перед началом сеанса — лекция»... «„Камо грядеши“, „Крейцера соната“, „Барышня и хулиган“ — новая фильма по сценарию и с участием Владимира Маяковского»... В перечне петроградских кинематографов, чьи программы ежедневно анонсировала «Красная газета», первым шел «рабочий кинематограф — Зимний дворец».

В Николаевском зале — иллюзион, в Гербовом — музыка. Рассказывая читателям «Петроградской правды» о цикле народных концертов в Гербовом зале, задуманном Государственным оркестром, бывшим Придворным, А. В. Луначарский писал: «Имейте в виду, оркестр вовсе не хочет давать народу так называемую общедоступную музыку, играя ее во втором сорте. Оркестр сознает, что он народу должен дать лучшее, на что способен, и выбрать программы, полные великим духовным содержанием... В ближайшую пятницу будет иметь место первый такой концерт. Я хочу открыть эту серию вечеров высокого искусства для народа небольшой лекцией на тему: „Народ и музыка“».

Нумерованных мест в Гербовом зале — 1200, но, как сообщает «Петроградская правда», на каждом концерте Государственного оркестра, бывшего Придворного, бывает свыше 2000 человек, «положительно закупоривающих все проходы и выходы этого громадного зала».



Не каждый день, но публику пускают и в Эрмитаж — Миллионная, подъезд с атлантами. «С 27-го октября, — свидетельствует годовой отчет музея, — начался допуск публики и экскурсантов по четвергам, воскресеньям и

праздничным дням с 11 до 3 часов, пока только в залы Отделения Древнего Востока и Античной скульптуры». Несколько залов в первом этаже.

Может быть, сами эрмитажные и не решились бы на такой шаг, но настойчивое требование открыть музей для публичного обозрения исходило от правительственного комиссара Ятманова. Однажды, в сентябре, председательствуя на Музейной коллегии, Ятманов в восторженных тонах заговорил о Дворце искусств и тут же противопоставил Зимнему дворцу соседствующее с ним здание музея, в котором, сказал он, «не чувствуется дыхания революции». — Посмотрите, с каким настроением пролетариат ходит в Зимний, — обратился он к Тройницкому, делегату Эрмитажа. — Неужто вас зависть не берет? — Знакомые речи, привычный ответ: музей опустошен эвакуацией — это общеизвестно. Однако Ятманов, перебив Тройницкого, с горячностью стал доказывать, что и после эвакуации в музее осталось достаточно вещей, которые грех не показать народу, что ящики с вещами, не увезенные в Москву, до сих пор стоят не распакованными в эрмитажном вестибюле и что «медлительность, проявляемая Эрмитажем, совершенно нетерпима в условиях всеобщего революционного подъема».

Тройницкий не стал спорить — комиссар, сам того не подозревая, подал ему отличную идею: он сегодня же испросит аудиенцию у Луначарского.

...Ящики стали переносить из вестибюля в залы и кладовые уже через несколько дней. «На основании постановления Совета Эрмитажа, — гласил приказ от 25 сентября, — немедленно приступить к распаковке ящиков с коллекциями музея 3-ей очереди, предназначенных к отправке в Москву, и размещению предметов на старые места». Но вопрос об открытии для публики музейных залов, по всей вероятности, так бы и повис в воздухе, если бы не профессор Вальдгауер, хранитель Отделения древностей. Мнение Вальдгауера шло вразрез с точкой зрения большинства, и эрмитажные хранители старшего поколения не преминули вспомнить, как еще в начале века обер-гофмейстер Всеволожский грозился «отставить от Эрмитажа» неугомонного Оскара Фердинандовича — за излишнюю энергию и «непрошенные инициативы».

В те времена, при Всеволожском, Оскар Вальдгауер был совсем молодым человеком: когда он приехал в

Петербург, ему не минуло и двадцати двух. Археологией и античным искусством он увлечен с юных лет. Позади гимназические годы в Орле, студенческие — в Мюнхене. Фортуна к нему благосклонна — у него всегда прекрасные учителя, чего стоит один Фуртвенглер, продолжатель традиций покойного Брунна! (Впоследствии профессор А. А. Передольская, ученица и биограф Вальдгауера, напишет: «Брунн, Фуртвенглер, Вальдгауер — отныне эти три имени, тесно связанные друг с другом, знаменуют три разных этапа в историческом развитии науки об античном искусстве».) С дипломом доктора философии Вальдгауер возвращается в Россию. Он работает в Одессе, в Москве, но его манит Петербург, потому что Эрмитаж — в Петербурге. Бесконечные, подчас унижительные хлопоты о месте в Эрмитаже. И снова улыбка фортуны: его зачисляют «кандидатом на классную должность». Жалованье кандидату не полагается, служба без всякого материального вознаграждения, но Вальдгауер счастлив. Капиталов в семье нет, да и стыдно просить родных о вспомоществовании, он предпочитает бегать по урокам. Потом, освоившись в Петербурге, учительствует в средних учебных заведениях, преподает древние языки. С уроков — в Эрмитаж, из Эрмитажа — на урок. Иногда он засиживается в Эрмитаже до полуночи, иногда — до рассвета.

Он очарован Эрмитажем. Очарован — и разочарован. В залах Отделения древностей его гнетет пышный, дворцовый, чисто декоративный характер музейной экспозиции, обедняющий и искажающий реальную картину истории античного искусства. Он загорается идеей привести эту экспозицию, не менявшуюся с шестидесятых годов, хоть в какое-то соответствие с новейшей научной методологией. Он не из породы молчаливых, он не робеет перед эрмитажными фамусовыми — где только можно он отстаивает свою идею. С превеликим трудом удастся ему провести некоторые изменения — сперва в залах с вазами, затем — в залах скульптуры. «Вся эта кипучая деятельность Вальдгауера, — пишет его биограф, — настолько нервировала косных придворных чиновников, что тогдашний директор Эрмитажа Всеволожский пытался даже уволить „беспокойного ученого“». И уволил бы, не приобрети Вальдгауер к этому времени известность и уважение в научных кругах.

Пять лет провел он в «кандидатах» при обер-гофмейстере Всеволожском, еще четыре года — при графе Толстом. Классную должность хранителя Эрмитажа

он получил на исходе девяти лет безвозмездной службы, в 1913 году, уже будучи профессором Института истории искусств и приват-доцентом Петербургского университета.

И в институте на Исаакиевской площади, и в университетской аудитории, и в эрмитажных залах среди античных статуй и ваз он всегда был окружен не чуждой в нем души пылкой студенческой молодежью. «Педагогическая деятельность,— пишет А. А. Передольская,— развила в Вальдгауере те таланты и свойства, которые создали из него тип идеального учителя, умевшего не только захватить молодежь своим замечательным пониманием специфики художественного произведения, умевшего не только передать свои знания и свое понимание другим, но и обладавшего удивительной способностью вызывать к жизни творческие силы молодежи».

Его студенты, его слушатели, его ученики вот уже год лишены возможности посещать Эрмитаж, хотя, как все знают, Отделение древностей менее всего пострадало от эвакуации — многопудовые мраморы не стронуты с места. Летом, не так давно, в июне, он вздумал было провести занятия в залах античной скульптуры со слушателями преподавательских курсов Института истории искусств — достойнейшие люди! Стыдно вспомнить, чем кончилась его затея. — Исключено, — отрезал Ленц, — музей закрыт. — Не помогла и бумага, раздобытая институтом у комиссара по музейным делам, — Ленц еще пуще разъярился: — Ах вот как, комиссар настаивает? Пожалуйста, господин Вальдгауер, оповестите своих слушателей о нашем решении: «Допустить экскурсантов, но объяснить им, что это делается вопреки постановлению Эрмитажа, и тем самым дать возможность тем из них, которые не пожелают идти против мнения научной коллегии Эрмитажа, отказаться от посещения». — Экскурсию пришлось отменить — другого выхода у него не было. Остался стыд — перед слушателями, перед самим собой. Потому-то позднее, в сентябре, когда среди хранителей пошли разговоры о сердитой нотации, прочитанной комиссаром Ятмановым делегатам Эрмитажа («медлительность, недопустимая в условиях всеобщего революционного подъема»), Оскар Фердинандович решил поступиться корпоративной этикой и пренебречь мнением большинства: он во всеуслышание заявил, что Ятманов совершенно прав — двери музея дольше нельзя держать закрытыми для публики. Конеч-

но, покуда вещи не вернутся из Москвы, толковать об интенсивной учебно-просветительной жизни во всем музее по меньшей мере наивно, но что препятствует Эрмитажу уже сегодня открыть экскурсантам и отдельным посетителям несколько залов в нижнем этаже, скажем — залы древней скульптуры?

Неожиданно Вальдгауера поддержал Тройницкий — после разговора с Луначарским у него, по-видимому, возникли какие-то новые соображения.

— Если Оскар Фердинандович берется, — сказал он примирительным тоном, — давайте, господа, не будем ему мешать.

Залы Отделения древностей прибрали, экспозицию, разреженную эвакуацией, пополнили вещами, которые Оскар Фердинандович высмотрел в эрмитажных кладовых¹. Экспозиционным залам придали вполне пристойный вид. — По воскресеньям и четвергам, — предупредил Вальдгауер своих студентов, — будем заниматься в Эрмитаже.

Напоследок, в субботу, галерейные служители принялись за атлантов — полдня отскребывали и отмывали их гранитные тела от многослойной бумажной коросты.

Пускать в Эрмитаж стали с одиннадцати, и в половине двенадцатого Тройницкий решил заглянуть в залы Отделения древностей — порядка ради, как исполняющий обязанности директора. Народу против ожидания немало, а с непривычки, после годичного перерыва, и вовсе кажется, что много, — надо же, притащились в такую слякоть. Оскар Фердинандович, конечно, в упоении, ораторствует о Мироне и Лисиппе, сел на своего конька.

¹ «Из предметов, хранившихся в кладовых Отделения, — сказано в годовом отчете, — были выставлены для обозрения пальмирские надгробные плиты, пожертвованные патриархом антиохийским, египетские стелы христианской эпохи из собрания В. А. Бока; далее выставлены находившиеся в других отделах и помещениях Эрмитажа голова Геракла из черного мрамора, тип IV в. до Р. Х., весьма близкий к Аполлону Бельведерскому, голова римлянки из черного мрамора, похожая на Агриппину-старшую, рельефные изображения Антонина Пия и Марка Аврелия и бронзовая голова Геракла фарнезского типа. В Эрмитаже выставлены также находившиеся на Иорданском подъезде Зимнего дворца античные бюсты, среди них чрезвычайно интересные портреты Геты и Фаустины-младшей».

В толпе студентов, окружавших Вальдгауера, Тройницкий с удивлением заметил нескладную фигуру правительственного комиссара по делам музеев,— Ятманов, как всегда, в своей выдавшей виды солдатской шинели, из оттопыренного кармана ломаным козырьком торчит мягкая фуражка. Он сосредоточенно слушает, недослышав — переспрашивает, вместе со всеми переходит от статуи к статуе. Тройницкий тихонько вышел из зала — пусть комиссар просвещается, не будем ему мешать.

С Ятмановым в тот день они встретились позже — когда студенты разошлись, комиссар сам изловил его в музее. Никогда Тройницкий не видел Ятманова в таком прекрасном настроении: наговорил всяких хороших слов.

Пользуясь тем, что комиссар сегодня к нему явно благорасположен, Тройницкий осведомился, имеет ли под собой основание болтовня дворцовых служителей: со следующей недели Зимний дворец якобы отдается под ночлег деревенскому люду, прибывающему в Петербург, — чуть ли не две тысячи человек.

— Не две тысячи, а считай все пять, — уточнил Ятманов. — Хозяева земли русской! Съезд комитетов деревенской бедноты — в самый канун первой годовщины нашей пролетарской революции.

Распрошались более чем дружелюбно. Вальдгауер был еще у себя, и Тройницкий поспешил предупредить его, что с будущего воскресенья доступ публики в Эрмитаж придется на некоторое время обязательно прекратить:

— Пять тысяч пауперов! «Запирайте этажи, нынче будет грабежи»...

Крестьяне-бедняки — гости питерского пролетариата. «Их принимают с почетом, — пишет «Красная газета», — их встречают оркестрами и речами, им отводят под ночлег помещения бывшего дворца — комнаты фрейлин, им открывают рестораны, самые шикарные в Красном Питере, им широкий доступ во все государственные театры».

По широким проспектам Петрограда мужики с котомками за плечами идут к Зимнему дворцу — раззолоченные хоромы первого помещика России как бы самой историей уготовлены для конвента деревенской бедноты. Любой апартамент — митинговое зало, и тут же подворье — комнаты во Фрейлинском коридоре. Но да-

же наипросторнейший из царских дворцов оказался тесен и не смог вместить всех съехавшихся делегатов: ожидалось пять тысяч, а прибыло в четыре раза больше — двадцать тысяч человек, и съезд начал свою работу не под лепными плафонами Зимнего, а под открытым небом, на булыжной мостовой Дворцовой площади¹.

С ночи Октябрьского штурма Дворцовая площадь так и осталась главной площадью Красного Петрограда, и какие бы события на ней ни происходили, их непременно очевидцем становился Эрмитаж. На Дворцовой площади, по соседству с Эрмитажем, осенью восемнадцатого года, 3 ноября, сошлось великое множество мужиков российских — в худой одежке, онучах да лаптях: первый съезд комитетов деревенской бедноты Союза коммун Северной области. Вчера — бедняки-горемыки, сегодня — опора Советской власти в селах и деревнях. «Даже в те, полные чудес времена, — вспоминает современник, — съезд этот казался чудом».

Все четыре дня, пока длилась эта «мужицкая асамблея» и во фрейлинских комнатах Зимнего обитала олонекская и вологодская голь, Тройницкий безотлучно находился в Эрмитаже. Ох, и осточертела же ему эта жизнь на казарменном положении! — без всякой надобности и без всякой пользы, как выяснилось под конец. Теперь, чтобы над ним не подсмеивались другие, он сам подтрунивал над собой. Тем не менее, уходя из Эрмитажа, он распорядился держать закрытыми эрмитажные двери и в последующие три дня, с 7 по 9 ноября: большевики намерены с шиком отпраздновать годовщину своего переворота, и толпы снова хлынут на улицу. Он отдает должное большевикам, доказавшим свое умение подчинять себе стихию, но раз на раз не приходится, а береженого и бог бережет.

Сказалась усталость; засветло придя домой, Тройницкий повалился на диван и мгновенно заснул. Ночью его разбудили орудийные выстрелы. Он прислушался: стреляют неподалеку, с Петропавловской крепости, через одинаковые промежутки. Тьфу ты! Спросонья и не

¹ В дальнейшем заседания Съезда бедноты происходили в двух залах Народного дома, а под ночлег делегатам были дополнительно предоставлены Европейская гостиница и некоторые помещения Таврического дворца.

сообразизишь, что это и есть объявленный газетами пол-ночный салют в честь большевистского праздника.

«Будет произведено двадцать пять залпов»... Салют из тех же крепостных орудий, которые год назад пали-ли по Зимнему. 25 октября по старому стилю,— ничто не вышибет из башки эту дату— 25 октября: Итальян-ский зал в Эрмитаже, черное небо над стеклянным по-толком, зарницы, предвещающие орудийный грохот, глу-ховатый голос Якова Ивановича, читающего на память из Екклезиаста... Две недели, сегодня ровно две неде-ли, как не стало Якова Ивановича... «Покойный акаде-мик Смирнов»... Десять лет были сослуживцами, а по-дружились за одну октябрьскую ночь...

Больше не стреляют — все двадцать пять залпов про-изведены. Салют как салют. Тройницкий поднял со-скользнувший с дивана плед, натянул поверх головы,— он попытается снова уснуть.

Обычно он засыпает быстро. На бессонницу жало-вался Толстой — нервы! Толстому фатально не везет: просчитался, ставя на германцев. В Германии завару-ха, как бы Гогенцоллернов не постигла участь Романо-вых. Что это даст России? Может быть — много, может быть — ничего. Спит ли по ночам Ленин? Нервы у боль-шевиков крепкие, самообладание, воля,— этого у них не отнять. Он дивится оптимизму большевиков — ис-кренне убеждены, что пушки Петропавловской крепости станут палить в их честь ежегодно, каждое 25 октября. И каждое 25 октября футуристы будут обряжать город в красный цвет.

Футуристам лафа. Взяли подряд на украшение улиц. Дедушка Липгарт плюется: — *Veritablement, d'une manière extravagante*¹, ноги идут отдельно, голова оста-ется позади, руки тоже болтаются где-то наверху не-зависимо от туловища! — У Пунина ответ наготове: — Левое искусство не ласкает глаз, а взрывает старые рабские чувства! — Кричал, как на митинге: — Мы не украшаем улицы, мы выполняем революционную мис-сию, цветными геометрическими плоскостями мы разру-шаем традиционный облик Санкт-Петербургских ансам-блей! — Поташил смотреть, как декорируют Александ-рийский столп. Краснó, но красиво.

Холстин, завесивших вчера и эрмитажное здание, Липгарт еще не видел. Превеликая честь для Эрмита-жа — старался сам Штеренберг, сам заведующий ИЗО.

¹ В самом деле, экстравагантно... (Франц.).

У дипломированных фребеличек¹ мальчики и девочки так рисуют цветными карандашами. Панно «Солнце свободы». Наподобие детского рисунка, но во всю стенку.

Никак не заснуть. Не надо было ложиться засветло — испортил себе ночь. Он будет считать до ста. Он сосчитает до тысячи... Пунин хвалился, что футурист Альтман израсходовал на Дворцовую площадь двадцать тысяч аршин материи. Один аршин, два аршина, три, четыре, пять аршин, шесть, семь, восемь...

...И опять Тройницкого разбудили пушки. В соответствии с республиканским церемониалом пушки Петропавловской крепости в восемь часов утра известили жителей Петрограда о начале праздничной манифестации.

Три дня торжеств миновали, но и на четвертый день, в воскресенье, Дворцовая площадь полным-полна народу, и духовые оркестры играют «Интернационал», «Варшавянку», «Рабочую марсельезу». В воскресных газетах сообщения о бегстве кайзера Вильгельма — многотысячный митинг на Дворцовой площади посвящен революции в Германии.

Стоя подле эрмитажного портика, Тройницкий наблюдает за коловращением толпы на площади. Ораторов ему не слышно, но яснее ясного, о чем они говорят: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Теперь можно не беспокоиться о кассельских картинах. Брест-Литовский мирный договор уже сегодня клочок бумаги — вновь победил Ленин.

Ораторы выступают с двухъярусной трибуны, сооруженной к Октябрьским праздникам вокруг Александровского столпа, — алые кубы, ромбы, полуovalы, прямоугольники. Ночью, при прожекторах, выглядело еще эффектнее, но и сейчас красиво. Очень красиво.

Допуск публики в Эрмитаж возобновлен — дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. Дважды в неделю с утра в Эрмитаж приходят студенты — в зал Афины, в зал Юпитера. Как все-таки славно штудировать историю античной скульптуры не по фотографиям,

¹ Фребеличка — воспитательница детей дошкольного возраста по методу известного педагога Фребеля.

наклеенным на картон, и не по сухим очерковым гра-
виюрам, а в непосредственном общении с живой мраморной плотью!

Еженедельно в Наркомпрос поступают сведения, сколько людей — мужчин, женщин, детей — посетило Эрмитаж. На каждом заседании Музейной коллегии Тройницкий не упускает случая упомянуть об учебно-просветительной работе, проводимой среди посетителей научным персоналом Отделения древностей — пока только Отделения древностей, но он надеется, что вот-вот решится вопрос о реэвакуации из Москвы всех коллекций и тогда можно будет воскресить музейную жизнь и в других отделениях Эрмитажа, как-никак и сейчас уже функционирующего.

Министерская голова у Сергея Николаевича! Может, и в самом деле Эрмитажу удастся еще в этом году вернуть в Петроград эвакуированные сокровища...

15

— Как там в Москве наши бедные вещи...

Нерасторжимы взаимосвязи памятников искусства и людей, которым они вверены; тревога эрмитажных хранителей за вещи, увезенные в Москву, порой усиливалась, порой ослабевала, но развеять ее ничто не могло. Поначалу казалось, что превратности революционного времени делают Кремль наименее надежным убежищем для музейных коллекций. Трижды срывался с места академик Смирнов, как угорелый летел в Москву, готовый к самому худшему, и трижды, возвращаясь в Петроград, удостоверял целостность и невредимость эрмитажного имущества в кремлевских дворцах. Но летом стали поступать другие неприятные слухи: на шедевры Эрмитажа точат зуб московские музейные деятели. Ничего невероятного здесь нет, этого следовало ожидать: Москва в ее новом ранге столицы впредь не захочет довольствоваться ни картинной галереей Румянцевского музея, носящей уж очень провинциальный характер, ни своим Музеем изящных искусств на Волхонке, «мраморным музеем для гипсовых слепков», как прозвали его остроусловы; эрмитажные сокровища рядом, в Кремле, — почему бы не воспользоваться удобным случаем?

О том, что в московских музейных кругах ведется агитация в пользу оставления в столице эвакуированных из Петербурга художественных ценностей, доло-

жил Совету хранителей один из служащих Эрмитажа, в июне побывавший в Москве. Он добавил, что, по словам москвичей, бурную энергию в этом направлении проявляет председательница Московской музейной коллегии госпожа Троцкая, настаивающая на том, чтобы эрмитажные вещи, якобы ради их пущей безопасности, как можно скорее были перевезены из Кремля в музей на Волхонке.

— А Грабарь? — спросил Бенуа (он уже был членом Совета). — Какова позиция Грабаря?

— Игорь Эммануилович решительно не согласен с госпожой Троцкой.

(«Грабарь считает,— записано в журнале заседания,— что все эрмитажные коллекции должны быть возвращены Петрограду».)

Бенуа обещал написать Грабарю, но вскоре окольными путями удалось разузнать, что угроза вроде бы отпала. Отпала по двум причинам: во-первых, на Музей изящных искусств претендуют левые художники, собирающиеся выставлять там свои картины, и, во-вторых, помещение музея предстоящей зимой отапливаться не будет из-за полного отсутствия топлива. И вдруг, опровергая все приватные сообщения, телеграмма из Москвы, официальная, за подписью Троцкой, отправленная 15 августа: эрмитажные вещи в Музей изящных искусств все-таки будут перевезены!

Совет Эрмитажа собрался в полном составе, потрясенный, возмущенный, негодующий. С единодушным решением хранителей была спешно ознакомлена Петроградская музейная коллегия: «Если окажется, что вывоз вещей из Кремля неизбежен, то Совет просит Коллегию озаботиться изысканием способов перевозки всех коллекций Эрмитажа в Петроград».

Эрмитажные вещи остались в Москве на своих старых местах. В Эрмитаже, однако, понимали, что последняя точка еще не поставлена, что в любой день может прибыть какая-нибудь новая прескверная телеграмма.

Недаром Тройницкий слыл человеком практического ума. Прежде чем поддержать предложение Вальдгауера об открытии для публики нескольких залов Отделения древностей, он прикинул, какие выгоды извлечет Эрмитаж из того, что станет числиться в разряде действу-

ющих, функционирующих музеев. В своих расчетах Троицкий не ошибся. Он убедился в этом еще в сентябре, когда, побывав у Луначарского и доложив ему, что Эрмитаж намерен в ближайшее время открыть свои залы для публики, сумел получить от Анатолия Васильевича принципиальное согласие на реэвакуацию эрмитажных коллекций.

— При первой же благоприятной возможности,— заверил его Луначарский¹.

...Одно к одному. Как только стали распаковывать ящики, год простоявшие в эрмитажном вестибюле, а Вальдгауер принялся за свои «раскопки» в кладовых, чтобы хоть чем-нибудь пополнить экспозицию в Отделении древностей, Троицкий объявил, что Эрмитажу пришла пора вступать во владения дворцовыми помещениями, еще в марте обещанными музею.

Вахтер Счастнев снес письмо Ятманову:

«ВЕСЬМА СРОЧНО

Комиссару Зимнего дворца.

Ввиду работ по распаковке не отправленных в Москву ящиков и требований открыть музей для публичного обозрения в возможно скором времени Эрмитаж считает должным уведомить Вас, что для срочного и планомерного выполнения этого является необходимым немедленно передать в распоряжение Эрмитажа второй этаж 7-й Запасной половины, весь Малый Эрмитаж и Аполлоновский зал,—о чем просит Вас сделать срочное распоряжение, поставив Эрмитаж об этом в известность.

И. о. директора *С. Троицкий*».

Счастнев побывал у Ятманова в субботу 5 октября, а в понедельник смотритель хозяйственной части Зимнего дворца получил письменное распоряжение:

¹ «Совет Эрмитажа, — говорится в отчете, — не переставал настоятельно указывать на нецелесообразность и даже прямую опасность длительного хранения эрмитажных сокровищ в ящиках. Настояния Эрмитажа увенчались было успехом, и в сентябре 1918 г. реэвакуация была разрешена...» «В то же время Эрмитаж принял внутренние меры для подготовки реэвакуации: так, были распакованы все ящики с художественными произведениями, приготовленные к отправке в Москву в октябре 1917 года».

«Уведомляю Вас, что 7-я Запасная половина Зимнего дворца, а также Малый павильон Эрмитажа с Аполлоновым залом передаются в ведение Эрмитажа, а потому прошу Вас передать ключи от означенных помещений вахтеру Эрмитажа.

Правительственный комиссар
по делам музеев и охране
памятников искусства и старины
Г. Ятманов».

Связка ключей позвякивает в руках Счастнева. Перед тем как отпереть следующую дверь, он долго перебирает бирки, подыскивая нужный ключ.

— Ничего, ничего, Алексей Алексеевич, — успокаивает его Тройницкий. — И к ключу надо привыкнуть.

Анфилада залов Главного этажа Фельтенова дома. Те самые Новые комнаты Старого Эрмитажа, в которых предусмотрительный Шмидт мысленно уже давно развесил полотна Буше, Ватто, Фрагонара. Прекрасные залы, способные так естественно и органично продолжить эрмитажную Картинную галерею.

Да, стен сейчас вдоволь, остановка за малым — вернуть картины из Москвы.

«Смета на устройство настила на мраморной лестнице Эрмитажа, необходимого для ее защиты при перевозке из Москвы тяжелых ящиков», была готова в конце октября. Вытребовали доски, рейки, войлок, гвозди, но оказалось, что спешить не к чему: «благоприятная возможность», на которую рассчитывал Луначарский, никак не наступала. Непрестанно менявшееся положение на фронтах гражданской войны, вспыхивавшие то там, то здесь контрреволюционные восстания и мятежи, антисоветские заговоры, раскрываемые и подавляемые чекистами, всякий раз что-либо снова отодвигало сроки реэвакуации эрмитажного имущества.

Как-то там, в Москве, наши бедные вещи...



Кто именно в Петрограде разговаривал 23 ноября по прямому проводу с управляющим делами Совнаркома, Тройницкому установить так и не удалось. Много позже он выяснил, что информация, имевшая прямое касательство к находившемуся в Кремле имуществу Эр-

митажа, дошла до Музейной коллегии не только с большим опозданием, но и в тенденциозно искаженном виде. Это выяснилось позже, а 4 декабря, когда он впервые обо всем услышал, он невольно всему поверил. Докладывая на следующий день эрмитажным хранителям о несчастье, которое произошло, и о беде, которая еще назревает, Тройницкий, не терявший в самых сложных ситуациях, едва владел собой, и от волнения голос его срывался.

В журнале 55-го экстренного заседания Совета Эрмитажа 5 декабря 1918 года записано:

«С. Н. Тройницкий докладывает Совету о заседании Коллегии по делам музеев от 4 декабря.

Было заслушано сообщение о полученном из Москвы, по прямому проводу, известии от Управляющего делами Совета Народных Комиссаров Бонч-Бруевича от 23 ноября о том, что 16 ноября красноармейцами в Большом Кремлевском дворце был произведен перенос ящиков с коллекциями Эрмитажа, Русского музея и Академии художеств в другое место; причем они сложены в полном беспорядке и некоторые из них оказались поврежденными и разбитыми. Кроме того, Бонч-Бруевич сообщил о состоявшемся постановлении Совнаркома об устройстве в Москве выставки коллекций перечисленных музеев...»

— Кем и с какой целью поднят вопрос о выставке, всем нам, думается, ясно,— прокомментировал Тройницкий.— Кое-кому не дают спать эрмитажные вещи. Попадут на выставку, и пиши пропало. Временная выставка легко превращается в постоянную...

«...Кроме того, Совету было сообщено, что комиссар Ятманов настаивает на посылке в Москву авторитетных представителей от музеев для выступления в Совнаркоме и что им (Ятмановым) послана телеграмма Луначарскому...»

— Луначарский сейчас в Москве. Очень было бы важно встретиться с Анатолием Васильевичем...

«...С. Н. Тройницкий ставит вопрос о необходимости командировать в Москву кого-либо из членов Совета и со своей стороны просит А. Н. Бенуа, как лицо, пользующееся наибольшим авторитетом, взять на себя эту миссию».

Бенуа согласен — он готов поехать в любой день, хоть завтра. Он заранее составит мотивированное решение Совета Эрмитажа по всему циклу затронутых проблем и — заодно — инструкцию делегатам, направляе-

мым в Москву. Вместе с тем он выдвигает еще одно предложение, которое, как ему кажется, следует осуществить немедленно.

«А. Н. Бенуа предлагает сейчас же послать делегацию к Максиму Горькому с просьбой поддержать решение Коллегии по делам музеев и Совета Эрмитажа».

В сборнике «В. И. Ленин и А. М. Горький (Письма, воспоминания, документы)», выпущенном Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Институтом мировой литературы имени А. М. Горького, на развороте двух книжных страниц опубликованы две телеграммы. Одна была отправлена из Петрограда в Москву 31 августа 1918 года — Алексей Максимович только что узнал, что на Ленина произведено покушение, что Владимир Ильич ранен; забыты все «несвоевременные мысли»; объятый тревогой за жизнь Ленина, дружба с которым у него, в сущности, никогда не прерывалась, Алексей Максимович телеграфирует Владимиру Ильичу:

«Ужасно огорчены, беспокоимся, сердечно желаем скорейшего выздоровления, будьте бодры духом.

*М. Горький
Мария Андреева».*

Другая телеграмма, опубликованная рядом, связана с эрмитажными делами.

Петроград Москва, Ленину
5 декабря 1918 г.

Крайне встревожены опасностью, которой подвергаются сокровища Эрмитажа, Русского музея и Академии в Кремлевском дворце, благодаря затее выставки, на что потребуются распаковка ящиков без возможности соблюсти надлежащие гарантии целости. Совет Эрмитажа, собравшись у Максима Горького, единогласно просит вас воспрепятствовать устройству выставки и сделать все зависящее от вас для возвращения коллекции обратно в Петроград, что является единственным спасением их. Члены Совета Эрмитажа: Тройницкий, Аргутинский-Долгоруков, Бенуа, Браз, Вальдгауер, Кубе, Липгарт, Марков,

Вейнер, Шмидт, Яремич. Всецело присоединяюсь к ходатайству Совета.

М. Горький».

Телеграмма за подписями членов Совета Эрмитажа и А. М. Горького была одновременно отправлена и А. В. Луначарскому.

...В Москву должны были ехать Александр Николаевич Бенуа и художник Осип Эммануилович Браз, с недавнего времени хранитель Отделения голландской живописи. Инструкция для командированных в столицу делегатов, утвержденная Советом Эрмитажа, определяла их полномочия:

«а) Изучить на месте все обстоятельства дела.

б) Провести осмотр ящиков Эрмитажа в новом месте их нахождения.

в) Продвинуть дело возвращения эвакуированных вещей на место их постоянного хранения.

г) Указать Совету Народных Комиссаров на те серьезные опасности, которые Совет Эрмитажа видит при использовании своих сокровищ для выставки...»

Из четырех пунктов этой инструкции Совет Эрмитажа считал наиболее важным пункт «в» — о возвращении эрмитажных вещей «на место их постоянного хранения», т. е. в Петроград. В документе, принадлежащем перу А. Н. Бенуа, сказано:

«Уже больше года, как первый музей России и один из главных музеев мира пребывает в самом неопределенном существовании благодаря произведенной Временным правительством эвакуации его сокровищ в Москву. Это положение становится невозможным как для внутренней жизни музея, для его штата служащих, специалистов, оторванных от прямого объекта их хранения и изучения, так и для широких народных масс, для которых наш прекрасный музей должен был бы, особенно в текущее тяжелое время, служить местом бодрящего отдохновения и центром интенсивной культуры. Приостановлены научные работы, остановилась вся широкая просветительная деятельность, которой призван служить Эрмитаж... Водворение сокровищ на места, в специально оборудованное для них здание, в котором, казалось бы, они нашли себе приют на вечность, было

бы праздником для всего населения Петербурга и в то же время была бы исправлена одна из самых печальных ошибок Временного правительства, с необдуманной поспешностью распорядившегося о том, чтобы подвергнуть наши главные художественные богатства всем рискам бессмысленной авантюры».

В Москве уже находился Ятманов. Уезжая, он захватил с собой текст составленного Бенуа постановления Совета Эрмитажа и обещал после свидания с Луначарским дать знать в Петроград, как действовать дальше. Первый же его телефонный звонок принес некоторое облегчение: в Большом Кремлевском дворце эрмитажные ящики действительно переставлены с места на место и при этом частично перемешаны с имуществом других петроградских музеев, но ничто не поломано и не повреждено. Затем Ятманов позвонил, что вопрос о выставке улажен. «По сообщению комиссара Ятманова,—записано 11 декабря в журнале заседаний Совета Эрмитажа,—предполагавшаяся в Москве выставка эрмитажных сокровищ не состоится, ввиду чего командировка в Москву А. Н. Бенуа и О. Э. Браза не представляется необходимой». С этим Ятманов и вернулся,—относительно реэвакуации он, к сожалению, ничего нового сказать не может: полная неясность, очень сложная проблема.

— Товарищ Ленин в курсе дела,—подтвердил он.— Это я знаю от Анатолия Васильевича.

Минул декабрь.

«В истекшем году,—отмечено в годовом отчете музея,—Эрмитаж предпринял деятельные шаги к возвращению из Москвы эвакуированных туда собраний, но обстоятельства революционного времени не дали возможности к концу года осуществить эту обратную перевозку».

О телеграмме эрмитажных хранителей, поддержанной А. М. Горьким, Ленин, однако, не забывал. В журнале заседаний Совета Эрмитажа 15 января 1919 года записано:

«С. Н. Тройницкий сообщает, что, по-видимому, дело реэвакуации эрмитажных собраний из Москвы несколько продвинулось вперед... По сведениям из Москвы, Ленин согласился на реэвакуацию, и в настоящее вре-

мя дело стало за согласием Комиссарната продовольствия предоставить нужное количество вагонов».

Выделить вагоны обещал Петроградский компрод, и 4 февраля Луначарский написал Ленину:

«Дорогой Владимир Ильич.

Мы получили от Вас разрешение на перевозку картин Эрмитажа в Петроград. Разрешение Петрокомпрода получено. Со стороны инстанций, по заявлению тов. Свердлова, <возражений> никаких больше нет...»

Ожидалось, что обратная перевозка будет осуществлена в ближайшие недели, но и на этот раз, как говорят документы, эвакуация опять «была отменена в связи с возникшими тогда политическими и военными осложнениями».

Время для возвращения домой эрмитажных собраний еще не пришло.

16

Сокровища Эрмитажа снова зимовали в Москве.

Той зимой с дровами в Кремле было очень туго. Тем не менее в помещениях, где хранились произведения искусства, ртутный столбик на термометрах был значительно выше, чем во многих правительственных учреждениях и квартирах наркомов.

Как-то зимним утром Ленин обходил кремлевские хранилища. Сопровождал его балтийский матрос Иван Вайман, молодой большевик, один из комиссаров Наркомпроса, осуществляющий в ту пору надзор над художественно-историческими памятниками Кремля. Его знали как человека кристальной честности, но он сам говорил, что образования ему не хватает — четыре класса — и что в художественных вопросах он разбирается слабо.

Рассказывая Ленину о мерах, принимаемых для охраны дворцов и музеев, Вайман напоследок поведал Владимиру Ильичу, как он удачно надумал экономить дрова: отапливать в Кремле надо только те здания, где живут и работают люди, а помещения нежилые, например залы, по которым они сейчас проходят, топить незачем, излишняя роскошь.

Ленин круто остановился, обернулся в его сторону: — Неужели вы это уже практиковали?

«Не подозревая ничего плохого,— повествует в воспоминаниях Иван Андреевич Вайман,— я ответил, что пока топили по-прежнему, как обычно, но если дров нельзя получить в дополнение к тем запасам, какие имеются, то придется снизить температуру в нежилых помещениях, в том числе и в картинной галерее.

Ленин строго, но по-отечески разъяснил, что такая „неразумная экономия“ влечет за собой порчу ценнейших картин, и категорически запретил ввести в действие мои „рацпредложения“, понимая, конечно, что они возникли у меня в связи с заботой о людях. Немедленно по поводу заготовок топлива Ильич велел мне обратиться к Якову Михайловичу Свердлову, и председатель ВЦИК безотказно оформил необходимые документы на получение дров и вагонов для подвоза топлива в Кремль».

С памятным ему эпизодом, когда он «очутился перед Ильичем в очень неудобном положении из-за отсутствия нужных знаний», И. А. Вайман связывает и приход на работу в Кремль выдающегося партийного публициста Михаила Степановича Ольминского.

«Вспоминая о работе, сделанной нами в Кремле,— пишет И. А. Вайман,— нельзя не остановиться на энтузиазме и стараниях, проявленных в деле организации охраны исторических и художественных ценностей товарищем М. С. Ольминским (Александровым). Многие помнят Ольминского как профессионального революционера, старейшего члена партии, как искровца-литератора. Но как об опытном организаторе охраны памятников старины мало кто знает. А между тем Михаил Степанович за короткий период времени очень много сделал в этой области сначала в Нескучном дворце (ныне здание Академии наук), а позднее — в кремлевских дворцах... Следует заметить, что перевод Ольминского на работу в Кремль тоже произошел по указанию Ленина, поскольку я в некоторых вопросах оказался недостаточно компетентным и нуждался в советах более опытного работника».

Много сделал Ольминский и для сбережения эрмитажных вещей. «Он переселился в Кремль,— отмечено в его биографии.— Здесь находилось не только дворцовое имущество, но и сокровища петроградских музеев, эвакуированные в Москву... Потребовалось немало сил и времени, чтобы их разобрать и обеспечить сохранность».

Но было это уже в 1919 году.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	124

**Сергей Петрович Варшавский
Юлий Исаакович Рест (Б. Рест)**

**БИЛЕТ
НА ВСЮ
ВЕЧНОСТЬ**

ПОВЕСТЬ ОБ ЭРМИТАЖЕ

В трех частях

Части первая и вторая

Зав. редакцией А. М. Березина
Редактор Э. А. Ремизова
Художник Л. А. Унрод
Художественный редактор А. А. Власов
Технический редактор Г. В. Преснова
Корректор Е. В. Новосельская



ИБ № 3794

Сдано в набор 29.10.85. Подписано к печати 08.04.86.
Формат 84×108¹/₂. Бумага тип. № 1. Гарн. литерат.
Печать высокая. Усл. печ. л. 13,86+вкл. 0,84. Усл.
кр.-отг. 15,12. Уч.-изд. л. 14,76+вкл. 0,64=15,40. Тираж
100 000 экз. Зак. № 196. Цена 60 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023,
Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного
Знамени типография им. Володарского Лениздата,
191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Варшавский С., Рест Б.

- В18** Билет на всю вечность: Повесть об Эрмитаже.
В трех частях. Части первая и вторая.—3-е изд.—
Л.: Лениздат, 1986.—262 с., ил.

В художественно-документальной повести, посвященной истории одного из крупнейших музеев мира, рассказывается о драматических событиях, связанных с коренными переменами, которые внесла в жизнь Эрмитажа Великая Октябрьская социалистическая революция.

В 4902020000—093
М171(03)—86 157—86

ББК 49.1

библиотека
молодого
рабочего



лениздат

Художественно-документальная повесть
известных ленинградских писателей
С. Варшавского и Б. Реста
посвящена истории Эрмитажа.
Авторы, используя большой фактический материал,
рассказывают, как с первых дней и даже
с первых часов существования Советской власти
партия большевиков повела борьбу за превращение
всех художественных ценностей страны
в истинное достояние народа.

